ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

УЧЕБНИКИ
И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ТРУДОВОЙ ШКОЛЫ

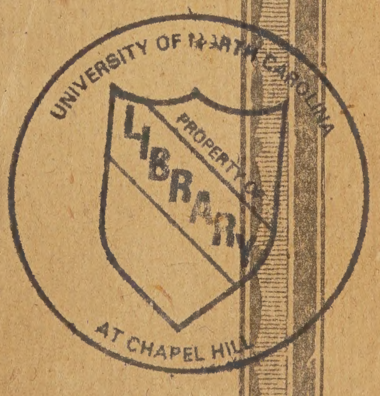
М. ПОКРОВСКИЙ

РУССКАЯ ИСТОРИЯ
В САМОМ СЖАТОМ ОЧЕРКЕ

ОТ ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН
ДО КОНЦА XIX СТОЛЕТИЯ

(301—350 тыс.)





МОСКВА **ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО** ПЕТРОГРАД

МОСКВА, Софийка, уг. Рождественки, д. 4/8.

Учебники и пособия для школ I и II ступени.

МАТЕМАТИКА.

Арженников, К. Сборник задач по математике. Год I. Ц. 40 к. Год II. Ц. 40 к. Год III. Ц. 40 к. Год IV. Ц. 40 к.

Его же. Сборник задач по математике. Для старших классов школ 1 ступени. Ц. 40 к.

Астряб, А. М. Курс опытной геометрии (индуктивно-лабораторный метод изложения) Ц. 1 р. 60 к.

Его же. Наглядная геометрия (лабораторный метод изложения). I ступень. Начальный курс геометрии. Ц. 1 р.

Бем, Д. А., Волков, А. А., Струве, Р. Э. Сокращенный сборник упражнений и задач по элементарному курсу алгебры. Ч. I Цена 60 к. Ч. II. Ц. 50 к.

Волковский, Д. Л. Детский мир в числах. Для начальных школ 1-го года обуч. Ц. 30 к. Для начальных школ 2-го года обучения. Ц. 35 к. Для начальных школ 3-го года обучения. Ц. 45 к.

Его же. Числа первого десятка для детей дошкольного возраста Ц. 15 к.

Вольф, Фр. Хр. Практическая геометрия для школ I ступени. В. I Пособие для учеников. Ц. 25 к.

Воронец, А. Конспект школьного курса математики. Ц. 40 к.

Его же. Справочник по математике для учащихся в школе II-й ступени. Ц. 30 к.

Его же. Справочник по математике для взрослых. Ц. 20 к.

Герхер, Б. Учебник элементарной геометрии. Ч. I. Ц. 40 к. Ч. II. Ц. 35 к.

Глазенап, С. Народный задачник для школ I ступени. В трех частях. Ч I. Ц. 40 к. Ч. II Ц. 30 к. Ч. III. Ц. 40 к.

Его же. Тригонометрия. Ч. I. Ц. 80 к. Ч. II. Ц. 80 к. Ч. III. Ц. 50 к.

Горбунова-Посадова, Е. и Цунзер, И. Живые числа, живые мысли, руки за работой. Книга I. Ц. 1 р. 10 к.

Гюнтер, Н. М. Краткий курс тригонометрии. Ц. 1 р. 10 к.

Горячев, Д. Основания анализа бесконечно-малых. Ц. 60 к.

Грацианский, И. Сборник арифметич. задач. Цена 50 к.

Давидов, А. Начальная алгебра. Ц. 2 р.

Его же. Элементарная геометрия. Ц. 2 р.

Егоров, В. В., Карасев, П. и др. Арифметический задачник. Ц. 60 к.

Зверев, Н. К. Элементарная геометрия. Ч. I. В. 1-й Ц. 60 к., на лучшей бумаге 80 к. В. 2-й. Ц. 75 к. Ч. II. Ц. 40 к.

Звягинцев, Е. и Бернашевский, А. Живой счет в городской школе. Арифметический задачник. Ч. I. Ц. 30 к. Ч. II. Ц. 40 к. Ч. III. Цена 40 к.

Зенченко, С. и Эменов, В. Жизнь и знание в числах. Арифметический задачник для II отд. Ц. 25 к. Для III отд. Ц. 30 к. Для IV отд. Ц. 30 к.

Игнатьев, Е. И. В царстве смекалки или арифметика для всех. Книга I. Ц. 1 р. Книга II. Ц. 1 р. 25 к.

Извольский, Н. Геометрия в пространстве (стереометрия). Ц. 90 к.

Иовлев, М. Н. Математика в школах для взрослых. Ц. 20 к.

Его же. Практическая геометрия. Ц. 60 к.

Кавун, И. Начальные сведения о приближенных вычислениях. Ц. 1 р.

Его же. Начальный курс геометрии для школ I ступени. В 2-х частях по ц. 70 к.

Каменщиков, Н. Логарифмы трехзначные. Ц 6 к.

Его же. Начальный счет. Ц. 25 к.

Карасев, П. Геометрия на подвижных моделях. Ц. 60 к.

Киселев, А. Алгебра. Ц. 1 р. 30 к., в папке 1 р. 35 к.

Его же. Элементарная геометрия. Изд. 27-е заново перераб. и дополнен. Ц. 2 р. 50 к.

Клазен и Бах. Сборник геометрических задач (к учебнику Герхера). Ц. 25 к.

Кобелева, Е. Н. Сборник задач по геометрии для единой трудовой школы. Ц. 70 к.

Колянковский, Д. П. Функциональная зависимость. В. I. Первый и второй год обучения в школе 2 ступени. Ц. 30 к.

Комаров, А. Ф. Арифметический задачник. Ч. I. Ц. 20 к. Ч. II. Ц. 30 к. Ч. III. Ц. 25.

Крогиус, В. А. Тригонометрия. Ц. 40 к.

Кулишер, А. Р. Учебник геометрии. Курс единой трудовой школы. Ступень первая. Ц. 75 к.

Мартэль, Ф. Приемы быстрого счета. Ц. 40 к.

Мартин, П. и Шмидт, О. Геометрия дома, поля и мастерских. Ц. 1 р.

Миккельсар, Ф. Г. Учебник геометрии. Для школ I ступени. Ц. 20 к. То же в переплете. Ц. 25 к.

Михайлов, А. Карманные таблицы логарифмов. Ц. 20 к.

Никитин, И. Первая ступень из геометрии. Ц. 20 к. Вторая ступень из геометрии. Ц. 35 к.

Норрис, Э. и Крэго, Р. Основы алгебры, геометрии и тригонометрии. Ц. 85 к.

Норрис, Э. и Смит, К. Практическая арифметика. Ц. 90 к., в папке ц. 95 к.

Пенионжкевич, Н. В. Основания аналитической геометрии. Ц. 75 к.

Перельман, Я. И. Новый задачник к краткому курсу геометрии. Ц. 55 к.

Пржевальский, Е. Логарифмы пятизначные. Ц. 60 к.

Рашевский, К. Н. Краткий курс арифметики. Ц. 35 к.

Рыбкин, Н. Сборник геометрических задач на вычисление. Ч. I. Планиметрия. Ц. 75 к. Ч. II. Стереометрия. Ц. 50 к.

Его же. Собрание стереометрических задач, требующих применения тригонометрии. Ц. 80 к.

Его же. Учебник прямолинейной тригонометрии. Ц. 90 к.

Сатаров, А. В. Арифметический задачник. Ц. 45 к.

Сигов, И. А. Практические занятия по геометрии. Теневые силуэты. Ц. 12 к.

Синцов, Д. И. Краткий курс аналитической геометрии на плоскости. Ц. 30 к.

Фридман, В. Г. Сокращ. концентр. учебн. алгебры I, II, III и IV т. т. для шк. II ступ. и техникум. Ц. 1 р. 75 к.

Его же. Учебник теоретической арифметики. Ц. 85 к.

Шапошников, Н. А. Прямолинейная тригонометрия. Ц. 75 к.

Шапошников, Н. А. и Вальцев, Н. К. Сборник алгебраических задач. Ч. I. Ц. 80 к Ч. II. Ц. 80 к.

Шохор-Троцкий, С. И. Учебник начальной арифметики. Ц. 50 к.

М. ПОКРОВСКИЙ

РУССКАЯ ИСТОРИЯ

В САМОМ СЖАТОМ ОЧЕРКЕ

(ОТ ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН
ДО КОНЦА XIX-го СТОЛЕТИЯ)

С 3-мя картами

3-е стереотипное издание

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1923 ПЕТРОГРАД

Главлит № 13798. Гиз 5362. Тираж 100.000 экз.

„Мосполиграф“—20-я типография „Красный Пролетарий“, Пименовская ул., 1/16.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

«Русская история в самом сжатом очерке» обращается к тому же читателю, что и «Азбука коммунизма» тов. Бухарина. Сознательному рабочему необходимо знать не только, что такое коммунизм, но и что такое Россия. Истории образования современной России и посвящена эта книжка.

Она не предполагает у читателя никаких предварительных исторических познаний, т.-е., прямее говоря, она предполагает человека, мозги которого не вывихнуты школьными учебниками истории с их бесчисленными царями и министрами, только и думающими о разных «реформах» для народного блага. Здесь материал тоже распределен, если хотите, по «царствованиям»,— только, вместо кукол в короне и порфире, автор взял настоящего царя, царя-капитал, самодержавно правившего Россией от Ивана Грозного до Николая Последнего.

Первый очерк и посвящен первому царствованию — истории возникновения в России *торгового капитала* и захвата им власти. Северная война и образование Российской империи отмечают полную зрелость русского торгового капитализма. Но в пеленках пищал уже младенец, который через 100 лет стал столь же сильным и буйным, как его папаша. Царствованию этого наследника торгового капитала, *капитализму промышленному*, посвящен второй очерк. Пора полной зрелости промышленного капитализма падает в России на вторую половину XIX столетия. В начале XX на сцене уже русский империализм; ему и его крушению будет посвящен третий и последний очерк.

Как видим, число страниц отнюдь не соответствует числу веков. Первым восьми столетиям русской истории отведено столько же места, сколько двум следующим,—последние 20 лет займут столько же страниц, сколько и два предыдущих столетия. Автор имел в виду читателя, у которого свободного времени гораздо меньше, чем жажды знания, и был краток поэтому так, ка только возможно было, не вредя ясности изложения.

М. П.

ПРЕДИСЛОВИЕ КО 2-му ИЗДАНИЮ.

Существенными отличиями второго издания являются две дополнительные главы, таблицы и карты. Из дополнительных глав— 1-я доводит изложение до некоторого «естественного предела». Таким не могло быть, разумеется, 1 марта 1881 года — дата скорее в истории царизма, нежели в истории русской народной массы. Но таковым может служить 1896 год, год начала массового рабочего движения в России.

Вторая дополнительная глава, по мнению автора, совершенно необходима для тех, кто хотел бы «подробнее» познакомиться с русской историей: наивно было бы воображать, что эта последняя писалась какими-то бесплотными теоретиками, а не людьми определенного класса — класса нам враждебного. Чтобы разобраться в русской исторической литературе, необходимо и тут твердо стать на классовую точку зрения.

Таблицы предназначаются, главным образом, для повторения не просто читающих, а изучающих, пользующихся книжкой, как руководством. Для наглядности, рядом с небольшим числом рубрик, между которыми разделено содержание русского исторического процесса, даны две колонны «Всемирной истории» и «Ближайших соседей России». И то, и другое могло быть дано, само собою разумеется, лишь в очерке, раз в 30 более сжатом, чем сама русская история.

Пояснение к картам дано при них.

Пользуюсь случаем поблагодарить товарища С. А. Пионтковского, которому я обязан несколькими документами, использованными в дополнительной главе «Рабочее движение».

М. П.

ВВЕДЕНИЕ.

Общие понятия об истории.

Для чего нам нужно знать прошлое? К чему нам заниматься тем, что было 10, 100, 1.000, 10.000 лет тому назад? Не лучше ли узнать как следует, чтó теперь делается, чтò вокруг нас, от чего зависит наша жизнь?

Прошлое мы изучаем именно для того, чтобы понять то, что происходит теперь. На земле все развивается, то-есть все изменяется. Сотни миллионов лет тому назад земля представляла собою огромный раскаленный шар, окруженный парами, и никакой жизни на ней не было и не могло быть. Десятки миллионов лет тому назад на земле уже зародилась жизнь. Несколько миллионов лет тому назад на земле уже была богатая растительность, огромные леса, множество всяких животных, и водяных, и сухопутных. Но весь этот мир был не похож на то, что есть теперь, а между тем все, что есть теперь, развилось посредством длинного ряда непрерывных изменений, именно из этого самого мира. Теперешние растения, теперешние животные—потомки тех, которые существовали на земле миллионы лет тому назад.

Как все это произошло? Не случайно, а по определенным законам. Но если мы будем наблюдать жизнь такою, какова она сейчас, то мы этих законов, то-есть правильности этих изменений, не заметим. Пока люди не изучали далекого прошлого земли, пока не открыли ископаемых остатков животных и растений, которые существовали миллионы лет назад, ученые верили, что весь теперешний мир был всегда таков, каков он есть, и сотворен сразу. Еще сто лет назад смеялись над немногими исследователями, которые решались утверждать противоположное. А эти ученые говорили то, что теперь кажется само собой разумеющимся, именно, что жизнь на земле развилась постепенно в течение огромного количества лет.

Наблюдения над остатками древнего растительного и животного мира, засыпанными сотни веков назад и таким образом сохранившимися до нашего времени, показали, как эти изменения произошли. Сказка о том, что мир был сотворен в 7 дней, разбилась без следа. И теперь ни один, не то что ученый, а сколько-

нибудь образованный человек не поверит, если ему сказать, что животныя и растения всегда были такими же, какими мы видим их сейчас. Всякий отлично знает из книг (а кто живет в больших городах, может это видеть в музеях), что прежний животный и растительный мир не был похож на наш, что мир все менялся в течение огромного количества времени, все, конечно, изменяется и сейчас, и будет изменяться. Таков закон природы.

Но учение о том, что мир неизменен и что все создалось сразу, поддерживалось долгое время и учеными и неучеными недаром, не только вследствие их невежества. Это учение было выгодно очень многим людям. Если на свете все вообще не изменяется, то не изменяется и человеческое общество. Оно тоже устроено раз-на-всегда, каково оно есть сейчас, таким оно всегда было и всегда будет. Так учили в старое время. А зачем нужно было, чтобы люди думали, что человеческое общество всегда останется таким, каково оно есть? Потому, что это очень выгодно тем, кто пользовался всеми благами в прежнем обществе. Тем, в чьих руках всегда была власть, было богатство, хотелось верить, что так должно быть всегда, что богатые и знатные всегда будут наверху, а народ, рабочие, крестьяне, всегда будут на них работать, всегда будут им служить. И вот они старались уверить самих себя, а в особенности подвластных рабочих и крестьян, что так и быть должно, что ничего другого быть не может.

Если изучение прошлого земли, прошлого животного и растительного мира, изучение геологии и палеонтологии разрушило сказку о том, будто мир был создан сразу и не меняется, то история и археология разрушают другую сказку, будто человеческое общество всегда было и, значит, всегда будет таким, каково оно есть. Человек меняется и будет меняться, как и все остальное. Одни общественные порядки возникают, другие общественные порядки рушатся, на место их возникают новые порядки и т. д. Конца этих изменений мы предвидеть и представить себе не можем, но если мы будем наблюдать эти изменения на протяжении десятков и сотен лет, то мы поймем их правильность, узнаем законы этих изменений. И если мы не будем в состоянии наглядно представить себе, что будет с человеческим обществом через несколько тысяч, положим, лет, то мы можем знать, как, какими путями человечество будет изменяться в течение этих тысяч лет. А тот, кто предвидит будущее, господствует над этим будущим, потому что, предвидя будущее, мы можем приготовиться к нему, принять свои меры, чтобы избежать будущих несчастий и чтобы возможно лучше воспользоваться теми благами, которые это будущее нам принесет. Знать — значит предвидеть, а предвидеть — значит мочь или властвовать. Знание прошлого дает нам, таким образом, власть над будущим.

Вот для чего нужно знать прошлое.

Но если мы можем заметить правильность перемен, совершающихся в человеческом обществе, только путем наблюдения этих перемен в течение большого количества времени, то это не значит, что мы должны начинать наше изучение непременно с самых отдаленных времен. Мы можем итти и обратным путем. Наоборот, правильность совершающихся в человеческом обществе перемен даже легче заметить, если итти от настоящего к далекому прошлому.

Возьмите то, что теперь происходит. Теперь во всем мире происходит революция: рабочие стремятся свергнуть власть буржуазии, т.-е. власть тех, кто этих рабочих эксплоатирует, — другими словами, тех, кто наживается на их счет, заставляет их работать как можно больше, а платит им за эту работу как можно меньше, кладя в свой карман всю разницу, которая существует между ценой вещи, сделанной рабочим, с одной стороны, и платой, которую он получает за работу—с другой. Спрашивается, что же, эксплоатация существует только в настоящее время, а раньше знатные и богатые не эксплоатировали простой народ? Нет, эксплоатация всегда была. Раньше, чем возник теперешний порядок буржуазного общества, с его фабриками, заводами, банками, железными дорогами и т. д., существовало феодальное общество, существовало крепостное право, и тогда не фабриканты отнимали у рабочих все то, что они вырабатывали, платя им за это гроши, а помещики отнимали у крестьянина плоды его труда, не платя ему за это совсем ничего. Были ли тогда восстания эксплоатируемых против эксплоататоров? Были ли тогда революции, похожие на теперешнюю? Были и тогда, но они были всегда неудачны. Почему? Потому, что крестьяне не могли между собою столковаться, не могли сорганизоваться, т.-е. образовать одно большое целое, которое действовало бы по общему плану. А почему так было? Потому, что крестьяне работают каждый на своем участке, сравнительно редко помогая друг другу, а когда продают произведения своей земли, тогда уже являются соперниками друг другу. Чем меньше на рынке овощей, сена, хлеба и т. д., тем все это дороже и тем, значит, выгоднее каждый крестьянин может все это продать. Чем больше всего этого, тем все дешевле и тем значит каждому отдельному крестьянину за его продукты достанется меньше. У крестьянина, таким образом, не может развиться сознание, что все люди должны держаться вместе, что все они друг с другом связаны, не могла развиться, как говорят, употребляя иностранное слово, солидарность. Рабочие, напротив, работают на фабрике все вместе, локоть к локтю, постоянно получают помощь друг от друга в этой работе. Один рабочий ничего не может сделать без других, и всякий должен помогать каждому. В рабочем классе, таким образом, развивается солидарность, которой не хватает крестьянам. Вот почему рабочие лучше и легче организуются, нежели крестьяне. Вот почему рабочие революции гораздо сильнее, гораздо дружнее тех крестьянских восстаний, которые были в

прежнее время. Крестьяне не могли справиться с теми, кто их эксплоатирует. Крестьянские восстания постоянно были неудачны. Крестьянам никогда даже не удавалось овладеть властью, тогда как рабочие уже обладают властью в одной из больших стран, именно в России, и находятся на пути к этому в целом ряде других европейских стран.

Таким образом, наблюдая то, что происходит теперь, или то, что происходило сравнительно недавно, мы замечаем правильность в исторических переменах, именно, что история движется людьми определенных занятий и изменяется смотря по тому, какой класс общества делает историю, т.-е. производит те или другие общественные перемены. Мы видим, что когда массы народа состояли из крестьян, история шла иначе, чем теперь, когда во главе движения идут рабочие

Теперь, как же образуются эти классы? Почему раньше производство все было в руках крестьян, почему в то время не только хлеб или лен или шерсть получались из деревни, где каждый работал на своем участке, но также и башмаки и платье, все это изготовлялось отдельными ремесленниками, каждый из которых сидел в своей каморке и работал у себя на дому, тогда как теперь мы имеем огромные фабрики обуви, огромные магазины готового платья и т. д.? Потому, что в то время человек должен был все делать своими руками. Машин не было или почти не было. Были только машины, приводившиеся в движение водой, как, например, мельницы. Но таких было очень немного, 200 лет тому назад человек начал строить машины, приводимые в движение сначала паром, потом электричеством и теплотой, теперешние керосиновые и т. п. двигатели. С тех пор, как появились машины, стало возможно производить всякого рода вещи в гораздо бо́льшем количестве, гораздо скорее, чем это делалось раньше. Достаточно одного примера: когда хлопок очищали руками, нужен был целый рабочий день, чтобы очистить *один* фунт хлопка; теперь, когда хлопок очищают машиной, в один день один рабочий может очистить 100 фунтов.

Тогда невыгодно стало работать в одиночку, потому что каждому рабочему заводить машину было бы невозможно, и рабочие стали собираться огромными массами около этих машин. Так возникло крупное производство, возникли фабрики. Те, кому принадлежали машины, предприниматели или буржуазия, и стали хозяевами всего дела. Давая возможность рабочим работать на машинах, они отнимали у них все то, что те производили, и давали им за это грошовую плату, как указано выше

Так образовался класс рабочих, который работал не у себя дома, а в чужом доме, и не своими руками, а при помощи машин, которые ему не принадлежали. Образовался пролетариат. Значит, чем объясняется возникновение того или другого общественного класса? Оно объясняется тем, как ведется хозяйство. Прежде хозяйство было мелким, всякий работал в одиночку, —

это было одно устройство общества. Потом стали работать все сообща, и получилось другое устройство общества. В основе всех перемен лежит, таким образом, перемена в хозяйстве, перемена экономическая.

Что же заставляет человека заниматься хозяйством? Это понятно само собою всякому, и не приходится над этим много думать. Достаточно посмотреть на то, что производилось в прежнее время крестьянами и производится теперь фабриками и заводами, чтобы понять это. Крестьянское хозяйство производит хлеб, мясо, шерсть, лен, всякое, одним словом, сырье, которое необходимо нам для того, чтобы питаться и одеваться. Фабрики из этого мяса делают консервы, делают одежду, делают обувь, — словом, превращают это сырье в такую форму, при которой нам удобнее им пользоваться. Все это, в конце-концов, служит к поддержанию человеческой жизни. Человек, таким образом, хозяйствует для того, чтобы иметь возможность существовать. Это, повторяю, нечего объяснять и доказывать, это всякий маленький ребенок сам понимает. Но если в основе всех исторических перемен лежат перемены хозяйственные, то это значит, что работать человека заставляют его потребности, его, как говорится, материальные потребности, стремление спасти себя от голода и холода.

Таким образом, в основе всей деятельности человека и всей истории лежат материальные потребности. Отсюда и то объяснение истории, которое мы сейчас даем, называется историческим материализмом. Это понимание истории принесено впервые тем общественным классом, который впервые понял солидарность общих интересов всех работников и который ведет теперешнюю революцию. Материалистическое понимание истории это есть пролетарское ее понимание. Раньше, когда образование было в руках буржуазии, т.-е. в руках того класса, который владеет орудиями производства, фабриками, заводами, железными дорогами, землей и т. д.,—словом, живет эксплоатацией других, история объяснялась нам иначе. А именно: все перемены, которые происходили в человеческом обществе, объяснялись из перемен, которые происходили в уме людей, имеющих власть и богатство. Изображали дело таким, например, образом, что вот прежде люди не размышляли над тем, почему и как сложился тот или другой порядок в обществе, а послушно подчинялись этому порядку. Тогда и не было революций. А появились люди, которые начали критиковать это общество, т.-е. находить в нем разные недостатки, и они внушили массе сомнение в том, что этот порядок правилен. Масса послушалась этих агитаторов и зачинщиков и стала бунтовать. Так, по мнению буржуазии, начались революции.

Одним словом, в истории дело представлялось буржуазии так же, как оно идет на фабрике или в магазине: хозяин рассуждает, придумывает и приказывает, рабочие или приказчики слушаются.

Нетрудно видеть ошибочность этого объяснения. В самом деле, если бы не было того, о чем мы говорили выше, если бы эксплоататоры рабочего класса, капиталисты, не отнимали бы у рабочих произведения их труда или платили бы за эти произведения столько, сколько они стоят, то какие же агитаторы смогли бы заставить эту рабочую массу бунтовать? Ведь если при помощи агитации, при помощи словесного или письменного убеждения можно поднять бунт, то можно поднять бунт среди всякого класса и, стало-быть, с одинаковым успехом можно было бы взбунтовать и буржуазию, как рабочих. Даже буржуазию легче было бы взбунтовать, потому что она, как более образованная, легче может понять всякую агитацию. Почему же сейчас такой агитации поддается самый бедный и самый, значит, невежественный класс, а образованная буржуазия всюду против революции, и что бы ни говорили агитаторы, она их не слушает и от них отворачивается? Потому, что для буржуазии эта агитация невыгодна; потому, что она идет в разрез с ее материальными интересами. И вот, защищая эти материальные интересы, защищая свое право сидеть на чужой спине, сладко есть и пить, жить в хороших домах и т. д., буржуазия не только не слушает агитаторов, но если где ей попадется в руки агитатор, она его расстреливает или вешает и яростно борется против рабочих, стремящихся к лучшей жизни.

Итак, во-первых, история двигается при помощи борьбы классов, классов угнетенных, эксплоатируемых, крестьян и рабочих, с классами, которые угнетают и эксплоатируют — с помещиками и буржуазией. Во-вторых, эта борьба классов двигается материальными интересами, т.-е., в конце-концов, потребностью человека в пище, одежде, жилище, топливе и т. д. Люди стремятся удовлетворить эти потребности, и нужно стремиться, чтобы эти потребности удовлетворялись возможно справедливее, т.-е. чтобы все земные блага между всеми распределялись в меру их потребности, — это и стремятся осуществить социалисты.

На этом примере мы видим, что мы не только настоящее понимаем из прошлого, но и прошлое объясняем из настоящего, под одним, однако, условием, чтобы мы наблюдали довольно большой промежуток времени. Ибо если мы будем наблюдать только то, что происходит вокруг нас, то мы многого из того, что теперь происходит, не поймем. Наблюдая то, что происходит вокруг нас, мы не видим классов, а видим только отдельные лица и можем в самом деле поверить, что вся история делается отдельными людьми. Для того, чтобы видеть исторический процесс, т.-е. движение истории во всем его целом, нужно от него несколько отойти и взглянуть на него со стороны.

Итак, суть истории заключается в постепенном развитии, т.-е. в постепенном правильном изменении человеческого общества. Ближайшей целью этого развития, той целью, которую мы сейчас можем видеть, является социализм, то-есть переход земли и всех ее

произведений, а также всех орудий производства, фабрик, заводов и т. д. и всех средств перевозок и железных дорог и т. п. в руки тех, кто работает. Это — ближайшая цель. Но и этим, конечно, не кончается развитие человеческого общества. Что будет дальше, как будет развиваться социалистическое общество, этого мы пока предвидеть не можем. Но когда будут точно, хорошо известны законы, по которым человеческое общество развивается, то мы в состоянии будем предсказать ход человеческого развития не только ближайших лет, но и десятков, сотен лет. Не будем, однако, забираться так далеко, присмотримся лучше к тому, что есть и что было.

Мы сказали выше, что в основе развития человеческого общества лежит развитие хозяйства, т.-е. борьба человека с природой за жизнь, борьба за кусок хлеба и теплый угол и т. д. Совершенно ясно, что эта борьба прежде всего другого зависит именно от той природы, которая человека окружает. Для понимания исторического процесса, т.-е. того способа, которым развивается история в той или другой отдельной стране, необходимо прежде всего ясно представить себе природные условия этой страны. Если мы присмотримся к тому, как распределяются по земному шару различные образованные и необразованные, культурные и дикие народы, мы увидим, что наиболее образованные народы населяют те части земного шара, где господствует сравнительно умеренный климат, где не бывает ни слишком жарко, ни слишком холодно. Наоборот, самые дикие народы встречаются нам или в наиболее жарких странах, где почти никакое хозяйство невозможно, вследствие чрезвычайной жары, или в самых холодных странах. Первобытными племенами, наиболее близкими к человеку, каким он был сотни тысяч лет тому назад, являются, с одной стороны, эскимосы, которые обитают на полярном севере, где нет никакой растительности, где можно прокормиться только рыбной ловлей и охотой, с другой стороны, веддахи на о. Цейлоне, почти под самым экватором, и так называемые карликовые (малорослые) племена центральной Африки. И те и другие живут в таких местах, где никогда не бывает зимы и постоянно чередуются только два сорта погоды: или отчаянная жара, или проливной дождь.

Но хозяйство может развиваться и в очень жарких странах, под самым экватором — только не в низинах, а высоко в горах, где гораздо прохладнее. Так, в Южной Америке европейцы нашли самый образованный народ, *инков*, у которых было очень развитое земледелие, искусственное орошение и т. д., в области, которая теперь занята государством, так и называющимся «Экватором», но эти инки жили на высоте 2 — 3 версты над уровнем моря. Таким образом, в расчет приходится принимать не только *широту* местности,—находится ли она в жарком или в холодном поясе, но и ее *высоту над морским уровнем*—горы это или низменность.

Далее природа влияет на хозяйство не только в образе *климата*. Иногда тот или другой уклон хозяйства объясняется тем, например, что в той или другой местности водится какое-нибудь полезное животное. Так, многие племена крайнего севера Европы и Азии живут *оленями:* олень доставляет им и пищу (мясо), и одежду (кожа), и материал для орудий (рога) и т. д. Эти племена бродят за стадами полудиких оленей, и падеж оленей означает голодную смерть для целых семей, если не для всего племени. И так бывает не только с дикарями, а и с народами образованными: благосостояние жителей западной Франции, берегов Атлантического океана, во многом и до сих пор зависит от *сардинки*. Это мелкая порода селедки, тучами приходящая к этим берегам, где население и живет ловлей сардинки. Но она приходит не каждый год: и когда сардинки нет, для французских рыбаков это то же самое, что для русского крестьянина неурожай.

Не следует представлять себе дела так, что это влияние всегда и во все времена было совершенно одинаковым. Нет, люди изменяются, и по мере того, как они изменяются, изменяются и их отношения к природе. Так, например, для первоначального населения русской равнины, не имевшего еще железных орудий, лес представлял почти непреодолимое затруднение. Прорубаться сквозь леса было крайне трудно. Пройти сквозь лес было подвигом, о котором долго потом вспоминали, и лес казался страшным местом, наполненным всевозможными чудовищами. Вспомните сказку о соловье-разбойнике. И население России держалось в это время обыкновенно по краям леса, на границе между лесом и степью. Но вот пришли в среднюю Россию первые поселенцы—славяне. Они принесли с собой железный топор. Когда при раскопках находят остатки славянских поселений, кладбища и т. д., их сразу сейчас же узнают по этим железным топорам. Железным топором человек врубался в чащу, вырубал деревья, строил себе «деревню» (то, что «выдрано» из-под леса). И то, что было страшилищем раньше, сделалось, наоборот, главной опорой хозяйства человека, потому что первое хозяйство поселенцев было лесное хозяйство. Главные занятия, какие мы встречаем, были: добывание меда, бортничество, охота, добывание меха или мяса зверей, а потом лесное, «подсечное» земледелие. Леса вырубали, сваливали деревья, жгли, получали в виде золы великолепное удобрение, сеяли на этом хлеб и получали, таким образом, урожай. Все хозяйство было, таким образом, тесно связано с лесом.

Вот образчик того, как изменяются отношения человека к природе, вместе с переменой быта самого человека. Вот другой пример, еще более яркий: когда первые европейские поселенцы прибыли в Америку, то местное туземное население, краснокожие, занимались исключительно охотой. Небольшие племена бродили среди огромной пустыни и били зверей. Никаких других занятий у них не было. Появились в Америке европейцы,—и с

двести лет на месте этой пустыни, по которой бродили охотничьи орды, появилось одно из самых культурных государств мира с великолепно поставленным земледелием, с огромными фабриками, заводами, железными дорогами и т. д. В настоящее время Соединенные Штаты—страна, которая в отношении *техники,* то-есть *способов хозяйства,* стоит едва ли не на первом месте среди всех стран мира. Вот что случилось, когда в Америку, где ее первоначальные обитатели умели только охотиться, пришли европейцы, принесшие с собой европейскую культуру, то-есть европейские навыки и приемы работы.

Если мы от этих общих примеров перейдем непосредственно к России, историей которой мы будем дальше заниматься, то мы увидим, что природные условия восточно-европейской равнины, которую занял русский народ, отличаются большой суровостью. У нас длительная зима, короткое лето. Благодаря этому у нас сельско-хозяйственные работы занимают лишь меньшую часть времени. В средней России пахать, сеять, жать и т. д. приходится в течение 5-ти месяцев. Если мы возьмем соседнюю с нами Германию, то мы увидим, что там сельским хозяйством можно заниматься уже в течение 7-ми мес., то-есть бо́льшую часть года можно использовать для хозяйства, тогда как у нас, в России, бо́льшую часть года земледельцам нечего делать около земли. А если мы пойдем еще дальше на запад, во Францию, на берега Атлантического океана, то мы увидим такие климатические условия, которые позволяют человеку работать и зиму,—словом, круглый год. Так, у бретанских крестьян [1]) и даже у огородников в окрестностях Парижа круглый год на полях что-нибудь растет, и прямо так овощи и разделяются на зимние и летние. Нетрудно догадаться, что в этих странах, где можно работать на земле круглый год, производительность труда земледельца должна быть гораздо выше, чем там, где он работает только меньшую часть года. Другими словами, накопление всех благ в этих странах идет гораздо быстрее. Таким образом, вследствие нашего сурового климата, хозяйственное развитие России должно было двигаться медленнее, нежели в других странах, более благоприятно расположенных.

Естественно, что, пока главным занятием русского народа, почти исключительным его занятием было земледелие, Россия очень отставала от других стран. Она стала их догонять только с тех пор, когда в России стала развиваться промышленность обрабатывающая, появились фабрики и заводы. А последние могут перерабатывать и привозное сырье, т.-е. перерабатывать не только то, что растет в самой России, но и то, что получается издалека. Наши ситцевые фабрики перерабатывают хлопок, который вырос в Туркестане или Америке. Торговля и промышленность, таким образом, чрезвычайно ускоряют развитие хозяйства и делают его менее зависимым от природных условий.

---

1) Бретань—самая западная часть Франции.

Но тут приходится сказать, что в отношении развития торговли Россия тоже была поставлена в условия менее благоприятные, чем страны средней Европы. Еще и в настоящее время лучшим торговым путем является вода. Самым лучшим путем сообщения между отдельными странами является море. В былое время, когда не было железных дорог, оно было единственным путем сообщения. Более крупную торговлю можно было вести только морем, а сухим путем можно было перевозить только немногие, очень дорого стоящие товары, потому что перевозка на лошадях из одной страны в другую обходилась чрезвычайно дорого. Это соотношение сохранилось и до сих пор. Даже не считаясь с той дороговизной, которая установилась теперь вследствие войны, всегда проехать на извозчике с вокзала к себе домой стоило относительно гораздо дороже, в несколько десятков раз дороже, чем стоит проезд такого же расстояния по железной дороге.

Итак, повторяю, пока не было железных дорог, до тех пор единственным удобным и дешевым путем сообщения было море, и большое количество товаров можно было перевозить только морем, и этим объясняется, почему промышленность и торговля раньше всего начали развиваться в тех европейских странах, которым море наиболее доступно. Раньше всего начинают развиваться страны, прилегающие к Средиземному морю, берега которых изрезаны этим морем, Греция и Италия, затем, в новейшее время, такие страны, как Англия, расположенная на островах, как Голландия, которая так тесно связана с морем, что местами ее земля едва вылезает из-под моря, раньше она была морским дном. А другая часть недавно сравнительно была залита морем, так что там море и суша постоянно чередуются. Россия была очень обделена морем. Средняя Россия, где, главным образом, развивалась русская история, находится в 600—800 верстах от ближайшего моря, при чем самые близкие к ней моря, восточная часть Балтийского моря и Белое море, залив северного Ледовитого океана, зимой покрываются льдом и недоступны для плавания. Не замерзает Черное море на юге России, но оно от средней России всего дальше, уже не в 600—800, а слишком в тысяче верстах. Правда, на юг России ведет несколько больших рек — Днепр, Дон, Волга, но реки эти, во-первых, зимой замерзают, во-вторых, на главной из них, ведущей к Черному морю, на Днепре, есть пороги, которые постоянно мешают судоходству, а самая большая из них, Волга, ведет не в море, а в озеро, которое хотя и называется Каспийским *морем* за его огромную величину, но из него никуда выхода нет.

Все это привело к тому, что в средней России торговля, а с нею и промышленность развивалась, как и русское земледелие, гораздо труднее, чем в других странах. России труднее было, в этом отношении, начать, но раз она начала, она, как увидим дальше, пошла даже быстрее других стран, потому что

появление торговли и промышленности вызывает новые и новые успехи науки и техники. Это чрезвычайно ускоряет хозяйственное развитие и дает возможность человеку не только успешно обороняться от неблагоприятных природных условий, но и побеждать природу. Примером того, как это делается, мы и закончим эту часть нашего рассказа.

Северная часть Африки, как известно, занята бесплодной пустыней Сахарой, и, пока там жили кочевые арабы, никакое земледелие почти не было возможно, местами только, где случайно была вода, образовались оазисы. Но их было очень немного. Когда Северная Африка была занята французами, они принесли туда и свою технику. Они стали сверлить землю и очень скоро открыли, что в Сахаре вода, собственно говоря, есть, только очень глубоко, но при помощи артезианских колодцев, которые проникают в землю на сотни сажен, до этой воды можно добраться. Извлекши воду из земли при помощи таких колодцев, французы устроили искусственное орошение, и благодаря этому появляется целый ряд искусственных оазисов, засаженных финиковыми пальмами, дающими великолепный урожай. Финики в этих краях являются чуть ли не главной пищей, заменяя арабу все—и хлеб, и мясо и т. д. Так, благодаря превосходству европейской техники, удается обратить в цветущий сад то, что люди считали осужденной навеки бесплодной пустыней.

Другой пример еще более нов и еще поразительнее. Благодаря новейшим успехам в науке, люди добились возможности не только создавать растительность там, где раньше ничего расти не могло, но и создавать совершенно новые виды растительности, которых раньше не знали. Так, один американский ученый садовод Бёрбанк добился новой породы грецкого ореха, который достигает полного роста и спелости в 14 лет, то-есть вдвое скорее, чем растет это дерево, добился сливы без косточек, малины с ягодами длиной с вершок,—всего этого удалось достигнуть не в сотни лет усилиями многих поколений, а одному человеку, располагающему всеми современными научными средствами, в течение одной своей жизни.

Итак, человек зависит от природы, и история идет скорее или медленнее в зависимости от тех природных условий, в какие поставлен тот или другой народ. Но эта власть природы над человеком не безгранична. С природой человек может справиться, и *основой хозяйства является не природа*. Природа только материал для этого хозяйства. *Основой хозяйства является человеческий труд;* чем этот труд совершеннее, чем он более настойчив и умел, тем меньше человек зависит от природы. И нетрудно предвидеть, что в будущем, когда наука и техника достигнут совершенства, какого мы себе представить не можем, природа будет в руках человека мягким воском, из которого человек сделает все, что ему нужно.

Часть I.

Первые столетия Русской истории.

На русской равнине человек появляется буквально в „незапамятные“ времена, — когда вся северная половина этой равнины была покрыта толстой ледяной корой. Украйна по своему климату походила на теперешнюю Архангельскую губернию, и на ее тундрах паслись стада мамонтов, доисторических слонов, покрытых густой длинной шерстью. На этих мамонтов охотился первый обитатель России, их мясом он питался, из их шкуры делал себе одежду, из их костей — орудия. Кроме этих костяных орудий, он имел еще грубо обтесанный каменный топор и дубину, и этим ограничивалась вся его техника. Следы одной стоянки таких охотников на мамонта найдены среди нынешнего города Киева на несколько сажен ниже теперешнего уровня почвы. Когда это было? Во всяком случае, *несколько десятков тысяч лет тому назад*, не меньше. Были ли эти охотники на мамонта предками теперешнего населения Европейской России? По всей вероятности, нет. По мере того, как менялся климат [1]), становилось теплее, ледник все суживался и суживался, и жившее по южному краю ледника население должно было все дальше уходить на север и на восток, в теперешнюю Сибирь, к Ледовитому океану. Туда ушел и мамонт и там он вымер: его остатки (иногда с шерстью и мясом) и до сих пор чаще всего находят во льдах Сибири. Возможно, что вымерли без остатка и люди, которые на него охотились, а может быть, что их потомки и до сих пор бродят по берегам Ледовитого океана, в лице теперешних самоедов и лопарей, питаясь только не мясом мамонта, а его уцелевшего младшего современника, северного оленя.

---

[1]) Это изменение климата объясняется разными причинами, главным образом, тем, что земная орбита не оставалась одинаковой во все время существования земли, а то удлинялась, то сплющивалась (становилась более похожей на круг). Когда она удлинялась, зима становилась длиннее, а лето короче. Так как в то же время климат в прежнее время был более влажным, чем теперь, то снегу зимой выпадало очень много и за короткое время он не успевал растаять; так образовывались ледники. По мере того, как климат становился суше, а земная орбита короче, лето удлинялось, ледники начали стаивать и теперь остались только у полюса и на вершинах самых высоких гор.

За десятки тысяч лет, протекшие с тех пор, население русской равнины сменилось тоже, может-быть, не один десяток раз. После дикарей каменного века мы встречаем здесь еще остатки людей медного и бронзового века, не знавших еще железа, — потом остатки людей «железного» века: но и это, быть-может, не были еще предки теперешнего населения. От пятого столетия до начала нашего летосчисления, т.-е. за две с половиною тысячи лет до нас, мы имеем уже письменные рассказы о южной части России (теперешней Херсонской, Екатеринославской и Таврической губерниях). Там тогда жили *скифы*, кочевой народ, занимавшийся скотоводством: остатком его являются теперешние *осетины* в Кавказских горах. Что было дальше к северу, греки, рассказавшие нам о скифах, хорошенько и сами не знали. Лет 800 спустя после этих рассказов мы встречаем первые известия о *славянах:* тут уже начинается непрерывная связь с новейшими временами, потому что на славянских языках говорит подавляющее большинство населения теперешней России [1].

Сходство языка, конечно, еще не может служить доказательством происхождения теперешнего населения русской равнины от одних славян. Теперешние французы говорят на «романском» языке, на одном из языков, происшедших от латинского языка древних римлян, но происходят не от римлян, а главным образом от *кельтов,* которые были когда-то покорены римлянами и усвоили их культуру, а с нею и их язык. Мы определенно знаем, что на русской равнине одновременно со славянами жили народы и других языков, и названия разных мест, рек и даже городов до сих пор об этом напоминают. Слова «Москва», «Ока», «Клязьма»—не славянские, а финские, показывают, что когда-то здесь жили финские племена, и до сих пор не вымершие, только покоренные славянами и ославянившиеся, усвоившие себе восточно-славянский, т.-е. русский язык, и напоминающие о себе наружностью, чертами лица теперешнего великорусса, москвича или владимирца. Дальше на восток такие же не славянские племена, покоренные в более позднее время, сохранили еще и свой язык (чуваши, народ мари, или черемисы и т. п.). Таким образом славянский язык еще не доказывает, что в наших жилах течет непременно славянская кровь: русский народ образовался из очень различных племен, живших на русской равнине, но славянское племя оказалось из них всех самым культурным (образо-

[1] Славянские языки принадлежат к семейству т.-наз. „индо-европейских“, на которых говорит (или говорило) население Европы в течение последних трех тысячелетий, затем население Персии, отчасти Средней Азии и Индии. На некоторых из этих языков уже не говорят более, и они сохранились только в письменных памятниках; к таким „мертвым“ языкам принадлежат из европейских латинский и древне-греческий, а из азиатских санскрит. Другие употребляются и теперь,—к ним относятся романские (французский, итальянский, испанский и т. под.), германские и славянские (чешский, польский, болгарский, сербский, русский и проч.).

ванным) и самым сильным,— оно и навязало всем другим свой язык.

В первое время славяне занимали только небольшой юго-западный угол этой равнины, нынешние Волынскую и Подольскую губернии да восточную Галицию. Несколько позже они заняли среднее течение Днепра и Полесье (белоруссы являются, по всей вероятности, остатками древнейших славянских поселенцев), еще позже пробрались на север, к Финскому заливу и Ладожскому озеру, и, наконец, позднее всего заняли теперешнюю Великороссию, Московскую и смежные губернии. Это передвижение славян по русской равнине заняло не меньше 500 лет, а если считать до того времени, когда они достигли самого восточного края равнины, Уральских гор, то и всю тысячу лет. От последних шести столетий этого тысячелетия мы имеем письменные памятники—летописи, сборники судебных обычаев (на древне-русском языке называвшиеся «Правдами» и «Судебниками»), наконец, всякого рода договорные и жалованные «грамоты», духовные завещания и т. под. От последних трех-четырех столетий сохранились даже и кое-какие памятники материальной культуры, преимущественно церкви и иконы, но также и остатки, по крайней мере, других больших зданий, дворцов и крепостей. Словом, жизнь русских славян с одиннадцатого по шестнадцатое столетие нашего летосчисления (в шестнадцатом веке первые русские колонисты перешагнули за Уральский хребет) мы можем представить себе довольно полно и подробно. Что касается первых трех-четырех столетий славянского расселения, мы о них прямых сведений не имеем и можем судить о славянской культуре того времени отчасти по рассказам иностранцев, которые видали русских славян того времени (преимущественно греков и арабов), главным же образом *по языку*.

Человек называет предметы своего обихода, орудия, которыми он пользуется. Орудия меняются, но названия часто остаются: люди к ним привыкли, им не хочется изобретать новых слов. Прежде через уличную грязь набрасывали бревна, это было нечто в роде моста, и правильно называлось «мостовой»; остатки такой деревянной мостовой нашли в московском Кремле. Теперь говорят об «асфальтовой мостовой», хотя тут ничего похожего на «мост» уже нет. Так, *по старым словам мы можем восстановить старую культуру*.

Славянский язык очень наглядно показывает нам все ступени развития техники. Так мы знаем из раскопок, что раньше металлических орудий все люди имели орудия из камня, сначала грубо оббитого (так называемый древне-каменный, палеолитический период от греческих слов «палеос» — старый, древний, и «литос» — камень), потом полированного (ново-каменный, «неолитический» период). Но славянское слово «нож» значит на том языке, откуда оно заимствовано, «кремень»: следовательно, первые ножи, которые увидали славяне, были каменные. Дикарь камен-

ного века лишь редко отваживается напасть прямо на крупного зверя,—чаще он старается завладеть им хитростью, поймать его в засаду. Упомянутые вначале охотники на мамонта загоняли его в нарочно вырытые ямы и выжидали, пока там зверь издохнет. Совершенно естественно, что древнейшее охотничье слово славян, звучащее одинаково на всех славянских языках,—тенета. Теперешняя пахота, при помощи сохи или плуга, силою лошади либо вала, кажется нам простым занятием, но на самом деле это был результат целого ряда изобретений, плод усилий многих поколений людей, трудившихся над земледелием тысячи лет. Прежде всего, изобрести такие, на взгляд, простые орудия, как соха или борона, не так просто было. Вместо бороны еще лет 80 назад на окраинах России можно было видеть большой сосновый сук: его отдельные ветки и заменяли собою зубья бороны. А в более древнее время такой же сук, только еще более толстый и крепкий, и без веток, заменял собою соху. Такую пахоту изогнутым суком или палкой мы еще и теперь встречаем у различных диких народов Африки, а что также было и у славян, показывает первоначальное значение слова «соха»: сначала это слово значило именно палка, жердь.

Еще труднее было добыть живую силу, которая тащила бы плуг или соху. Если уж убить крупную дичину дикарю каменного века было не под силу, тем меньше мог он подчинить себе, заставить себе служить животное, сила которого гораздо больше силы человеческой, как лошадь или быка. Наблюдения над теперь живущими дикарями показывают, что скотоводство развивается у людей всего позднее, — гораздо позже, чем они начинают заниматься земледелием. Совершенно понятно, почему слово «скот» на древне-славянском языке обозначало богатство: тот, кто первый приручил животных, был настолько экономически сильнее других, что был все равно, что миллионер в буржуазном обществе. Недаром высший класс во всей Западной Европе получил в старину название «лошадятников», или «конных» (по-испански «кабаллеро» от «кабаллус», конь, по-французски—«шевалье» от «шеваль», лошадь, по-немецки — «риттер» — «конный», откуда наше «рыцарь» и т. д.). Мы сейчас увидим, что обладание скотом было источником силы и влияния даже во времена вполне исторические.

Но, ковыряя землю изогнутым суком, первобытный славянин питался все же, главным образом, от земледельческого труда. Это видно по тому, что он слово хлеб,—«жито» по-славянски,—производил от того же корня, как и «жизнь». Хлеб был главным средством к жизни, главным видом пищи. На охоту славянин полагался гораздо менее: когда-то еще в тенета зверь попадется. Зато был мелкий зверек, которым если и не легко было завладеть,—да и не стоило,—то у которого легко было отнять вкусные и питательные плоды его труда. Этим зверьком была пчела. Добывание меда диких пчел, бортничество,—одно из древнейших

занятий не только славян, а всех без исключения обитателей русской равнины. Мед не только одно из древнейших славянских слов, но оно общее у славян и у финских племен, населяющих или населявших когда-то Россию. А бортные ухожаи, места, где водились дикие пчелы, считались великою ценностью опять-таки уже во вполне исторические времена, когда славянин давно уже имел железный топор и давно выучился пахать на лошади.

Язык, таким образом, рисует нам древнейших славян народом очень первобытным.

С этим вполне сходятся те описания славян, какие оставили нам греки, наблюдавшие славян в начале этого периода, в VI веке нашего летосчисления. Греки изображают тогдашних славян настоящими дикарями—грязными, полуголыми, не имеющими даже прочных жилищ, а живущими в шалашах, употребляющими отравленные стрелы и чрезвычайно жестокими: напав на какой-нибудь греческий город, они истребляли все население поголовно, пленных не брали. Зато,—неожиданно прибавляют греческие писатели,—славяне и сами не знают рабства, и если кто, случайно уцелев, попадает к ним в плен, он живет так же, как и сами славяне. Греков это очень удивляло, потому что их собственное хозяйство держалось в это время на рабском труде, и они не могли понять, как это люди могут пренебрегать такой ценной вещью, как раб. У славян же в это время никакого правильного хозяйства еще не было, и рабского труда им негде было применить,—оттого они и пленных не брали и случайно попавшего в плен иностранца не делали рабом.

Что касается общественного устройства тогдашних славян, то о них греки могли только рассказать, что славяне распадаются на множество отдельных маленьких племен, которые постоянно между собою ссорятся. Воспоминания об этих постоянных ссорах между племенами сохранились и в преданиях о начале русского государства, которое летопись относила к середине IX века,—лет, значит, через *триста* после того, как появились первые известия о славянах. Но, по этому преданию, основателями первых больших государств на русской равнине были не славяне, а пришлые народы: на юге хозары, пришедшие из Азии, а на северо-западе варяги, пришедшие со Скандинавского полуострова, из теперешней Швеции. Потом варяги победили хозар и стали хозяевами на всем протяжении Европейской России.

Это предание новейшие историки часто оспаривали из соображений патриотических, т.-е. националистических: им казалось обидно для народного самолюбия русских славян, что их первыми государями были иноземцы. На самом деле это не менее и не более обидно, чем то что Россией с половины XVIII века управляло, под именем Романовых, потомство немецких, голштинских герцогов (подлинные Романовы вымерли в 1761 году, в лице дочери Петра I, Елизаветы, у которой не было детей). То-есть это вовсе никакого значения не имело, и то, что первые государ-

ские и киевские князья, которых мы знаем по именам, были шведы по происхождению (что несомненно), совсем неважно. Гораздо важнее то, что эти шведы были *рабовладельцами* и *работорговцами:* захватывать рабов и торговать ими было промыслом первых правителей русской земли. Отсюда непрерывные войны между этими князьями, войны, целью которых было «ополониться челядью», т.-е. захватить много рабов. Отсюда их сношения с Константинополем, где был главный тогда, ближайший к России невольничий рынок. Об этом своем товаре, «челяди», первые князья говорили совершенно открыто, не стесняясь: один из них, Святослав, хотел свою столицу перенести с Днепра на Дунай, потому что туда к Дунаю сходилось «всякое добро», а среди этого «всякого добра» была и «челядь». Кроме этого на рынок шли и продукты лесного хозяйства, меха, мед и воск. Это князья добывали «мирным путем», собирая это все в виде дани со славянских племен, которые им удавалось покорить. Но рабы были самым важным товаром,—о них больше всего говорится в договорах первых русских князей с греческими императорами.

Первые русские «государи» были, таким образом, предводителями шаек работорговцев. Само собою разумеется, что они ничем не управляли: в X веке, например, князь и в суде еще не участвовал. Только с XI столетия князья начинают понемногу заботиться о «порядке» в тех городах, которые образовались мало-по-малу около стоянок работорговцев. Дошедшие до нас письменные памятники изображают именно городской быт и городскую жизнь. Население этих городов было не чисто славянским, а очень смешанным. Туда стекались торговцы и просто беглецы из разных стран, куда ходили русские купеческие караваны. Именно это смешанное население и получило раньше всего название «Руси»—от прозвища, которое финны дали шведам, приезжавшим в Финляндию через Балтийское море. Шведы составляли первое время господствующий класс этого городского населения: имена первых князей и их ближайших помощников, бояр, сплошь шведские, как мы уже упоминали. Греческие писатели приводят несколько тогдашних «русских» слов, и они все заимствованы из шведского языка. Самое слово «князь» происходит от шведского «конунг», а другое всем знакомое слово «витязь» от такого же шведского «викинг». Но большинство городского населения было славянское, и князья с их боярами скоро среди него ославянились. В конце X века все князья носят уже славянские имена (Святослав, Владимир, Ярослав и т. д.) и говорят не по-шведски, а по-славянски.

О быте и нравах этих первых «русских» людей, обитателей Новгорода, Киева, Смоленска, Чернигова, Переяславля (это вместе с Полоцком, стоявшим несколько в стороне и находившимся в начале в руках особой княжеской семьи, но тоже шведского происхождения,—древнейшие русские города, о каких мы знаем), мы узнаем больше всего из так называемой «Русской

Правды», сборника судебных обычаев, самые древние из которых возникли в X веке, а окончательно составилась «Русская Правда» в XIII. Отсюда мы и узнаем, что князь в X веке еще не судил. Дела между горожанами решались или самосудом,—когда один человек ранил или убивал другого, тот или его друзья и родственники расправлялись с виновным сами, синяк за синяк, сломанное ребро за сломанное ребро, а за убийство убийцу убивали; это называлось «кровною местью»; или же спорящие шли на третейский суд перед 12 человеками (присяжными) и подчинялись их решению. Решение это обыкновенно состояло в том, что ударившего или убившего приговаривали заплатить пострадавшему или его семье деньгами. Дороже всего платили за тех, кто принадлежал к княжескому двору, меньше всего за крестьян—то же, что и за рабов. Считали тогда на серебро, хоть и называли его иногда, по старой памяти, «скотом». Перевести тогдашние цены на теперешние очень трудно, но приблизительно выходит, что жизнь крестьянина стоила тогда рублей 500 на деньги, какие у нас были до войны 1914 г., а жизнь боярина в 10 раз дороже. За увечье тоже платили, но, конечно, меньше, чем за убийство. Если убитый был раб, хозяин высчитывал, был ли это обученный какому-либо ремеслу невольник или простой чернорабочий: за обученного раба-ремесленника нужно было платить дороже, чем за свободного крестьянина.

В чем же тут состоял суд? Да вот в том, что судьи помогали столковываться сторонам, обиженному с обидчиком, и высчитывали, сколько кому платить. А наказание? О нем сначала и речи никакой не было, не считая того, что обиженный, если чувствовал себя сильным, мог ударить, а то и убить обидчика. Наказаний вначале не было, потому что городская Русь X—XI века еще не знала *общественных классов*. Наказания служат средством для господствующего класса поддержать свою власть и привилегии (преимущества). Например, в буржуазном обществе, где все основано на частной собственности, наказаниями стараются внушить уважение к собственности. Кто затронет чужое право собственности, того всячески позорят, сажают в тюрьму, осуждают на каторжные работы и т. д. Но пока класса собственников еще не образовалось, всякий охранял себя и свое достояние, как умел, или обращался к окрестным жителям и соседям и у них искал защиты. Что нужна какая-то власть, которая бы хватала, сажала, наказывала, — это не приходило в голову.

Но постепенно наверху городской Руси выделились люди, в руках которых, благодаря удачным походам и грабежам, скопилось много богатства, главным образом, скота (мы помним, что он вначале был очень дорог) и рабов, «холопов». Масса трудящегося населения от них зависела. Крестьяне, которых войны не обогащали, а разоряли, должны были брать у богатых взаймы, преимущественно скот, лошадей. Скот они должны были отдавать

с приплодом (отсюда «рост» и наше «ростовщик»,—так произошли проценты). Задолжавшие крестьяне, «закупы», если не могли расплатиться (а могли они это сделать очень редко), попадали в положение, очень похожее на холопское: ростовщик-хозяин их бил, иногда и продавал, как невольников. В такое же положение попадали и городские ремесленники, даже купцы, торговавшие в кредит на занятые деньги. Образовалось два класса: богачей, во главе которых стоял князь, и городской да деревенской бедноты, угнетаемой богачами.

С появления классов началась и *классовая борьба:* бедные восставали, нападали на богатых, поджигали у них дома, крали у них скот. В позднейших частях «Русской Правды» (мы помним, что она составлялась в течение трех столетий) мы уже находим *наказания,* и именно за *разбой,* т.-е. вооруженное нападение на чужую собственность, за *поджог* и за *конокрадство.* От этих преступлений нельзя было откупиться, за них казнили. Любопытно при этом, что приходилось запрещать—платить всей деревней за разбойника; очевидно, что крестьянство смотрело на него иными глазами, чем богатые люди: ему казалось, что разбой можно откупить, как и обыкновенное убийство в те времена. Зато если разбойника не находили, т.-е. деревня его укрывала, взыскивали со всей деревни, по круговой поруке. Из этих постановлений «Русской Правды» мы, кстати, узнаем, что жертвой разбоев чаще всего становились «княжи мужи», т.-е. богатые княжеские приближенные.

Никакими свирепыми наказаниями нельзя было испугать задавленную ростовщиками народную массу. И при первом же удобном случае она поднималась вся, уже не в виде отдельных «разбойников», а в виде общенародного восстания. В Киеве,—это был самый крупный тогдашний город, — мы знаем два таких восстания: одно во второй половине XI веке, другое в начале XII. Поводом к первому были *военные неудачи* князей. Мы уже упоминали, что варяги (шведы) были не единственными охотниками за «челядью», не единственными работорговцами на русской равнине. У них были соперники, конкуренты по этой части, приходившие из Азии. Сначала это были хозары, — с ними справились еще первые варяжские князья. Потом пришли печенеги, и с ними справились, но борьба уже обошлась не дешево: называвшийся выше князь Святослав был убит печенегами, и из его черепа печенежский князь сделал себе кубок. Когда пришла следующая волна азиатских соперников, пришли половцы, правнуки Святослава уже не в силах были с ними справиться и побежали. Население Киева тогда само взялось за оружие, но прогнало не только половцев, а и князей с их боярами. Это был, однако, кратковременный успех, скоро князья опять вернулись и жестоко расправились с вождями народной революции. Вымогательства ростовщиков становились все наглее и наглее, при чем гнездом ростовщичества был княжеский двор: князь был первым спекулян-

том, торгуя солью и т. под. На этот раз киевская беднота не дожидалась военных неудач: как только этот князь (сын свергнутого и вернувшегося за 40 лет перед тем) умер, восстание вспыхнуло вновь, и на этот раз не удалось его раздавить. Киевские богачи спаслись только тем, что поспешно призвали из другого города, из Переяславля, самого популярного тогдашнего князя, прославившегося победами над половцами, Владимира Мономаха. Тот сумел обойти народ ласковыми речами, но должен был сделать и целый ряд уступок. Вновь изданные постановления, записанные в «Русскую Правду», запретили обращаться с закупом, как с холопом; закуп мог теперь искать управы на своего господина-ростовщика. Если купец, взявший деньги взаймы, терял их не по своей вине, а от пожара или кораблекрушения, например, и не мог отдать долга, его не обращали в рабство, как это делалось раньше, он получал отсрочку для уплаты долга. Конечно, все это не положило конец ростовщичеству и угнетению массы, которая от постоянных войн все беднела. Но первое время после киевской революции с этой массой считались больше, чем когда бы то ни было, и сходка киевских горожан, *вече*, управляла Киевом, ставила и низвергала князей, а те должны были разговаривать с вечем не как с подданными, а как со своим братом, как с равным. Князь говорил: «братья кievляне», а те ему отвечали: «брат наш».

Такие же, как в Киеве, порядки установились и в других городах, в Ростове (Ярославском), во Владимире, особенно же в Новгороде, о котором еще придется говорить особо. Но кроме Новгорода, где были и особые условия, как увидим дальше, у вечевых порядков не было никакого будущего. Тогдашние большие города жили работорговлей, — не нужно забывать этого. Они страшно опустошали этим окрестную страну. Крестьяне бежали от этих городов в чащу приволжских и приокских лесов, в нынешнюю Московскую, Рязанскую и Владимирскую губернии. Эти крестьяне уже не были теми полудикарями, как первые славянские поселенцы: они имели уже железные орудия, умели пахать землю на лошади, сохою или плугом, они были гораздо сильнее тех финнов, которых они находили в московских лесах, и легко их покорили. В то же время для горожан они попрежнему оставались «смердами» (отсюда «смердеть»,—вонять), которые годятся лишь на то, чтобы обратить их в рабство или брать с них дань. На вече смерды не имели голоса, и не было им расчета поддерживать вече. Древне-русская свобода была городской свободой, и она пала вместе с городами.

Главных причин упадка древне-русских городов было две: первой была огромная перемена в направлении и характере торговли того времени. Этот переворот известен в истории под именем «крестовых походов», потому что главной, всем объявлявшейся целью этих походов было будто бы завоевание у «неверных», т.-е. магометан, Иерусалима и других «святых мест». На самом

деле западно-европейские ополчения, шедшие освобождать «гроб господень», были лишь орудием в руках средне-векового западно-европейского (преимущественно итальянского) торгового капитала. Южно-французские и итальянские купцы хотели себе пробить прямую дорогу на богатый тогда Восток, чтобы не зависеть больше от греческих, константинопольских купцов, которые держали до сих пор в руках восточную торговлю. В Иерусалиме крестоносцы удержались недолго, но Константинополем они, в 1204 году, завладели прочнее. Главный покупатель русских товаров был разорен. Восточная торговля, которая шла прежде через Черное море и по Днепру, обходом в Балтийское море, пошла теперь прямо из Сирии, Палестины и Египта в Венецию, Генуя и Марсель, а оттуда, через альпийские горные проходы и Рейн, в Северную Европу. «Великий водный путь из Варяг в Греки», на котором вытянулась цепь древне-русских городов, заглох, а с ним вместе стали глохнуть и эти города.

Окончательно их добило *татарское нашествие*. Татары пришли оттуда же, откуда приходили хозары, печенеги, половцы, они были и сродни этим народам, и цели у них были те же — охота за человеческой дичью, — но из всех азиатских пришельцев татары были самыми сильными, лучше всех организованными. На[illegible] перед стенами городов: все опустошения доставались, опять-таки, крестьянам, «смердам». Татары умели брать города; повидимому, им был известен уже и порох, еще не известный тогда (середина XIII столетия) в Западной Европе. Дружины русских князей не могли справиться с таким противником: все русские города попали один за другим в руки татар, [illegible]. Татары не только разорили их и увели население в [illegible], укрепляя свою власть, они с корнем вырвали всюду (опять-таки кроме Новгорода) городскую свободу. Из князя они сделали своего приказчика, собирающего дань для татарского хана, и всякое сопротивление ханскому приказчику каралось новым беспощадным разгромом. «Вече» стало значить то же, что «бунт», «вечник» — то же, что «бунтовщик».

Татарские порядки [illegible] укрепились на Руси особенно на северо-востоке, около Москвы и Владимира. Татарский способ раскладки податей (по сохам, так называемое «сошное письмо») удержался до середины XVII столетия. Мы увидим дальше, как объединение Руси около Москвы было на добрую половину татарским делом. Но это ждало еще впереди. И прямые, непосредственные следствия татарского нашествия были очень велики. Городская Русь, истощенная собственными грабежами, подбитая передвижкой мировых торговых путей с Черного моря и Днепра на Средиземное море и Рейн, была окончательно добита татарами, и после татарского разгрома оправиться не могла. Россия стала той деревенской страной, какой мы привыкли ее видеть. И сложившиеся в этой деревенской Руси порядки были не похожи ни в дурную ни в хорошую сторону на то, что представляла собой

городская Русь X и XII столетий. Князь и его боярин, работорговцы вначале, теперь превращаются в земледельцев. Вместо того, чтобы доставлять товар на невольничьи рынки, они сажают теперь захваченных ими пленников на землю, делают из них своих холопов. Все это случилось, конечно, не сразу — не в один, два года, даже не в одно — два десятилетия. Задолго до татар, в XII веке боярин из ростовщика и торговца превращается в сельского хозяина: у него, по Русской Правде, есть село, в селе приказчик и всякие рабочие. У одного князя летопись насчитывает 700 человек такой сельской челяди, про другого — Галицкого князя Романа — даже поговорка сложилась: «Романе, Романе худыми живеши, Литвою[1]) ореши», потому что он литовских пленников сажал на землю и заставлял пахать. Все это, однако, первое время не мешало князьям и боярам разбойничать и, при случае, торговать награбленным, а ростовщичество даже отлично уживалось с сельским хозяйством, доставляя рабочие руки в лице «закупов». Только падение городов прочно усадило боярина в его усадьбе и окончательно сделало его «барином», помещиком.

От городской Руси (историки обыкновенно называют ее «Киевско-Новгородской», по двум главным городам) осталось порядочное количество письменных памятников, показывающих, что в то время в городах, особенно при княжеских дворах, люди были уже довольно развиты умственно, имели литературные, художественные интересы и т. д. Князья не только грабили, а увлекались военной славой. Их придворные поэты воспевали их подвиги и оплакивали их несчастия. Одна такая придворная поэма—«Слово о полку Игореве» — до нас дошло целиком; она рассказывает о неудачном набеге одного князя на половцев. От других подобных сохранились отрывки в летописях, которые велись при каждом княжеском дворе; князья ссылались на летописи, когда им нужно было доказать свою правоту или неправоту соседа. Само собою разумеется, что в этих летописях не только князья на первом месте, но и о них рассказывается все хорошее, что можно рассказать, а об их врагах все дурное. Если даже и летописи не могли скрыть тех киевских революций, о которых говорилось выше, значит, уже слишком громкое было дело, о нем говорилось в народе, и летописцу ничего не оставалось, как оправдывать своего князя, сваливать вину на его молодость, на плохих советников и т. под. Вообще летописцы всячески старались возвеличить князей; это именно из летописей Киевской Руси новейшие историки извлекли разные сказки о том, будто князья явились на Русь, чтобы установить порядок, прекратить преступления, защитить обиженных и т. д., — сказки, которые и теперь

[1]) Очень древнее индо-европейское племя на северо-западе России (его столицей были сначала Ковно, потом Вильно). После татарского разгрома, на развалинах западных русских княжеств, оно основало большое государство, позже слившееся с Польшей (в XIV—XVI столетиях).

можно прочесть в плохих исторических книжках, распространявшихся царским правительством.

Это возвеличение князей объясняется не только тем, что летописцы были придворные люди, но и тем еще, что это были, по большей части, люди духовные, придворные священники или настоятели монастырей, основанных и щедро одарявшихся князьями. Светских грамотных людей в то время было еще мало; Русская Правда, например, не знает еще письменных договоров, а священники все поголовно и тогда были грамотные: естественно, что они чаще всего являлись писателями. Но христианская церковь обязана своим существованием и процветанием в России князьям и боярам. Когда у нас начал образовываться верхний слой общества (см. выше), он гнушался старыми, славянскими, религиозными обрядами и славянскими колдунами, «волхвами», а стал выписывать себе вместе с греческими шелковыми материями и золотыми украшениями и греческие обряды, и греческих «волхвов», священников.

Православная церковь, конечно, всячески раздувала значение этого события, так называемого «крещения Руси», но на самом деле перемена была чисто внешняя, и дело шло об изменении именно обрядов, а религиозные верования и до, и после крещения оставались и тогда, и гораздо позже, до наших дней— *анимизмом* [1]), т.-е. верой в то, что весь мир населен бесчисленным количеством *духов,* злых и добрых, но больше злых, чем добрых, от которых зависит все, что происходит в мире,— движение небесных светил, погода, урожай, счастье и несчастье человека, — все это определяется капризной волей этих духов.

Анимизм был некогда основным верованием всего человечества и до сих пор живет в языке. Когда мы говорим «солнце встает», то мы повторяем слова человека, жившего тысячи лет тому назад и искренно убежденного, что солнце есть живое существо, что оно каждый вечер ложится спать и утром встает с постели. Когда мы говорим «лес шумит», «река бежит», мы этим самым изображаем их живыми существами. Но сейчас это—только слова, а когда-то человек, повторяю, действительно верил, что вся природа оживлена. Духов, которые двигают всей природой и от которых зависит существование человека, конечно, страшно боялись. Их старались всячески умилостивить, и так как наивно думали, что у этих духов были те же потребности, как у людей, старались этих духов накормить, снабдить даже одеждой, — словом, ублажить их так, чтобы им было не на что жаловаться. Когда явилось христианство, то к прежним духам прибавилось много новых христианских, ангелов и святых. Но вообще эти верования не изменились. Продолжались и жертвоприношения, только вместо того, чтобы непосредственно отдавать духу курицу, барана, лошадь или что другое, это отдавалось духовенству, ко-

---

[1]) От латинского слова „анимус“, дух.

торое, предполагалось, умеет как-то ублажить соответствующих духов святых или напугать соответствующих злых духов. Христианское духовенство, таким образом, заменило собою тех волхвов и кудесников, которые будто бы узнавали судьбу раньше.

Эта вера не была совершенно бессмысленной, как может показаться с первого взгляда. Вообще ничего бессмысленного в истории не бывает, и духи, о которых идет речь, не были просто ни с того ни с сего выдуманы человеком. Это были первоначально духи покойников, которых человек боялся больше всего на свете, а покойников человек боялся потому, что покойники напоминали ему о смерти; смерти же, уничтожения, все живое всегда боится больше всего. Таким образом, страх перед духами есть особая форма страха смерти, т.-е. особая форма чувства самосохранения, в которой объединяется все живое. Человек боялся сначала самих покойников, самих трупов, стараясь поскорей от них избавиться, боясь к ним приблизиться, после приближения всячески очищался, мылся и т. д. Всякому легко сообразить, до чего это было практически полезно, если покойник умер от заразной болезни, и вообще гниющий труп наполнен всевозможными ядами, так что человек, который соблюдал всевозможные предосторожности, обращаясь с этим трупом и приближаясь к нему, в сущности, поступал разумно. Таким образом, не самые поступки человека были в данном случае нелепы, а нелепы были те верования, которые были связаны с этими поступками, те объяснения, которые он этим поступкам давал, и, прежде всего, верования, что вреден не сам разлагающийся труп, а вреден какой-то «дух», скрывавшийся в нем и которого никто никогда не видел и не мог видеть, потому что «дух» существовал только в воображении трусливого дикаря.

Древне-русский анимизм особенно ярко выразился в «житиях святых», в особенности в сборнике рассказов из жизни монахов главного древне-русского монастыря — Киево-Печерского. Вся жизнь древне-русских угодников и монахов состояла из бесчисленных схваток с разными «злыми», т.-е. враждебными христианству духами, при чем помощниками монахов выступали «добрые», т.-е. христианские духи, святые и ангелы. Попутно мы узнаем, что в древне-русском монастыре ничего не делалось даром и монахом нельзя было сделаться, не заплатив денег,—словом, все было пропитано таким же духом торгашества, как и вся жизнь древне-русского города.

Образование Московского государства.

К XIII веку нашего летосчисления, т.-е. лет 600 тому назад, в теперешней средней России установились те порядки, которые принято называть *феодальными*[1]). Сущность этих порядков заключается в том, что вся земля со всем ее населением находится во власти небольшого количества военных людей, которые со своей вооруженной челядью господствуют над трудящимися классами. Этих военных людей, собственно говоря, нельзя было назвать землевладельцами, потому что земли дикой, необработанной, покрытой лесами, было в те времена сколько угодно и она сама по себе цены не имела. Но среди лесов и болот были рассеяны деревушки крестьян-земледельцев, отчасти крестьян-промышленников, ловивших рыбу, бивших зверя, разводивших пчел. И вот то, что вырабатывали эти крестьяне, и попадало в руки господствующих военных классов. Как в Западной Европе, так и у нас, в России, этот класс не состоял из равных людей. Чем больше деревень захватывал тот или другой феодал, по-русски выражаясь — «боярин», «барин», тем больше было его значение. У нас самые крупные из них назывались князьями, помельче — боярами, еще мельче — детьми боярскими. На западе Европы лестница была длиннее, и отношения сложнее,—там мы находим «герцогов», «графов», ««маркизов», «баронов» и т. д. Но суть дела была одинакова и там и тут. Более мелкие феодалы поступали обыкновенно в зависимость от более крупных. Зачем им это было нужно? Да потому, что в феодальном мире все держалось на насилии и человек послабее, даже если он был вооружен и имел вооруженную дворню, всегда мог ожидать, что на него нападет сосед сильнее его и самого его сделает рабом или, по крайней мере, выгонит его из усадьбы, усадьбу сожжет, а деревню с крестьянами заберет себе.

Что касается самих крестьян, то их нельзя в это время было назвать крепостными. Крестьянской *крепости* 600 лет тому назад в России быть не могло просто потому, что никаких «крепостных», прочных отношений в деревне в это время не было. Как мы сейчас указали, земли было вдоволь. Земледельцы передвигались среди необозримых лесов, вырубали участки этих лесов, сжигали их, устраивали там пашню. Когда эти места переставали давать урожай, они передвигались на другие. Таким образом, *население тогдашней России постоянно передвигалось с места на место*. Очень редко внук крестьянина умирал на том месте, где родился дед. И даже в течение своей жизни крестьянину приходилось переменить несколько, может быть, даже не один десяток пашен. При такой подвижности на-

---

[1]) От „феод“—земельный участок военного, служилого человека.

селения господствующему классу не было никакой выгоды закреплять это население к какому-нибудь одному месту. Крестьяне были прикреплены к земле и к владельцам только гораздо позже, когда стало тесно, земли стало меньше и появилось правильное хозяйство, сначала переложное, потом трехпольное.

Мы сказали сейчас, что сами феодалы не были между собою равны. Но не следует представлять дело и так, что будто один из них господствовал, а другие безусловно подчинялись. Нет. Если мелкие феодалы каждую минуту боялись, что их разграбят и разорят более крупные, то и крупные могли бороться с другими крупными феодалами, только опираясь на большое количество подручных (в Западной Европе они назывались вассалами). Тут зависимость, таким образом, была обоюдная. И феодальное общество, поскольку речь шла о военном классе, нужно представлять себе, как кучку людей, связанных между собою договором. Содержание этого договора было всегда одинаковым и заключалось в том, что крупные феодалы обещали мелким защиту и покровительство, а мелкие обещали по их призыву садиться на коня и явиться «людны и оружны», т.-е. с вооруженными холопами, со своим собственным вооружением, когда крупный феодал (в Западной Европе он назывался сюзереном) этого потребует. Остается прибавить, что этим вооруженным холопам (в древней Руси они назывались «послужильцами») тоже давали в распоряжение деревни, а иногда и несколько деревень с крестьянами, для того, чтобы привязать их к их господину. Из этих вооруженных холопов мало-по-малу составился целый класс мелких феодалов, которых позже стали называть помещиками, и из них сложилось позднейшее дворянство. Как видим, все это — люди военные, по своему постоянному занятию, они не хозяйничали, не могли и не хотели хозяйничать. Правда, у них при их избах была иногда небольшая запашка, огород, сад с яблонями, сливами и т. д., но все это шло только для собственного обихода. Ничего из этого не поступало на сторону. Точно так же и их крестьяне не продавали произведений своего труда, а платили дань своему барину натурой. Каждый двор, например, давал барана, пять кругов сыра, мешок пшена и т. д. Таким путем, посредством натуральных поборов, получали не только сырье, но и предметы промышленности. Так, свой кузнец платил оброк барину топорами или делал для него и для его вооруженной челяди кольчуги, мечи и т. д. Свой плотник ставил барину избу, свой кожевник дубил для него кожи, а свой сапожник делал из этой кожи сапоги. Каждый феодал, даже мелкий, старался, таким образом, обойтись услугами своих людей.

Сношениям более далеким, чем в кругу ближайших сел и деревень, мешали прежде всего постоянные феодальные драки. Купцы были редким явлением в этом мире. Обыкновенно они возили с собою не предметы ежедневного потребления, а предметы роскоши: дорогие шелковые материи, дорогое оружие, женские

украшения, заморские вина, заморские фрукты и т. п. Этих редких гостей феодал старался ограбить. Иные делали это прямо и просто, нападая со своей вооруженной челядью на купцов, другие, не желая резать курицу, которая несет золотые яйца, поступали предусмотрительнее, устраивая в своих владениях таможню,—по древне-русски «мыт», и требовали своего рода дань с каждого проезжающего купца. Проехав несколько десятков таких владений, а ими кишела тогдашняя Европа и тогдашняя Россия, купец обыкновенно оказывался обобранным начисто. Ясно, что большой охоты торговать такие порядки возбудить не могли, и понятно, почему слово «мытарство» стало значит «мучение».

Мы сказали, что между феодалами шли постоянные драки. В этих драках более сильные помещики уничтожали более мелких, в редких случаях, конечно, уничтожали прямо и непосредственно, как редко прямо и непосредственно грабили купцов. Гораздо чаще дело складывалось таким образом, что крупный феодал заставлял себе служить более мелких. Но находился феодал еще крупнее, который старался их себе поработить. Нередко этот феодал находил себе еще более сильного соперника. Так, мало-по-малу, из феодального хаоса могло составиться нечто цельное, должна была образоваться *феодальная монархия* (единодержавие). Именно этим путем собирания отдельных феодалов вокруг одного и возникли крупные западно-европейские государства. Так сложилось, например, средневековое французское королевство, так же образовалось и Московское царство

Почему у нас это объединение произошло именно около Москвы? На это были, конечно, свои причины. Этих причин никоим образом не приходится искать в том, что московские князья были умнее и храбрее других князей и вообще других феодалов. Наоборот, это были люди, по свидетельству всех историков, серые и незаметные. Но именно поэтому им и везло больше, нежели другим. Московский князь в начале этого периода, о котором мы говорим, был одним из самых мелких и незначительных, но он сидел чрезвычайно удобно. Через Москву шли тогда два пути; один, более старый, из Смоленска к р. Клязьме, с запада на восток. [illegible] самый крупный [illegible] из городов феодальной России—Владимир. Все товары, направляющиеся с запада во Владимирскую землю, шли через Москву. Другая торговая дорога шла с севера на юг, из Новгородской земли, которая была в те времена в более тесной связи с Западной Европой, чем какая бы то ни было другая часть России, в нынешнюю Рязанскую губернию, землю очень хлебородную. Отсюда тогда [illegible] в Новгород, [illegible] собственного [illegible]. И тех и других товаров на тогдашний рынок было очень недостаточно (нужно припомнить, что и торговля Западной Европы в те времена выражалась в очень небольшом количестве товаров. Так, все товары, перевозившиеся из Италии в Германию через С.-Готардский перевал в течение года,

в средние века, уместились бы в двух поездах теперешней Сен-Готардской железной дороги). Но важно, что все это небольшое товарное движение неизбежно проходило через Москву, т.-е., другими словами, московский князь мог собирать мыта с купцов больше, чем кто бы то ни было другой. В то же самое время, и отчасти по той же самой причине, и всякая другая натуральная дань и оброк с крестьян были у него больше потому, что крестьянское население около Москвы было гуще, чем в других местах. Это объясняется тем, что Московское княжество, запрятанное в самой средине русской земли, представляло для населения бо́льшую безопасность, чем окраинные земли. К тому же московский князь, получая, благодаря выгодности своего положения, хороше доходы, был менее драчливым, чем другие, и на его земле поэтому охотно селились, так как там было меньше опасностей от войны. Благодаря всему этому, уже в первой половине XIV столетия московский князь получил прозвище «калиты», т.-е. мешка с деньгами. Но, будучи самым богатым, он еще не был самым сильным князем. Это опять было для него выгодно. Гораздо сильнее его были в это время князья рязанские или нижегородские, а в особенности тверские. Но не нужно забывать, что все эти князья вместе с московским были тогда вассалами, подручниками татарского хана. Хан очень подозрительно относился к русским князьям и вовсе не был расположен помогать тем из них, кто сильнее, ибо сильному князю могла прийти в голову мысль не слушаться татар, поднять против них восстание. С тверским князем так и случилось. Отсюда — покровительство, которое оказывал хан именно московскому князю, наиболее слабому и в глазах хана наиболее безобидному. Московский князь сделался чем-то вроде главного приказчика хана. Ему поручено было собирать дань татарскую со всех других князей. Как самый богатый, он был, конечно, и самым надежным сборщиком дани. У него всегда были деньги. Этими деньгами он ссужал более бедных князей, и, смотришь, — то или другое княжество переходило в московские руки не обычным в феодальное время способом открытого захвата, а просто покупкою или залогом. Наконец, благодаря той же кажущейся незначительности московского князя, приобретает он себе поддержку и другой силы. Кроме татарского хана, к московскому князю стала благоволить и стала его поддерживать русская церковь.

Православная церковь в России самим своим существованием обязана была князьям. Она появилась на Руси, когда крестился в конце X века князь Владимир, которого в благодарность эта церковь и причислила к лику святых. Церковь была в России придворным учреждением, зависимым от князя. По рекомендации князя ставились архиереи, которых он желал и которых он прогонял, когда они были ему неугодны. Князь строил монастыри, где должны были молиться за него и за его родню, и распоряжался в этих монастырях, как у себя в имении. Если кто с

князем мог соперничать по части влияния на церковь, то разве только веча больших торговых городов, которые распоряжались с архиереями и архимандритами так же, как в других местах князья. Веча возводили их и сводили, и т. п.

Татарское завоевание очень помогло православной церкви выбраться из-под этой зависимости от князя и от веча. Вече, как мы знаем, татары просто уничтожили. Что касается князя, то церковь, привыкшая быть придворной, нашла себе теперь двор гораздо могущественнее, чем двор любого из русских князей. А именно: наши митрополиты, переехавшие теперь на жительство из Киева во Владимир-на-Клязьме, завязали прямые сношения с татарскими ханами и стали получать от них жалованные грамоты (ярлыки). В этих жалованных грамотах хан обещал церкви всякие льготы, обещал не брать с нее податей, посадил митрополита судьей над всеми церковными людьми и независимо от княжеского суда, под одним только условием, чтобы церковь молилась за него, хана, и за его родню. Хан был, конечно, неверный, сначала язычник, потом магометанин, но православная церковь этим не стеснялась. Ханам было выгодно, чтобы в русских церквах за них молились. Они понимали, что одной силой держаться нельзя, и старались уверить население России, что им, ханам, помогает сам бог, что они есть та власть, поставленная от бога, о которой говорится в писании. И русские архиереи и священники помогали хану достигнуть этой цели.

Так между православной церковью и неверными ханами возник союз, который для православной церкви оказался гораздо более выгодным, чем для татар, ибо владычество татар, в конце-концов, было свергнуто. Церковь же воспользовалась милостями хана, чтобы стать самостоятельной по отношению к русским князьям. Князьям, конечно, это не нравилось, и тверской князь, например, восставший против татар, пытался подчинить себе и церковь. Владимирский митрополит должен был искать себе союзников — и в свою очередь обратился к смирному и безобидному на вид московскому князю. Митрополит Петр переехал на жительство в Москву, которая с тех пор и стала церковной столицей России.

Московский князь опирался, с одной стороны, на свое богатство, с другой — на татар, с третьей — на поддержку церкви и сделался понемногу главой всех русских князей. Это случилось довольно быстро, в течение одного столетия. Уже в конце XIV века тогдашний московский князь Семен Иванович, сын Ивана Калиты (Калита и значит мешок с деньгами), назывался Гордым, и летопись про него записала, что ему были отданы «под руку» все князья русские, т.-е. он будто бы сделался *сюзереном* всей России. Это, конечно, преувеличение. Сюзереном всей России сделался только праправнук этого князя, Иван Васильевич, в конце XV века, но это преувеличение показывает, как смотрели на московского князя уже за сто лет раньше.

Какие же экономические перемены лежали в основе этой перемены — образования из мелких отдельных владений одного целого? Очевидно, что дело не могло ограничиться объединением нескольких феодальных владельцев около одного старшего, что у этого факта должна была быть *экономическая* причина. Присматриваясь к переменам, какие происходили одновременно с объединением Руси около Москвы, мы начинаем видеть и эту экономическую причину. В XII веке, когда впервые упоминается Москва (первое упоминание о ней имеется в 1147 г.), это была просто усадьба тогдашнего владимирского князя Юрия Долгорукого, стоявшая на крутом мысу между р. Неглинной и Москвой, там, где стоит теперь большой кремлевский дворец и Боровицкие ворота. А в конце XIV века, т.-е. через 200 лет, в гор. Москве было несколько тысяч дворов, т.-е. несколько десятков тысяч населения. А в конце XVI века, еще через двести лет, Москва, по словам одного английского путешественника, была «немного больше Лондона», т.-е. была одним из самых больших городов Европы, и уже, конечно, самым большим городом в России. Очевидно, что существование такого большого города само по себе значило, что Россия не распадается больше на множество мелких феодальных владений, ибо город с несколькими десятками тысяч населения, которое само собой не могло обрабатывать землю, не пахало и должно было получать хлеб извне, мог существовать только благодаря торговле хлебом и другим сырьем. Если бы такое сырье не подвозилось из окрестных земель, население города погибло бы с голода или должно было бы разбрестись.

Из кого и как создавалось это население? Оно было не только в Москве. И Тверь, и Владимир, и Нижний, и Рязань, и Ярославль были в это время уже значительными городами, хотя и меньше Москвы.

Во-первых, конечно, у всех крупных феодалов, будь это князь московский или тверской, или рязанский, была дворня военная и не военная, в очень больших размерах, исчислявшаяся сотнями, а, может быть, и тысячами людей. У более крупных чинов княжеской дворни был, конечно, и свой двор, и жил каждый из них в своей усадьбе. Но этого мало: вокруг двора барина собирались не только служилые люди, но и люди *черные*, как тогда говорили, посадские, как их еще называли, потому что они жили не в самом городе, т.-е. не в поселке, укрепленном стенами вокруг княжеского двора, а вокруг стен, в так называемом посаде. Эти посадские люди были, главным образом, ремесленниками, теми самыми деревенскими ремесленниками, которых мы находим раньше, но которые стали постепенно своим ремеслом обслуживать не только одну свою деревню и ближайшие деревни, а и все окрестное население. Самые лучшие кузнецы, самые лучшие седельники, сапожники, портные — все они собирались вокруг двора самого крупного барина, потому что

здесь были самые выгодные заказчики и больше всего можно было заработать. К услугам этих ремесленников чаще всего обращались те массы мелких феодалов, будущих помещиков и дворян, которые по бедности не в силах были заводить такую многочисленную, изобилующую всякими обученными людьми дворню, как феодалы крупные. Наконец, и купцы, продавцы предметов роскоши, охотнее всего ехали, конечно, ко двору самых богатых князей по той же причине. Здесь больше всего было возможности сбыть товар. Здесь были самые выгодные покупатели. В Москве XIV века мы находим уже «гостей сурожан», купцов, которые вели сношения с Италией через генуэзские колонии в Крыму.

Таким образом в Москве, рядом с населением феодальным, образовалось и молодое городское, по-западному выражаясь, буржуазное население, состоящее из ремесленников и торговцев. Москва не походила уже на обычный двор феодального владельца. Это был город в настоящем смысле этого слова, правда, город средневековый, по своим постройкам мелкий и сплошь деревянный, по своим узким и грязным улицам больше похожий на деревню, чем на город, но уже оправдывающий поговорку, что Москва — большая деревня. И повторяю, это был не единственный город тогдашней России. Несколько таких городов мы уже называли, но к ним нужно прибавить самый большой после Москвы и в торговом отношении еще более значительный в это время Новгород на Волхове. Борьбою этих двух больших городов, Москвы и Новгорода, и заканчивается образование Московского государства. Когда Москва победила Новгород, она стала действительно столицей всей Руси, а ее князь — старшиной, сюзереном всех русских князей.

Борьба Москвы с Новгородом.

Новгород сделался большим торговым центром гораздо раньше, нежели Москва, тоже благодаря своему выгодному географическому положению.

Новгород стоял на узле водных путей, которые вели к Балтийскому морю. Рекою Волховом, Ладожским озером и р. Невою он связан с самым восточным заливом этого последнего, с Финским, а притоками Ильменского озера, из которого вытекает Волхов, он связан с верховьями Волги, откуда по небольшим волокам, т.-е. перешейкам между реками, легко было передвигать товары к Новгороду.

В то же время сеть рек и озер к северу-востоку от Ладожского озера, Онеги, Онежского озера и т. д. связывала его с Поморьем и с областью Северной Двины. Северная Двина, так наз. Заволочье, т.-е. страна, находящаяся по ту сторону «волока» (между Волгою и С. Двиной), самого большого перешейка, какой знали новгородцы, стала первой новгородской *колонией*. Эта колония доставляла

новгородцам один из самых ценных предметов внешней торговли, именно меха, которыми новгородская область снабжала всю Западную Европу, а с другой стороны, с самого восточного конца этого Заволочья, с Урала, до которого доходили новгородские колонизаторы (основавшие, между прочим, Вятку), новгородцы получали серебро. Тогда драгоценных металлов было очень мало, и обладание драгоценными металлами было настолько важно, что уже это одно давало значение тому или другому городу, даже если он не был очень выгодно расположен географически. Например, в средней Германии выдвинулся совсем незначительный городишка—Гослар, только потому, что вблизи него в горах Гарца добывали тогда серебро, и настолько в незначительном количестве, что теперь эти серебряные рудники совершенно заброшены, тогда же они имели большое значение, потому, повторяю, что драгоценных металлов до открытия Америки в Европе было очень немного, а торговый капитализм в них нуждался.

Владея ценными товарами и главным орудием средневекового обмена—серебром, Новгород завязал тесные сношения с торговыми городами Прибалтийской и Рейнской Германии, с Ганзейским союзом. В Новгороде постоянно жили ганзейские купцы, имели там свои торговые дворы и склады. Новгород таким образом был единственный русский город того времени, находившийся в непосредственной связи с Западной Европой. Благодаря этому в Новгороде больше чувствовалось влияние западно-европейской культуры. Это отражалось и в искусстве,—напр. знаменитые «Корсунские Врата» новгородской св. Софии, главного новгородского собора, сделанные в Германии,—и в религии (секты стригольников и жидовствующих, проникавшие в Новгород из Западной Европы), и в обиходе,—богатые новгородцы одевались во фландрские (теперешн. Бельгии) сукна и т. д. Благодаря торговле, в Новгороде раньше, чем в какой-нибудь другой части русской земли, начинает складываться торговый капитализм, т.-е. средства обмена сосредоточиваются в немногих руках. Такими первыми в России богачами были новгородские бояре, новгородские феодалы, землевладельцы, которые грабили не столько других феодалов, сколько богатое Заволочье и являлись его первыми колонизаторами и завоевателями (вроде того, как впоследствии испанцы в Америке). Обменивая на деньги награбленное, эти богатые новгородские бояре давали потом деньги взаймы купцам, более мелким торговцам, которые снабжали западно-европейскими товарами лежавшие южнее русские земли, теперешнюю Тверскую, Ярославскую, Владимирскую губ., и за это получали сырье, в особенности хлеб, необходимый новгородцам.

Новгород, укрепившийся благодаря этой торговле, как видим, тесно был связан с будущими владениями московского великого князя.

Кроме бояр и купцов, которые составили верхний слой новгородского населения, в нем, еще более, чем в Москве, сосредо-

точилось много ремесленников, мелких торговцев, лавочников и т. д., составлявших население этого города, делившегося на пять концов или больших кварталов. Кем они были населены, показывает их название: один назывался Плотницкий, другой Гончарный и т. п. Все это население было необходимо большому торговому городу, и по этой причине оно скоро завоевало себе самостоятельность, какой не имело население других городов, бывших столицами крупных феодалов. Боярам и купцам было выгодно, даже необходимо некоторое спокойствие в городе и его ближайших окрестностях, иначе иностранцы не стали бы туда ездить. В противоположность остальной феодальной России, в Новгороде был некоторый порядок. Дорожа этим порядком, новгородские капиталисты вынуждены были итти на некоторые уступки населению, которое было им необходимо. Такой порядок установился не только в Новгороде, но и во всех больших торговых городах средневековой Европы. Всюду необходимость более прочной торговой организации приводила к тому, что низшие классы населения, в феодальных имениях совершенно порабощенные, в городе приобретали некоторую свободу. Так образовалась французская коммуна, так образовались немецкие городские общины, возникло так наз. магдебургское право с разными привилегиями для горожан и т. д.

Это вовсе не значит, что новгородская земля была свободной. Наоборот, сельское население Новгородской области, именно благодаря тому, что эта область шла впереди других частей России по своему экономическому развитию, больше эксплоатировалось. В Новгородской области смерды раньше, чем в других местах, начинают становиться крепостными в настоящем смысле слова, т.-е. прикрепляются к земле и к своему владельцу. Но они были крепостные не только своего барина, а и всей новгородской общины. Город Новгород был каким-то огромным барином, который сидел над всею новгородскою землею. Население этой земли, таким образом, вовсе не было заинтересовано в том более или менее свободном порядке, который существовал в самом городе.

Этот город, хотя на словах и подчинялся князьям, на деле был республикой, он назначал и сменял своих президентов—посадников, своего главнокомандующего—тысяцкого, судей, начальников отдельных областей и т. д. Но во всех делах принимало участие только городское население в тесном смысле слова. Так было, повторяю, всюду, не только у нас в Новгороде, но во всей Западной Европе, во всех торговых городах. Городской воздух делал человека свободным, и во многих городах существовало даже правило, что человек, проживший в городе год и день, уже в силу этого становился свободным. Но за городской чертой уже начиналась феодальная порабощенная страна.

Московская буржуазия очень завидовала новгородской буржуазии. По мере того, как Москва становилась большим городом, ее торговцам все больше и больше хотелось забрать в свои руки

все барыши, какие можно было забрать на русской земле. В Москве тоже начал складываться торговый капитал, т.-е. средства обмена начали сосредоточиваться в немногих руках. Отсюда постоянные столкновения Москвы и Новгорода, предлоги для которых были разные, но настоящая причина была одна: Москва хотела отнять у Новгорода богатое Заволочье с его мехами и серебром. В этих столкновениях перевес все более и более склонялся на сторону Москвы, потому что Москва, под предводительством московского князя, забиравшего себе под руки всех остальных князей, представляла из себя могущественную военную силу, которая управлялась из одного центра, силу тем более грозную, что к ее услугам была татарская конница, которой в это время боялась вся Россия, а в Новгороде ничего этого не было.

Мы уже упоминали, что сельское население Новгородской области вовсе не было заинтересовано в защите Новгорода, потому что ничего доброго от его господства не видело и ему было все равно, этому сельскому населению, под чьей властью быть—Новгорода и его бояр или бояр Москвы и московского великого князя. Мы видели также, что и в господствующих классах новгородского населения не было единодушия. Независимость Новгорода, главным образом, отстаивало новгородское боярство, опиравшееся на низы городского населения, новгородское же купечество было заинтересовано в том, чтобы поддерживать хорошие отношения с «низом» (как называлось Поволжье, потому что Волга от Новгородской области течет вниз). Торговля на низу была главным промыслом новгородского купечества, и всякая война с Москвою лишала новгородское купечество всех источников барышей: купечество, т.-е. весь средний класс Новгорода, поэтому, очень вяло поддерживало бояр. Благодаря этому, после целого ряда войн, Москва справилась с Новгородом, московский великий князь подчинил себе северные торговые центры (кроме Новгорода, крупное торговое значение приобрел его «пригород», Псков), сделался там таким же хозяином, как и на берегах Москвы реки, и сейчас же показал, чьим орудием он был в этой борьбе, закрыв в Новгороде торговые дворы и переведя новгородских и псковских торговых людей на «низ», а на место их прислав несколько сотен московских купцов. После этого московская буржуазия стала полной хозяйкой в деле торговли на всем пространстве тогдашней русской земли. Образовалось из всех мелких феодальных владений и вольных городов на северо-западе одно огромное Московское царство.

Разложение московского феодализма: товарное хозяйство и крепостное право.

Московское царство было уже гораздо более сложным целым, нежели те мелкие феодальные владения, из которых оно сложилось. Мелкие феодальные владения—удельные княжества—сплошь и рядом создавались из усадеб или монастырей, около которых были торги и довольно большие села. Вот и вся столица. Столица Московского царства, как мы уже упоминали выше, была огромным городом, огромным по-тогдашнему, одним из самых больших городов Европы в свое время. Столицы удельных княжеств могли кормиться, получая сырье из окрестных деревень и волостей, которые немногочисленные ремесленники, жившие при дворе удельного князя или ютившиеся в слободах около монастырей, снабжали нехитрыми произведениями своего ремесла. Москва не могла существовать таким способом, она втягивала в себя огромное количество сырья, нередко из очень отдаленных мест. Это сырье часто не оставалось в Москве, а шло гораздо дальше, как было с мехами. Но даже сырье, потреблявшееся на месте, требовалось в огромном количестве, и по одной ярославской дороге в Москву ввозилось ежедневно до 700 возов со съестными припасами.

Спрашивается, как же кормился этот огромный город? Казалось бы, что тех небольших избытков, которые имелись у крестьян и которые они сбывали на рынке, должно было скоро нехватить. Нужно помнить, что тогдашнее сельское хозяйство было очень экстенсивно, как говорится теперь, т.-е. очень мало доходно, потому что земля обрабатывалась плохо, не удобрялась и т. д. Тогда урожай сам-два, сам-три считался уже приличным. Очевидно, что нужно было, чтобы население работало больше, чем прежде, работало кроме пропитания себя самого еще и для снабжения городских рынков. Это—с одной стороны. С другой стороны, по мере того, как Москва становилась средоточием всей русской торговли, понемногу втягивая в себя все товары, которые приходили на Русь из разных других земель (сначала, как мы видели, из Италии, потом через Новгород из Германии и т. д.), на ее рынке появлялось все больше и больше таких предметов, которые могут украсить и усладить жизнь: дорогие цветные сукна, заморские вина, разные украшения, пряности, необходимые для тогдашнего стола. Верхний слой населения, бояре и дворяне привыкали всем этим пользоваться, но все это можно было купить только на *деньги*. Деньги были в княжеской казне, откуда, в виде жалованья, они в очень небольшом количестве попадали в карманы подручных князя, его вассалов, но в феодальном имении деньги не росли. Теперь их можно было

достать, продавая на городском рынке то сырье, которое получалось из этого самого имения.

И вот землевладелец, который раньше довольствовался тем, что получал с крестьян небольшой сравнительно натуральный оброк в виде баранов, кур, яиц и т. д., чем питался он сам и его дворня, начинает требовать сырья не только для своего продовольствия и для личных надобностей, но и для продажи. Он начинает требовать уже не определенного количества хлеба, а определенной доли урожая, $^1/_4$, $^1/_3$, $^1/_2$, он заинтересован в том, чтобы получить побольше хлеба в свои руки, потому что, чем больше в его руки попадет хлеба, тем больше он будет получать и денег. Затем, помимо натурального оброка, он начинает облагать крестьян оброком денежным. Раньше всего заменяются деньгами всякие мелкие поборы, потому что мелочи барин предпочитает приобретать на городском рынке, не дожидаясь, пока их привезут из деревень. Наконец, не дожидаясь сырья, которое выработают крестьяне, барин начинает сам «производить» и заводит свою запашку, чего он раньше не делал, работая, разумеется, не своими руками, а руками своих холопов, он сам только распоряжается хозяйством. Скоро, однако, и холопов ему начинает нехватать, и тогда он начинает всеми правдами и неправдами заставлять работать на этой земле *крестьян*.

Крестьяне, как мы помним, были подчинены барину и снабжали его всем необходимым сырьем, а также помогали ему своим физическим трудом. Но помощь эта была незначительна, и у крестьян много времени не брала. Теперь барин начинает все более и более растягивать эту натуральную повинность крестьян. Раньше, например, они работали на барина 8 дней в году, теперь барин требует от них два дня в неделю, потом три дня, потом еще больше. Так появляется рядом с крестьянским оброком *барщина*, как особая более тяжелая повинность крестьян. Но этого мало барину. Ему хочется заполучить рабочие руки крестьян и их время целиком в свое распоряжение. И вот, он пользуется тем, что крестьянская молодежь, только что поженившаяся, устраивая свое хозяйство, не может обойтись без чьей-нибудь помощи. Ей нужно обзавестись и избою, и инвентарем (скотом, земледельческими орудиями), и семенами на посев, и хлебом, чем прокормиться первое время, и т. д. Барин всем этим охотно снабжал новую крестьянскую семью и за это обязывал ее работать на себя на условиях, которые чем дальше, тем становились тяжелее. При помощи этой «ссуды» он закабалял крестьян (кабала—долговая расписка на старом русском языке). Само собою разумеется, что крестьянам все эти новые порядки не нравились, и те старые крестьяне, старожилы, которых барин начал гонять на барщину, и те задолжавшие барину молодые крестьяне—новопорядчики, с которых он требовал оброка и барщины в больших размерах, старались уклониться от новых тягот и по мере возможности уйти от барина. Тогда барин стал обращаться к более старшим, чем

ям, феодалам и, в конце-концов, к московскому великому князю, и стал получать от него грамоты, разрешающие ему своих крестьян «от себя не выпускать», а тех, которые ушли, разыскивать и насильно водворять обратно. Раньше всего такими грамотами обеспечили себя монастыри. Самая ранняя, какую мы знаем, относится к Троице-Сергиевскому монастырю. Монастыри вообще были лучшими сельскими хозяевами того времени. Они шли впереди и в деле образования торгового капитала. Благодаря приношениям благочестивых людей, с одной стороны, благодаря тому, что монастыри являлись местом, куда отдавали на хранение всякие ценности—с другой, монастыри сосредоточили в своих руках огромные суммы денег. На эти деньги они вели торговлю. Соловецкий монастырь, напр., торговал солью на всю Россию, Кирилло-Белозерский и Троице-Сергиевский—хлебом, на широком пространстве. А во-вторых, они приобретали землю, преимущественно у разорившихся землевладельцев, и на этой земле заводили первое настоящее крепостное хозяйство, с тяжелой барщиной для крестьян и с порядками очень строгими. Это были первые хорошо устроенные крепостные имения в России. Что касается остальных феодалов, то они далеко отставали от монастырей в этом отношении. Феодал был прежде всего человек военный. У него много времени брали походы. Кроме того, чем феодал был крупнее, тем больше у него было расходов на так называемое «представительство». Он должен был тянуться за другими более крупными феодалами, содержать большой двор, как вооруженный, так и невооруженный, одеваться в роскошные платья, чтобы не ударить лицом в грязь перед другими. Наконец, и он сам хотел пожить, попить и поесть не менее сладко, чем другие. Отсюда то, что он приобретал, продавая на рынке то, что производили его крестьяне, очень быстро утекало из его карманов, он еще более занимал, преимущественно у тех же монастырей и, в конце-концов, сам попадал в то же почти положение неоплатного должника, в каком он держал своих крестьян. Значит, крупные феодалы, высшие классы в особенности, благодаря новому хозяйству, скорее разорялись, чем наживались.

Гораздо лучше удавалось хозяйство мелкому помещику, вышедшему часто из крестьян или из холопов, который жил подчас скупо и бедно, но зато сумел прибрать к рукам тех немногих крестьян, которых он держал в своей зависимости. Этот мелкий помещик обыкновенно не находил себе земли в старой распаханной волости и являлся, благодаря этому, своего рода колонизатором. Он основывал новые деревни и переселял туда крестьян. Но так как мелкие владельцы эксплоатировали крестьян гораздо больше, чем крупные, именно потому, что крестьян у них было гораздо меньше, то крестьяне шли к ним неохотно. Мелкие помещики с завистью смотрели на большие имения, где было много крестьян, где было много распаханной (культурной) земли и владельцы которых, «ленивые богатины», лежа на боку, опивались

заморскими винами и медами, как казалось им, ничего путного не делая, и только зря проживая деньги. Недружелюбно поглядывали мелкие помещики и на богатые монастыри; те, располагая огромными капиталами, гораздо лучше привязывали к себе крестьян, чем помещики, все денежные средства которых заключались в небольшом жалованьи, в небольшой денежной сумме, получавшейся ими за военную службу, за свои походы.

Так мало-по-малу феодальный класс распался на две или даже, если хотите, на три части на крупное феодальное барство, потомков бывших князей и других крупных землевладельцев, владевших огромными вотчинами, но все более разорявшихся, на мелкое дворянство, которое, наоборот, создавало новое хозяйство и с великим трудом, что называется, выбивалось в люди, сколачивая себе кое-какое достояние. А рядом с этими двумя классами стояло одинаково ненавистное им обоим крупное церковное землевладение. Эти три класса: боярство, церковь и дворянство господствовали над русской деревней, а в городе все сильнее и сильнее укреплялась еще четвертая сила, это—сила торгового капитала, сосредоточенная в руках немногочисленных оптовых торговцев, ведущих дело, главным образом, с заграницей,—*гостей*, которые, в свою очередь, держали в денежной зависимости от себя мелкое купечество и массу *черного* люда, лавочников, мелких ремесленников и т. д., не завоевавших себе свободу, какою они пользовались в Новгороде, и все же представлявших силу, с которой должны были считаться даже московские князья.

Вот из каких элементов создалось московское общество в XVI веке. Не трудно видеть, что отношения между этими различными классами не могли быть дружелюбные и что между ними, как раньше между феодальными владельцами, должна была возникнуть борьба, в которой должен был победить сильнейший. Таким сильнейшим был возникающий и образующийся торговый капитал, который приобрел себе могущественного союзника в лице жадного до денег и жадного до земли мелкого дворянства.

Из этих гораздо более сложных, чем прежде, отношений выходит целый ряд переворотов и потрясений, которыми отмечены в русской истории XVI и начало XVII века. Так как при этом господствующие классы в это время были уже гораздо более образованными, чем раньше, среди них было очень много грамотных и привыкших излагать свои мысли на бумаге, то борьба была гораздо сознательнее, чем раньше. Раньше какой-нибудь феодал, при помощи самых грубых, достойных африканского дикаря хитростей отняв землю у своего соседа, разве только что старался замолить свой грех, построив монастырь или дав, по крайней мере, уже существующему жирный кусок от захваченного. Дальше этого его сознание совершенного им преступления не шло. Теперь отдельные классы оспаривают друг у друга землю и власть над трудящимися, стараясь доказать свою правоту. При-

церами из иностранной истории или священного писания и т. д. старались показать, что то, что нужно им, будто бы очень хорошо для всех. Иногда даже они начинают заступаться за угнетенных и обиженных и выступают, как будто представители народных масс и их интересов.

В XVI веке у нас появляется вдруг, что и не снилось Москве XIV века, политическая литература, *публицистика*, и эта сознательность борьбы делает ее, конечно, еще более яркой и интересной. Как всегда бывает в подобных случаях, наиболее талантливыми в этой нарождающейся на Руси публицистике являются представители нового класса, тех, которые пробивают себе дорогу,—нового поместного землевладения и городского класса, буржуазии. От них дошли до нас самые лучшие произведения тогдашней публицистики. По этим произведениям мы можем судить о тогдашней борьбе классов,—о том, чего они желали. В половине XVI века какой-то представитель мелкого дворянского землевладения, скрывшийся под именем Пересветова, жестоко нападает на боярство, доказывая, что бояре, «ленивые богатины», непременно доведут до гибели Московское царство и его государя. Он требует, чтобы власть была отнята у бояр, и рисует картину полицейского государства, управляющегося чиновниками на жалованьи, а не землевладельцами, с постоянной армией, также наемной и вооруженной по последнему слову тогдашнего военного искусства—«с огненным боем», т.-е. огнестрельным оружием, с правильно устроенным судом, с правильным сбором налогов и т. д. Программа настолько обширная, что она осуществилась на Руси только через сто слишком лет после Пересветова. В особенности дворянский публицист настаивал на энергичной внешней политике. Он требовал завоеваний. Прежде всего завоевания Казани, а затем вообще наступательной, завоевательной войны. Мы уже упоминали, что для небогатых землевладельцев той поры не было другого источника достать денег для первоначального обзаведения хозяйством, как получая из казны жалованье. Жалованье выдавалось за походы. Отсюда для массы «убогих воинников» походы представлялись желательными, не говоря уже о том, что во время походов можно было грабить, и что последствием завоеваний был захват обширных земель, где помещики надеялись найти выход из земельной тесноты. То, что Казань действительно была завоевана вместе со всем Поволжьем до Астрахани именно в это время, показывает, что пожелания мелко-дворянской массы не были пустым звуком, что с ее требованиями достаточно считались.

В то же время мы видим, что ее интересы сходились с интересами торгового капитала. Если помещику нужна была земля под Казанью, то торговому капиталу нужна была Волга, как торговый путь из России на Восток, откуда тогда шли в Европу шелк и разные другие очень ценившиеся в Европе товары. Помещики имели, таким образом, могучего союзника в лице тор-

гового капитала, а этот, в свою очередь, как мы помним, держал в зависимости от себя всю массу городского населения.

Перед феодалами-боярами вырастал страшный враг. Они еще продолжали держать в руках по старой памяти политическую власть, пытались опровергать дворянскую публицистику, доказывая, что наступательная внешняя политика богу не угодна, что царь ответит за пролитую кровь и что будто бы сам бог велел царю управлять государством не в одиночку, а непременно с боярами, но все это выходило очень бледно и слабо перед натиском новых общественных классов. Между тем эти последние, не удовлетворившись Казанью, начинают требовать наступательной политики и в других направлениях, в направлении западном. Захватив нижний конец большого водного пути, связывающего Западную Европу и Среднюю Азию, через Волгу и Каспийское море, торговый капитал, опираясь на помещиков, начинает отвоевывать верхний конец этого пути—выход к Балтийскому морю. С этим связана большая война, которую вел Иван Васильевич Грозный, внук того Ивана Васильевича, который поработил Новгород, так наз. Ливонская война из-за Балтийского побережья.

Но захватить Казань и Астрахань, которые находились в руках остатков татарской орды, в это время совершенно разложившейся и ослабевшей, было сравнительно легко, тогда как на берегах Балтийского моря Московское царство встретилось с сильными воинственными державами, которые были гораздо образованнее тогдашней России—с Польшей и Швецией. Ливонская война прошла неудачно, и в этой неудаче помещики и богатое купечество обвинили прежде всего, конечно, бояр. Военное поражение они приписывали боярской измене. В отдельных случаях отчасти этот взгляд оправдывался. Один видный боярин, главнокомандующий московских войск в Ливонии, князь Курбский, действительно перешел на сторону неприятеля. Неудачная война окончательно лишила помещиков надежды расширить свою землю путем внешних завоеваний. Им некуда было податься, нечего было больше захватить, кроме старых боярских вотчин внутри самого Московского царства, в то же время и торговый капитал был крайне раздражен неудачной войной, которую он тоже приписывал боярской измене или, по крайней мере, боярской трусости и неумелости.

В 1564 г. помещики вместе с богатым купечеством и произвели государственный переворот. Они захватили власть, а на боярство, за его якобы измену, обрушились жестоким террором. Целые боярские семьи были беспощадно истреблены, а земли были конфискованы и отданы в «опричнину». «Опричниной», «двором», называлась та новая форма государственного управления, которую создавали помещики; суть ее была в том, что теперь управлял, на словах, лично царь, а не царь с боярской думой, как раньше. Боярская дума сохранилась, но она потеряла всякое значение. Господство дворянства и купечества выразилось

таким образом в *диктатуре*, в огромном усилении царской власти. Террор не ограничивался боярством, он распространился на целый ряд других общественных групп, связанных со старым порядком (церковь, монастыри, остатки новгородского торгового капитализма и т. д.), крепко засел в народной памяти и дал повод прозвать царствовавшего тогда Ивана Васильевича Грозным. Это, конечно, не значит, что Иван лично был особенно жестоким человеком и что он лично много значил в перевороте. Борьба шла не между отдельными людьми, а между классами. Но любопытно, что Иван Грозный принимал в борьбе значительное участие и принадлежал даже к числу публицистов, которые тогда выступали. В своих писаниях, письмах к бежавшему за границу Курбскому, он по-своему пытается оправдать террор и доказать необходимость переворота.

Завладев властью, представители торгового капитала и среднего поместного землевладения, само собою разумеется, воспользовались этим не для того, чтобы улучшить положение крестьянской массы, хотя Пересветов в своих писаниях очень осуждает рабство и доказывает невыгоду порабощения народных масс даже с военной точки зрения, отмечая, что холоп труслив и плохо дерется. Все эти хорошие слова были теперь позабыты. Завладев богатыми боярскими вотчинами, помещики начали их грабить, доводя эксплоатацию крестьян до таких размеров, какие не снились старому боярству. У крестьян отнимали землю, превращая ее в барскую запашку, часто обирали самих крестьян в буквальном смысле слова, отнимая у них их жалкое имущество. Денежный оброк все увеличивался и увеличивался И не мудрено: прежде крестьяне какой-нибудь боярской вотчины кормили одну боярскую семью с ее челядью, а теперь эта вотчина была поделена между двумя десятками помещиков, и нужно было кормить двадцать семей с их челядью. При этом приемы обработки земли оставались старые. Сводили лес, обращали его под пашню, не удобряя земли, и, выпахав, бросали ее. Под конец XVI века около Москвы иностранцы на месте густых лесов, о которых они слыхали, находили только одни пни, а земля была так выпахана, что бо́льшая ее часть лежала впусте, зарастая кустарником и мелколесьем.

Разоренное крестьянство бежало, куда глаза глядят. Но помещики не желали расстаться с даровыми рабочими руками и выпрашивали у правительства один указ о беглых за другим. Эти указы о поимке и возвращении беглых подали повод потом рассказывать, будто крестьяне при сыне Ивана Грозного, царе Федоре Ивановиче, были прикреплены к земле.

Торжество помещиков и торгового капитала привело таким образом к огромному усилению эксплоатации крестьян. Появилось новое крепостное право, которое было гораздо хуже, круче прежнего феодального права. И теперь это новое, жестокое крепостное право охватило уже всю Россию Не было таких счастли-

вых уголков, где бы крестьяне могли бы от него укрыться. Недовольство крестьянской массы естественно становилось все больше и больше, тем более, что эта масса все больше и больше голодала, так как, благодаря хищническому хозяйству, урожай становился все меньше и меньше.

К началу следующего XVII века, при преемнике Федора Ивановича, царе Борисе Годунове, который уже прямо был выбран на царство помещиками, так как у Федора Ивановича потомства не оказалось,—при Годунове начался настоящий голод, который современники описывают в самых ужасных красках. Утверждают, что будто доходило в это время до того, что ели человеческое мясо. Так это было или нет, но во всяком случае эксплоатация помещиков становится в это время бесстыдной, как никогда, и порабощение крестьян тяжким, как тоже никогда раньше. Пользуясь крестьянским голодом, помещики теперь порабощали людей просто за кусок хлеба, да и этого куска хлеба не давали все время крестьянам, а только в рабочую пору, а затем выгоняли несчастного на все четыре стороны, предоставив ему пропитываться, как он знает. Само собой разумеется, что, несмотря на свирепые указы о возвращении беглых, бегство крестьян во все стороны еще более увеличилось в это время. Из беглых крестьян в лесах образовались целые вооруженные отряды, с которыми безуспешно старались справиться царские войска. Но наиболее предприимчивые и энергичные не ограничивались уходом в ближние леса, а старались пробраться до тех окраин Московского царства, где рабочих рук было еще мало, где помещики поэтому должны были дорожить крестьянами и где последнему было не очень трудно постепенно и самому сделаться чем-то вроде помещика, самостоятельным землевладельцем. В таком положении были южные окраины русского государства, юг нынешней Рязанской, Тульской, Калужской губ., а также губернии: Орловская, Воронежская, Черниговская, поскольку они входили в Московское царство, и другие соседние. Эти окраины Московского царства тогда только что еще колонизовались, только что создавались. Они были покрыты непроходимыми лесами, которые нарочно поддерживались, чтобы задерживать при помощи этих лесов набеги крымских татар, почти каждый год появлявшихся на эту окраину за живым товаром (невольниками и невольницами).

Кто посмелее не ограничивался тем, что поселялся на этой окраине, где все-таки жилось гораздо лучше, чем в средней России, потому что здесь на одного помещика приходилось два крестьянина, и, чтобы удержать крестьян на своей земле, помещик должен был о них заботиться и не мог их очень свирепо эксплоатировать,—кто посмелее, тот не останавливался и здесь и пробирался по ту сторону пограничных лесов, на уже совсем вольную землю, где власть московского царя существовала только по имени и где крестьяне были в полной безопасности от царских приставов, помещиков и от тогдашней полиции. Правда, там перед

ними открывалась степь, по которой рыскали татарские орды, где было жить еще опаснее, чем на южном рубеже Московского царства. Пока одна половина населения пахала, другая стояла под ружьем и зорко вглядывалась в степь, охраняя работников от внезапного набега. Обстановка была суровая, военная, но зато жилось в этих новых местах еще более привольно, чем на южной окраине Московского царства. Здесь вдоволь было и всякого зверя и птицы в лесах, вдоволь рыбы в реках, текущих в Дон, и в самом Доне. Здесь можно было, не утруждая себя тяжелой пахотой, заниматься более легким промысловым хозяйством.

Так, на юге от московского рубежа образовались вольные *казацкие* поселения. Все эти люди, хотя и ушли из-под Москвы от тяжелой неволи, ни о чем так не мечтали, как о том, чтобы вернуться на старое пепелище, но вернуться, конечно, не в виде беглых крепостных, а в виде свободных людей, которые не только не ходили бы на барщину и не платили налогов, но, может быть, засели бы в боярскую усадьбу и сами сделались помещиками. Такие мечты в особенности носились в умах тех, наиболее счастливых из переселенцев, которые успели на новых местах обзавестись каким-нибудь хозяйством и уже, конечно, не желали променять своей, относительно сытой и счастливой доли на жизнь простого крестьянина подмосковной деревни.

Московское правительство отлично понимало, какую опасность для помещичьего государства представляет вся эта полусвободная и совсем свободная масса, скопившаяся на южной Украйне. Но оно ничего не могло поделать против этого скопления. С одной стороны, для защиты от крымских татар ему нужны были эти смелые, вооруженные, привычные к бою люди, и оно даже увеличивало их число, отправляя в те края ссыльных, преступников обыкновенных и так называемых преступников политических, опальных, дворы, например, казненных бояр и т. д. Оно старалось только по возможности не впускать этих людей обратно во внутренние области Московского государства. Казаков при царе Борисе Годунове не впускали даже в города, мешали им приобретать порох, оружие и т. д. Эта двойственная политика—с одной стороны, пользоваться вольными людьми против татар, а с другой стороны всячески их теснить—ни к чему, конечно, не привела, кроме того, что казаки и всякие другие вольные люди, скопившиеся на юге, привыкали все более и более ненавидеть власть, которая сидела в Москве, и смотреть на нее, как на своего врага. В то же время, при помощи нередко этой самой власти, они все усиливались и усиливались в военном отношении.

Как раз в разгар московского голода, в начале XVII век отношения обострились до крайности, и у казаков стала носиться мысль о том, что московский царь (мы видели, что он был не наследственный, а выборный, что было новостью в тогдашней Москве)—не настоящий, а что настоящий царь где-то скрывается, и скорее всего между казаками.

Таким настоящим царем был будто бы младший сын Ивана Грозного, исчезнувший таинственным образом лет за 10 до того времени. По правительственным документам он погиб от несчастного случая, наколовшись на нож во время игры. А в народе рассказывали, что его будто бы велел зарезать Борис Годунов. Словом, куда он девался, никто хорошенько не знал. И вот, среди казачества стали ходить слухи, что он вовсе не зарезался сам и не зарезан, а жив, и скоро нашелся молодой человек подходящего возраста и даже, как уверяли, подходящей наружности, в котором казаки не замедлили признать именно этого самого младшего сына Грозного, Димитрия Ивановича. Когда таким образом нашелся новый царь, которого можно было противопоставить «не настоящему» царю Борису Годунову,—все было готово для начала казацкой революции, для возвращения тех, кто бежал из Московского царства от гнета, насилия и голода, на старое место, но уже не в качестве рабов, а в качестве господ. А внутри страны, внутри Московского царства массы, доведенные голодом до последнего отчаяния, только и ждали какого-нибудь избавителя и тоже вполне готовы были признать дворянского царя Бориса Годунова не настоящим, а настоящим любого царя, который сколько-нибудь улучшит или облегчит их положение.

Крестьянская революция.

Новый царь, соперник Годунова, появился сначала на Запорожье, в самой южной казачьей стоянке на Днепре, затем в Киеве, который тогда принадлежал не Московскому, а Польско-Литовскому государству. В этом государстве он нашел себе новую поддержку. Во-первых, там скопилось много изгнанников, людей, бежавших от Годунова и его порядков. Это был частью торговый люд, частью родственники и слуги казненных Годуновым бояр и т. д. Вся эта масса эмигрантов (переселенцев) с радостью приветствовала нового царя. А затем на него обратили внимание и польско-литовские помещики. В западной России, т.-е. в тогдашней Польско-Литовской области происходило такое же развитие денежного хозяйства и торгового капитала, как и в Московском государстве, только там это все началось на целое столетие раньше. Как и в Московском государстве, помещики там успели уже разориться к началу XVII века и тоже искали новых земель. Отчасти они колонизовали, населяя своими крепостными, пустые тогда южные уезды теперешней Киевской и Волынской губ. Но тамошние поселения были под постоянной угрозой татарских набегов, и только самые богатые паны-помещики, имевшие многочисленную вооруженную дворню и достаточно денег, чтобы купить пушки и другое оружие, построить крепости и т. д., могли заниматься этой колонизацией. Во всяком случае, это было делом сложным и трудным. Чем двигаться на юг, легче и проще

казалось двигаться на восток, когда к этому есть возможность. И вот, появление царя Дмитрия Ивановича как будто давало эту возможность. Помогая новому царю, польские и западно-русские помещики надеялись этим путем получить землю и много всяких других богатств в тогдашнем Московском государстве. Они стали деятельно поддерживать Дмитрия.

Мы видим разные силы, которые помогали противнику Бориса Годунова. Но самой главной силой было, конечно, казачество и та масса угнетенных и разоренных людей, которые с нетерпением ждали прихода казаков в Москву. Если бы не было этой силы, ничего не вышло бы. Польским помещикам не пришло бы в голову помогать Дмитрию. Они просто не обратили бы на него никакого внимания. Если они стали его поддерживать, то только потому, что он сам достаточно прочно стоял на ногах и представлял из себя значительную силу, которую и помещики могли использовать. Но буржуазные историки, которым хотелось скрыть, что называемое ими «смутным» время было восстанием народной массы против ее угнетателей, хотелось дать искусственное объяснение для позднейших историков, стали рассказывать, что будто новый царь Лжедмитрий или Названный Дмитрий, как его называли, выдвигался именно польскими помещиками и католической церковью. Этим они хотели унизить его, уменьшить его значение, как будто это был какой-то иностранец, которого иностранцы привели в Москву. Так угнетатели народа и те, кто старался оправдать их черные дела, поступали всегда и после: и в самое последнее время, когда народ поднялся на последнюю борьбу за свою свободу, в 1917 г., буржуазные газеты тоже рассказывали, что это дело устроили немцы, что это все подкуплено, устроено на иностранные деньги и т. д. Как видите, всегда и во все времена происходило одно и то же. Восстающий за свою свободу народ стремятся не только поработить опять, но и всячески опозорить и загрязнить то, за что он действительно боролся.

Чьим царем на самом деле был Названный Дмитрий, это он показал, как только пришел в Москву. Случилось это не сразу. Польская военная помощь, собранные и вооруженные помещиками отряды наемных польских солдат не принесли ему той пользы, которой он от них ожидал. До тех пор, пока войска Бориса Годунова держались твердо, Названный Дмитрий терпел одну неудачу за другой, и если бы не смелость и искусство казачьих отрядов, которые сражались под его знаменем, он мог бы быть совсем уничтожен годуновской армией. Но эта армия состояла в большинстве тоже из мелких людей. Масса ее пехоты, стрельцы, были набраны из небогатого городского населения и по своему промыслу и занятиям почти сливались с ним. В промежутках между походами стрельцы торговали, занимались разными ремеслами и т. д. Они были плоть от плоти и кость от кости того «черного» посадского люда, который, как мы видели, сто-

пал от гнета торгового капитала не меньше, чем крестьянин в деревне, только иначе. А годуновская конница состояла большей частью из мелкопоместных дворян и детей боярских, тоже иногда настолько бедных, что они выпуждены были заниматься какимнибудь ремеслами, и в их служебных списках отмечалось: «портной мастеришко». Те из них, которые ушли на южные окраины, где, как мы помним, крестьянское население было очень редко, у помещиков крепостных было очень мало, незаметно сливались с верхним зажиточным слоем казачества, так что и разобрать было нельзя, где кончается мелкопоместный сын боярский и начинается какой-нибудь казацкий атаман. Эти дворяне и дети боярских украинских пристепных городов первые изменили Годунову. Они устроили восстание в годуновском лагере. Испуганные царские воеводы бежали. Стрельцы держались немного дольше и тверже, но затем и они перешли на сторону нового царя. У Годунова в конце концов осталось только немного нанятых им немецких солдат, но их было так мало, что они не могли спасти его престол. Брошенный всеми, Годунов отравился, а его семья была перебита восставшими москвичами. Названный Дмитрий вступил тогда в Москву, и первыми же своими указами ясно дал понять, на кого он опирается и в пользу кого пойдет его правление. Одним из таких указов «кабальное холопство», т.-е. долговое, было сильно сокращено. Раньше кабала, т.-е. долговое обязательство, писалась на всю семью, теперь она стала писаться только на одного человека, т.-е., если отец попадал в кабалу, жена и дети были свободными, при чем кабала была действительно только до тех пор, пока жив был тот, у кого были взяты деньги взаймы. Как только барин умирал, холоп становился опять свободным.

Другим указом были почти отменены издававшиеся Годуновым в таком изобилии указы о беглых. Всем крестьянам, которые ушли от своих помещиков во время голода,—а в это время крестьяне в особенно большом числе бежали от своих господ,—всем этим крестьянам разрешено было под иго своих помещиков не возвращаться, а оставаться на тех местах, где они устроились. Само собой разумеется, что помещикам, в особенности крупным, не могло это нравиться. Не очень это нравилось и богатому купечеству, особенно когда оно увидело пришедших с Дмитрием иностранцев, которые явно собирались прочно остаться в Москве и за которыми, конечно, должны были явиться польские торговцы с заграничными товарами и отнять у московского торгового капитала его монополию, а мы помним, как он отчаянно боролся за эту монополию еще 150 лет раньше, когда Иван Васильевич, дед Грозного, ходил завоевывать Новгород. Бояре и богатое купечество повели агитацию против Дмитрия. Тот был католик. Он скрывал это, но это проглядывало во всем его обиходе. Он плохо соблюдал русские посты, русские праздники и т. п. Этим пользовались, чтобы внушить народу, что он при-

шел ввести в России католическую веру. На простой народ, который православное духовенство воспитывало в отчуждении и ненависти ко всем иноверцам (церковные поучения запрещали даже есть из одной посуды с католиками), все это действовало, но хуже всего, конечно, услужили Дмитрию приведенные им с собою польские солдаты. Они всячески бесчинствовали, грабили и т. д. Городское простонародье, ремесленники, мелкие лавочники начали видеть, что действительно как будто начинается какое-то иностранное нашествие, и все внимательнее и внимательнее прислушивались к тому, что говорили посылаемые боярами и богатыми купцами агитаторы. Дмитрий был очень уверен в себе. Победа над Годуновым очень вскружила ему голову, и он воображал, что в Москве у него соперников нет. А между тем в это время в Москве плелся боярско-купеческий заговор. Наконец, в ночь на 17 мая 1606 г. заговорщики решились на выступление. Боярин Василий Иванович Шуйский, который за несколько месяцев перед этим был почти изобличен в заговоре и едва не казнен, но помилован Дмитрием, во главе со своими вооруженными холопами и с другими боярами и их дворней ворвался в Кремль; Дмитрия убили. А в это время московских посадских натравили на дворы, занятые польскими торговцами и польскими помещиками, которые приехали с Дмитрием. Таким образом, простому народу выставили все дело, как восстание против иностранцев, против поляков, которые хотят будто бы поработить Россию, а на самом деле воспользовались восстанием для того, чтобы убить царя, который шел против интересов богатых помещиков и капиталистов. Ненависть этих последних к Дмитрию была так велика, что они не удовлетворились даже простым убийством, а сожгли тело противодворянского царя и выстрелили костями его из пушки.

Когда это случилось, купцы и бояре выдвинули царя из своей среды. Подходящим человеком оказался вождь заговора В. И. Шуйский. Бояре его не очень любили, потому что он в их глазах был изменником: при Грозном во время опричины он служил в этой опричине и, значит, помогал московским мелким служилым истреблять бояр. Но лично, по своему происхождению, он принадлежал к знатному боярству, был для бояр свой человек. Вместе с тем у него были громадные связи среди московского купечества. Ему принадлежали большие промышленные вотчины в нынешней Владимирской губернии, и до сих пор часть московских торговых рядов носит название Шуйского подворья, напоминая о том торговом значении, которое когда-то имела фамилия Шуйских. Именно с колокольни церкви Ильи пророка, стоящей посреди этого подворья, и подали сигнал к нападению на Кремль в ночь на 17 мая. Московское купечество поэтому с восторгом приветствовало Шуйского, и купечество всех других торговых городов—Нижнего, Ярославля, Вологды—все время его поддерживало, что он сам признавал в своих грамотах. Шуйский таким

образом был царем боярско-купеческим, и даже больше купеческим, чем боярским. Он опять, как Годунов, был воплощением торгового капитала, правящего в России. Но в то время, когда в деятельности Годунова мы видим и хорошие стороны тогдашнего капитализма, стремление установить порядок, обуздать развивающуюся эксплоатацию массы населения и т. д., у Шуйского мы видим только отрицательные стороны. Это был человек жадный, крайне недобросовестный и лицемерный, много раз отрекавшийся от того, что он уже говорил публично. Он, например, сначала по требованию Годунова заявлял, что Дмитрий умер и что он сам видел его мертвое тело. Потом, когда победил названный Дмитрий, он его признал царем, т.-е. признал, что он солгал в первый раз. А затем, после свержения Дмитрия, он опять открывает мощи убитого Борисом Годуновым Дмитрия. Таким образом об одном и том же человеке он говорил три раза совершенно противоположные вещи. Он попытался вновь закрепить крестьянскую неволю. Указы о беглых были вновь восстановлены, и помещикам разрешено отыскивать всех, кто ушел из их имения, даже за 15 лет до этого времени. Но это была пустая угроза, ибо очень скоро после восшествия на престол Шуйского не помещики стали гоняться за крестьянами, чтобы вернуть их к себе, а крестьяне начали гоняться за помещиками, чтобы их убить и захватить их имения, а помещики должны были бежать в Москву.

Уже осенью 1606 г. весь юг Московского государства был охвачен восстанием. Как только те войска, которые Дмитрий собрал на южной окраине, узнали о его гибели, они восстали против нового правительства, как один человек. Они постоянно помнили, что в Москве низвергли их любимца. Стали ходить слухи, что все это Шуйский и его товарищи налгали (Шуйский, как мы помним, постоянно лгал) и что на самом деле Дмитрий спасся и где-то скрывается. Скоро нашли человека, который взял на себя это имя, и стали убеждать, что он и есть спасшийся Дмитрий, а так как царя в лицо знали очень немногие, то обман легко удался. Южное ополчение двинулось к Москве. Положение Шуйского становилось труднее день ото дня. Но тут, если изменили ему его военные силы, ему помогли его хитрость и изворотливость. Он попросту подкупил тех мелких помещиков, которые составляли и здесь если не главную, то очень крупную силу ополчения второго Дмитрия. Эти помещики, как ни преданы они были Дмитрию, все же-таки не могли вполне сочувствовать стремлениям крестьян. Против бояр и богатого купечества они восстать могли Но когда восставшие крестьяне начали разбивать помещичьи усадьбы, убивать помещиков, захватывать их добро, помещики дмитриевой рати не могли не почувствовать в себе дворян.

А между тем крестьянское восстание разливалось все шире и шире. Если во время похода первого Дмитрия против Годунова крестьяне еще почти не шевелились, то теперь они всей

массой восстали против Шуйского. Их предводитель Ив. Ис. Болотников, беглый холоп, попавший когда-то в плен к татарам, бежавший за границу, человек смелый, предприимчивый, звал все крестьянство свергнуть гнет, под которым оно страдало, и самим встать на место помещиков, грабить у них то, что они награбили у крестьян. Между двумя этими частями восставших—дворянской и крестьянской,—чем дальше, тем меньше было лада. И когда восставшие против Шуйского войска подошли к Москве, между ними произошел раскол. Шуйский пообещал помещикам всякие милости, роздал им много земель, принял их вождей в боярскую думу, и в решительную минуту они бросили своих крестьянских товарищей, а одни крестьяне и казаки оказались не в силах справиться с царским ополчением. Болотников был разбит, бежал в Тулу, и там его осадили и взяли царские войска, а казаки отступили опять к южной окраине Московского государства, но лишь на короткое время. Скоро они оправились, и с помощью польских отрядов, которые опять пришли в Московское государство, частью мстить за своих, частью просто грабить, благо дорога уже была им знакома, казаки теперь подошли к самой Москве и утвердились в Тушине, в 15 верстах к северо-западу от тогдашней московской заставы. В Тушино переехал на жительство и сам названный Дмитрий. Около него образовался целый двор наподобие московского двора. В Тушине возникла как бы вторая столица, и выбить оттуда казаков и их польские отряды Шуйский уже оказался не в силах. Мало-по-малу даже бояре начали его бросать, а многие из них не погнушались занимать должности при тушинском дворе. Во главе их был старейший из тогдашних бояр, близкий родственник вымершей московской династии, Федор Никитич Романов, которого Годунов постриг в монахи под именем Филарета и которого Дмитрий сделал ростовским митрополитом. Переехав в Тушино, Филарет сделался патриархом. Так как было два царя, то, естественно, было и два патриарха в тогдашней церкви.

Около двух лет Московское царство жило таким образом с двумя царями: одним казацко-крестьянским в Тушине, которого в Москве называли Тушинским вором, но который в Тушине был таким же государем, как и всякий другой, и другим—в Кремле, царем помещиков и купцов. Но чем дальше, тем этим последним становилось туже.

Прежде всего, непрерывная междоусобная война очень затрудняла торговые сношения Московского государства. Из переписки городов между собою мы узнаем, что по целому году из Казани в Пермь и обратно не мог пройти ни один купеческий караван. Уже это одно должно было заставить купеческий капитал все внимательнее и внимательнее относиться к происходящему. Во-вторых, революция из деревни мало-по-малу передвигалась в город. Масса городского населения, как мы видели, вначале еще поддавалась агитации помещиков и капиталистов. В Москве им

удалось двинуть черный люд против первого Дмитрия. Но мало-по-малу и городское население, угнетаемое и эксплоатируемое торговым капиталом немногим менее, чем он эксплоатировал в деревне крестьян, начинает понимать, на чьей стороне ему нужно стоять. И вот, «лучшие люди», т.-е. богатые купцы, кулаки разных городов в своей переписке с тревогой начинают сообщать друг другу, что там-то «чернь» целовала крест Дмитрию Ивановичу, а лучшие люди должны были разбежаться, куда глаза глядят. В крупных городских центрах, как, например, в Пскове, дело доходило до настоящей городской революции. Здесь масса ремесленников и мелких торговцев вместе со стрельцами и казаками захватила власть и учредила нечто в роде демократической республики, а гости, помещики и крупные купцы, которые оказались в городе, были сначала посажены в тюрьму, а потом большей частью перебиты.

Все это показывало городскому капиталу, что продление междоусобной войны грозит и ему полной гибелью. Спрашивается, откуда же искать помощи. Первая мысль, за которую ухватились богатые купцы вместе с помещиками, была помощь иноземная. В Московском царстве уже под самой Москвой стояли польские дружины, пришедшие «помогать» Дмитрию и казакам, а на деле грабить, пользуясь междоусобной войной. Это, конечно, были плохие помощники тем, кто хотел прекратить междоусобную войну. Но против них можно было обратиться к польскому правительству и просить у него помощи польских регулярных войск. Так и сделали. В это время те помещики, которые перешли на сторону Тушина, также стали тяготиться своим положением. Они тоже в первый момент надеялись использовать восстание «черни» для того, чтобы обделать свои дела. Но скоро они почувствовали себя в Тушине, как бы в плену у казачества и восставших крестьян. Начался двойной заговор: в Москве столковывались, как избавиться от В. И. Шуйского, который прекратить междоусобную войну не умел и не мог, в Тушине — как избавиться от Дмитрия, который явно был холопским царем и из которого никоим образом нельзя было сделать царя дворянского и купеческого. Оба заговора скоро слились в один. Столковались на том, что москвичи и Северное Поволжье низложат Шуйского, а Тушино низложит Дмитрия, и все вместе посадят на престол польского царевича Владислава, вместе с которым придут в Россию польские войска и прекратят демократическую революцию.

В Польшу отправилось посольство, которое заключило с отцом Владислава, королем Сигизмундом, договор. Договор любопытен в том отношении, что это первая попытка русской *конституции*, т.-е. *первая попытка определить права и обязанности государя*, закрепить их письменным договором, который был бы для него обязателен. Само собой разумеется, что эта конституция была предназначена вовсе не для крестьян и не для низов городского населения. О последних там совсем ничего не говорилось, а что

касается крестьян, то о них упоминается только в том смысле, что все статьи и указы о беглых должны быть восстановлены и что крестьянам не должно быть позволено переходить из Московского государства в Польское, и обратно. Но зато в этом договоре тщательно определено, как должен управлять царь—непременно с *боярской думой*. А в важных случаях он должен был созывать земский собор из представителей имущих классов, помещиков и купцов. Без них он не мог издавать новых законов, вся же текущая работа была в руках боярской думы.

Это уже не в первый раз имущие классы старались использовать революцию в своих интересах. Когда вступал на престол Шуйский, они также заставили его целовать крест, что он никого не будет казнить, ни у кого не будет отнимать имение иначе, как по суду и на основании закона. Само собой разумеется, что и тогда это касалось только помещиков и купцов; там прямо было сказано: «У помещиков не отнимать их вотчины, а у гостей не отнимать их товаров и капиталов». Что касается простого народа, то с ним и после этой грамоты расправлялись, как и раньше.

На основании соглашения московских и тушинских заговорщиков с польским королем, Шуйский был низложен и пострижен в монахи, а Дмитрий хотя и не был низложен, потому что казаки стали на его сторону, но при помощи поляков был прогнан из Тушина. Московское государство, т.-е. государство помещиков и купцов, опять как будто объединилось. У него была опять одна столица—Москва. Но очень скоро заговорщики должны были убедиться, что они променяли кукушку на ястреба. Король Сигизмунд вовсе не для того дал своего сына московским людям, чтобы восстанавливать в Московском царстве порядок. Это его интересовало меньше всего. Он был представителем тогдашнего польского империализма. Польские помещики, которые, как мы уже упоминали, далеко опередили москвичей, потому что Польша шла впереди России по своему экономическому развитию почти на столетие, строили обширные планы. Мы уже видели, что им тоже нужна была земля и что они хотели с этой целью использовать еще первого Дмитрия. Теперь им представился случай гораздо удобнее первого. На московском престоле прямо оказался поляк. Они стали мечтать о том, чтобы попросту присоединить Московское государство к Польше, как они раньше, за 60 лет перед этим, присоединили к Польше Литву, которая раньше также была особым государством. Не дождавшись даже, пока новый царь Владислав приедет в Москву, они уже успели воспользоваться переменой, и король Сигизмунд стал направо и налево раздавать земли, отнимая их у тех, кто по тем или другим причинам был против нового царя или даже без этого предлога. Московский помещик в один прекрасный день узнал, что его земля вовсе не его, что ее где-то за тысячи верст, в Варшаве, отдали другому владельцу.

Само собою разумеется, что такие порядки помещикам совсем не нравились, да и купцы скоро вспомнили, что тесная связь с Польшей обещает появление в Москве польского торгового капитала, т.-е. конкурентов, и конец той монополии, которой наслаждался до сих пор московский капитал у себя дома. Словом, очень скоро в стране началось опять брожение в высших классах против нового правительства. Само собою разумеется, что об этих экономических причинах брожения, об опасении за землю, за капитал вслух не говорили. Об этом можно прочесть только в секретной переписке московских бояр, стоявших теперь во главе государства по договору с польскими государственными людьми, а на первый план недовольные Владиславом стали выдвигать то, что он-де не русский и не православный, а католик и что поэтому признавать его царем стыдно и не следует, как будто он не был поляком и католиком, когда его выбирали и ему присягали. Но тогда надеялись получить от него выгоду, а теперь было ясно, что толку от Владислава никакого не будет.

Главная основная цель, которой добивались, выбирая Владислава, не была достигнута. Междоусобная война не только не прекратилась, но стала пылать еще более ярким пламенем. Поляки, достаточно сильные, чтобы захватить Москву и начать тасовать, как карты, имения бояр и других крупных владельцев, были совершенно не в силах прекратить демократическую революцию. У них прежде всего было слишком мало войска, а во-вторых, тут еще раз, как было при первом Дмитрии, оказалось, что Тушино было сильно вовсе не польскими отрядами, как думали заговорщики против Дмитрия, а именно казаками. Когда польские отряды, по приказанию своего правительства, бросили Дмитрия, то он вовсе не пал, как думали его противники, а только переехал из Тушина подальше от Москвы, но все-таки оставался во главе казацкой рати, настолько сильной, что помещичья и купеческая Москва снова должна была перед нею трепетать. Даже когда Дмитрий был убит, с участием заговорщиков или без участия, неизвестно,—современные летописцы приписывают его смерть случайности,—казацкое движение не стало менее грозным, ибо у Димитрия остался сын, и казаки выдвинули его, как кандидата на престол. Словом, двойной заговор против Шуйского и Дмитрия ни к чему решительно не привел, и имущие классы должны были искать другого выхода из своего положения.

Перемены на верхах,—это было ясно,—ни к чему не вели. Нельзя ли было попытаться произвести перемены внизу, расколоть эту массу, которая стояла против помещиков и купцов и угрожала им? Мы видели, что эта масса не была однородной, что она состояла из людей разного положения и разных интересов. На самом верху ее стояли казацкая старшина, атаманы и другие казацкие начальники и мелкоместные дворяне преимущественно с южной окраины Московского государства. Это были также землевладельцы, но только мелкие, владеющие не сотнями и даже не

десятками крепостных, а только десятками десятин земли, на которой иной раз в это время не было даже и крестьян. По своему имущественному положению это было нечто вроде теперешнего кулачества. Ниже стояли ремесленники, крестьяне, холопы и т. д.

Мы видели, что уже Шуйскому удалось однажды отколоть эту верхушку и привлечь ее на свою сторону и что этим объяснялась первая его и последняя победа над ополчением Болотникова. Оставалось повторить этот опыт Шуйского. По мере того, как росла демократическая революция, верхи казацкой рати начали чувствовать себя также неуютно, как чувствовали себя бояре и дворяне, составлявшие вначале двор Тушинского царя. Им также хотелось, этим верхам, положить конец междоусобной войне для того, чтобы закрепить за собою то, что им удалось захватить во время этой войны, когда все они понабрали себе вотчин и денег достаточно. Для того, чтобы привлечь их на свою сторону окончательно, людям торговым, купцам пришлось только сделать еще одно усилие, окончательно и уже широко развязав свою мошну. Нижегородский купец Минин стал собирать ополчение «для освобождения Москвы от поляков и иноверцев», и притом,—в том-то и состояла его гениальная выдумка,—стал обещать тем, кто пойдет в это ополчение, такое жалованье, какого в прежнее время не получала и царская гвардия. Простым рядовым служилым людям обещали столько, сколько раньше не имели гвардейские офицеры. Немудрено, что такая мера привела, как рассказывают современники, к полному согласию между помещиками и купцами, с одной стороны, и мелкими служилыми людьми и казаками позажиточнее—с другой. Те увидели, что служить имущим классам куда выгоднее, нежели якшаться с народной массой и помогать демократической революции, которая явно шла на пользу беднякам и не сулила никому никакого богатства.

Мало-по-малу весь штаб Тушинского лагеря перешел на сторону Минина и назначенного купечеством главнокомандующего собранной им рати—Пожарского. Восставшие массы, оставшись без вождей, не могли оказать сопротивления. Меньшинство казаков, продолжавшие поддерживать сына названного Дмитрия, вынуждено было бежать на Волгу, а там еще дальше. Перед купечеcко-помещичьим ополчением был теперь только один организованный противник—польское войско в кремле, но с ним, при помощи перешедших на сторону имущих классов казаков, справиться было нетрудно. Царь Владислав был низвергнут, — низвергнут, впрочем, так же, как он был выбран, только по имени, потому что лично он по своему малолетству в Москву и не приезжал. В Москве торжествовали победу православия над католицизмом, который якобы опять хотел забраться сюда, как при первом Дмитрии. В это время у московского купечества появляются и первые патриотические нотки. Купечество в воззваниях призывает встать не только за православную веру, но и за свою землю

и, прибавляют они, за достояние, которое нам дал господь бог. Защита родины и защита своей мошны у этих людей, как у буржуазии всех времен, сливались, таким образом, в одно.

Такой патриотизм, само собой разумеется, не только не мешал зоркому ограждению своих интересов, но, напротив, помогал ему. Капиталисты и помещики, находя для себя выгодным иметь царя из иноземцев, который не имел бы корней внутри страны, не прочь были в поисках царя прибегнуть к Швеции. Пожарский был именно за то, чтобы на московский престол избрать шведского принца. Но тут вмешалась та сила, без которой торговый капитал ничего сделать не мог. У перешедшего на сторону имущих классов казачества и у мелкопоместных дворян и боярских детей был свой кандитат, который приобрел популярность именно в Тушине. Это был сын тушинского патриарха Филарета Никитича Романова. Сам патриарх был в это время в Польше, куда он отправился вести переговоры с Сигизмундом, да его, как монаха постриженного, избрать на царство и нельзя было. Но у него был сын, глуповатый 16-летний юноша, который, как представитель семьи Романовых, был, однакоже, популярен в казацких и мелкопоместных кругах. Мелкопоместный галицкий дворянин назвал первый этого кандидата, а когда начальные люди дворянского и купеческого ополчения стали выражать свое недовольство по этому поводу, из рядов собравшихся выступил донской атаман и весьма твердо поддержал эту кандидатуру. Пожарский и его товарищи поняли, что плетью обуха не перешибешь, бросили свои мечты о шведском принце и подчинились неизбежному. Кандидат казаков и мелкопоместных дворян сделался царем. Был созван земский собор, которому оставалось только признать совершившийся факт.

Так воцарилась в России династия Романовых. Плод измены верхов революционных войск своим низам, она сама не замедлила изменить тем, кто ее выдвигал. Казалось бы, что Романовы, посаженные на царство хотя и не демократической революцией, но все же людьми, вышедшими из рядов этой революции, должны были помогать если не крестьянству и не холопам, то во всяком случае низам дворянского общества. Ничего этого не произошло. На самом деле, при первых Романовых лучше всего жилось крупному торговому капиталу, крупные гости мало-по-малу забрали в свои руки все управление государственными финансами, раскладывали и собирали все налоги, брали себе на откуп сбор налогов и другие выгодные предприятия и т. п. Что касается землевладения, то тут Романовым удалось восстановить то, что начал разрушать Грозный. При них в Московском царстве опять возникает крупное вотчинное землевладение. Прежде всего царская семья и ее родственники забрали в свои руки огромное количество земли, а за ними все другие, кто новой царской семье помогал и ей служил. На место боярства, загнанного и придавленного, возникает новая аристократия, которая отличалась

от прежней тем, что та вела свое происхождение от крупных феодалов, удельных князей и бояр, а эта—от новых людей, происхождения часто весьма неважного. Но с течением времени эти бояре сделались не хуже прежних, и в своих имениях с тысячами и десятками тысяч душ крестьян они снова стали чем-то вроде феодалов. Если на Руси не было полностью восстановлено то, что уничтожил Грозный, то лишь потому, что экономическое развитие далеко зашло вперед и вернуться к старому было нельзя.

В лице Минина и Пожарского одержал победу торговый капитал, для которого купцы были хозяевами, а помещики—первыми и ближайшими слугами. Первое время купцы и помещики, ставши подозрительными благодаря целому ряду неудачных царей Смутного времени, зорко наблюдали за своим избранником, и земский собор, где купцам и помещикам принадлежало решительное большинство, в течение нескольких лет вовсе не расходился, да и затем собирался очень часто. Мало-по-малу, однакоже, имущие классы прониклись доверием к новой династии, в особенности с тех пор, когда вернулся из-за границы отец Михаила Федоровича, патриарх Филарет, один из самых ловких дельцов и дипломатов своего времени. Когда умер Михаил, его сына Алексея выбрали на престол уже без всяких колебаний и споров.

Все привыкли к тому, что семья Романовых добросовестно служит торговому капиталу. Она не только служила торговому капиталу, но как бы срослась с ним. Царский двор уже при Грозном принимал участие в торговых делах. Грозный давал субсидию—«бологодеть»—русским купцам, ездившим за границу. Его сын Федор Иванович был пайщиком английской компании, торговавшей в Москве. При Романовых царь, употребляя удачное выражение одного иностранца, стал первым купцом своего государства. Крупные купцы, московские гости стали прямыми царскими агентами, а торговля всеми ценными товарами, шелком, который получался из Персии, дорогими сибирскими мехами, кожами, выделанными по особому русскому способу и особенно ценившимися в Западной Европе, и т. д., стала царской монополией. К началу следующего XVIII столетия, лет через 100 после того, как Романовы сели на московский престол, царский двор, по отзыву другого иностранца, походил на купеческую контору. Там все время толковали о разных торговых сделках, о поташе, пеньке, конопле и т. д., так что привыкшие к совершенно другим придворным разговорам иностранцы не могли в себя прийти от удивления. Гости стали своего рода привилегированным сословием. Это было торговое дворянство,—вся масса мелких торговцев была у него в кабале, немного лучше той, в которой помещики держали крестьян.

Третий иностранец,—все иностранцы обращали внимание на эту особенность Московского государства,—свидетельствует, что если бы в Московском государстве вспыхнуло восстание, то гостям прежде всего свернули бы шею. Но дворянско-купеческая

власть зорко смотрела за «порядком» в государстве и принимала все меры, чтобы не повторилось тех событий, какими ознаменована была «смута», как стали дворяне и купцы называть народное движение начала XVII века. Прежде всего тщательно оберегалась самая личность царя, чтобы с нею не случилось такой неприятности, как с первым Дмитрием, которого убили, или с Шуйским, которого свергли с престола и постригли. Строго запрещено было с оружием в руках приближаться к царскому дворцу, кроме, конечно, караульных солдат. Даже в ворота Кремля, так наз. Спасские, народ не смел входить в шапках. Одного холопа жестоко избили плетьми за то, что он осмелился провести лошадь через царский двор. Словом, к новой династии старались внушить такое благоговение всем подданным, какого не потребовала к себе династия Ивана 3-го и Грозного. Затем была хорошо организована полиция. Почти во главе всего государства был поставлен при Романовых «приказ тайных дел», и с его легкой руки всякие тайные «канцелярии» и «экспедиции» провожают нас через весь XVIII век. В XIX веке все эти тайные учреждения передаются в руки корпуса жандармов и департамента полиции. Тайный приказ с самого начала, при первых Романовых, был наделен огромными полномочиями. Даже члены боярской думы, т.-е. государственного совета, употребляя позднейшее выражение, в этот приказ не ходили и дел там не ведали. Он был, значит, вне контроля этого московского государственного совета. Он был подчинен непосредственно самому царю, и чиновники его на деле имели больше власти, чем члены боярской думы.

Но такая полиция и тогда была только силой организующей, была, так сказать, мозгом этого управления. А мозгу нужны были руки, и первые Романовы позаботились о создании хорошей вооруженной силы, вполне надежной и, по возможности, не зависящей от народной массы. Прежде ополчение московского царя, состоявшее из его вассалов-помещиков и из наемной пехоты, набранной преимущественно из низов городского населения, стрельцов, было малонадежно. Оно было недостаточно дисциплинировано и, как показали события начала XVII века, легко увлекалось народными волнениями. Этих стрельцов и мелких помещиков мы видим то на одной, то на другой стороне, то вместе с Тушиным, то у царя Василия. Романовы начали с того, что взяли на свою службу большое количество иноземных, наемных солдат. Мы помним, что в свое время немецкие отряды оставались последней опорой власти Годунова, когда все остальные войска перешли на сторону Дмитрия. Но у Годунова было слишком мало этих немецких солдат. При первых Романовых в Западной Европе происходила огромная 30-летняя война, когда людей военного ремесла расплодилось большое количество и на рынке сколько угодно предлагалось военных рук. Из этих людей стали формироваться московские полки. Скоро, однако, нашли, что это

чересчур дорого с одной стороны, что это не вполне надежно — с другой, ибо эти люди служили только за деньги и за деньги же их можно было перекупить. Мало-по-малу эти дорогие и не вполне надежные кадры новых войск стали пополняться людьми, взятыми из народной массы, но оторванными от нее совсем, навсегда. Это не было ополчение, которое призывалось время от времени, как прежде. Солдатом человек становился на всю жизнь. Он совсем отрывался от родной деревни, казарма для него становилась вторым домом.

«Наши братцы—туги ранцы, наши сестры—сабли востры, наши детки—пули метки», пела солдатская песня времен Николая I.

Так солдат привыкал думать, и ему всячески вколачивали палками и увещаниями внушали, что он обязан служить исключительно царю и что если царь прикажет, то он должен расстрелять отца, мать, кого угодно. Под начальством немецких или обученных у немцев офицеров, из этих рекрутов скоро выросла регулярная армия, которая по своему вооружению, организации и дисциплине стояла бесконечно выше старого московского ополчения. Не только, имея такую армию в руках, можно было не бояться никаких внутренних волнений, но торговый капитал, располагая таким орудием, мог вести такую смелую и энергичную внешнюю политику, о какой он едва мог мечтать за сто лет до этого.

Внутреннее значение регулярной армии сказалось раньше всего. Вступление на престол Романовых не только не улучшило положения народных масс, а, наоборот, ухудшило его, потому что крепостное право, сначала колебавшееся, то распространявшееся на все новые и новые массы крестьянства, то отступавшее и выпускавшее из своих крепких когтей крестьян, в царствование Романовых окончательно водворилось. В половине XVII века, за исключением части северной России, где земледельческое хозяйство могло быть только подсобным и куда помещики не заглядывали, не оставалось никаких других крестьян, кроме крепостных. Только изредка мы встречаем крестьян, которые рядятся со своим барином, т.-е. крестьян вольных, которых нужно приманить при помощи ссуды. Подавляющее большинство было крепко своим господам без всяких «ссудных записей» и рассматривалось, как помещичья собственность. Например, если должен был помещик, отвечали его крестьяне. Неисправных должников ставили на правеж, т.-е. били палками каждый день, пока они не отдадут долг. Так вот, за помещика ставили на правеж его крестьян, так же как раньше этой участи подвергались холопы. Так что теперь между крестьянами и холопами не было уже никакой разницы.

Само собой разумеется, что не улучшилось и положение городского класса под гнетом торгового капитала, а так как содержание новых войск и вообще всей администрации требовало больших расходов, то ко всему прочему чрезвычайно увеличивались

и те налоги и подати, которые лежали на низших классах населения — на крестьянах и мелких городских людях. Образчики этих налогов теперь брались отчасти оттуда же, откуда брались образчики и новой военной силы. Так, подражавший Западной Европе царь Алексей, второй Романов на престоле, ввел соляную подать. Она вызвала бунт, но бунт этот, при помощи новой воинской силы, был усмирен. Также был усмирен и другой бунт, сопровождавший попытку правительства выпустить поддельные деньги, так назыв. медные рубли. Тогда было в обычае не у одного только московского правительства портить монету, к серебру подмешивая медь. Народ это мало замечал, и порченые рубли ходили так же, как полноценные. Так вот, мало-по-малу правительство пришло к мысли выпустить совсем медные деньги, которые ходили бы, как серебряные. Но это уже бросилось в глаза, и медные деньги, которых вдобавок начеканили бесчисленное количество, стали быстро падать в цене, а все товары стали дорожать. Это опять вызвало народное возмущение, но романовское правительство оказалось достаточно сильным, чтобы и с ним справиться.

Самое большое восстание, с которым пришлось иметь дело первым Романовым, это было восстание казацко-крестьянское, вышедшее с Дона, восстание Степана Разина. Оно непосредственно связано с развитием торгового капитализма. Его театром было Поволжье, как раз те места, по которым пролегал самый главный торговый путь Московской Руси—река Волга, связывающая Московский край с Персией, откуда получались самые ценные восточные товары, с большой выгодой перепродаваемые потом царскими гостями в Западную Европу, английским и голландским купцам в Москве и в Архангельске. Вдоль этого торгового пути скопилось множество безземельного люда, грузчики, бурлаки, всевозможные мелкие торговые служащие, а затем просто мелкие торговцы и ремесленный люд. Помещичье землевладение на приволжском черноземе быстро распространялось, и так как здешние помещики имели много земли, но обыкновенно мало крестьян, переведенных сюда помещиками из центральных областей Московского государства, то здесь была, конечно, самая жестокая барщина. Крестьян заставляли работать больше, чем в каком-либо другом месте, и в довершение всего тут же рядом, по-соседству, был вольный Дон, казацкое гнездо, которое Романовы долго не решались ни разрушить, ни подчинить себе. Налаживая порядки внутри государства, они не чувствовали себя достаточно сильными, чтобы прибрать к рукам бежавших из их царства людей, которые жили по ту сторону границы. Очередь этому пришла только позже, лет сто спустя. Донское казачество очень долго после смуты не вмешивалось во внутренние дела Московского государства. Мы помним, что в конце революции начала XVII века вооруженные силы этого казачества были расколоты и казацкое офицерство—атаманы—перешли на сторону имущих клас-

сов. Казачество было этим дезорганизовано (расстроено). Часть его попала в дворяне, остальных романовское правительство также старалось задобрить, не только не дразня их, как это делал Годунов, а, наоборот, стараясь всячески их ублажать, снабжая хлебом и натравливая их на соседей—турок и татар. Грабежи и налеты поглощали все внимание казачества XVII века. Но когда случилось, что главная турецкая крепость, Азов, очутилась в их руках, и казачество наивно обратилось к Москве с просьбой о поддержке,—Москва отказала. Ей Азов совсем не был нужен, а нужно было только занять казаков. Казаки были выбиты из Азова, и турки настолько укрепились в нем, что эта крепость сделалась неприступным оплотом турок. Движение на юг было прекращено, казачество вынуждено было искать выхода в других направлениях, на юго-восток, и совершенно естественно оказалось на том торговом пути, который был так дорог для торгового капитала,—на нижней Волге и Каспийском море. Казаки начали с грабежей не русских людей, персов. Но совершенно естественно, что они нарушили и интересы русской торговли, и столкновения с московским правительством были совершенно неизбежны. А раз начав борьбу в этих местах, казаки невольно оказывались в центре всего этого мелкого, угнетенного, закабаленного люда, о котором мы говорили. Степан Разин стал наследником Болотникова. Под его предводительством восставшие овладели Астраханью, овладели Царицыном и двинулись вверх по Волге, по направлению к Москве. Но под Симбирском их встретили новые, по-заграничному обученные московские войска и разбили на-голову. Разин был захвачен в плен и казнен в Москве. Так кончилась эта новая казацко-крестьянская революция, оставившая по себе память в народных песнях, но гораздо меньше поколебавшая торговый капитал и созданные им порядки, нежели революция начала XVII века. А усмирено было восстание настолько прочно, что сто лет после Разина подобных восстаний больше не было, и надо было неслыханное усиление тяготевшего над крестьянами гнета во второй половине XVIII века для того, чтобы разразилось почти в тех же местах новое восстание Пугачева, о котором мы расскажем ниже.

Последнюю услугу в борьбе с внутренними врагами оказало Романовым новое войско именно против старого войска. Стрельцы, смутно чувствуя, что новые порядки угрожают самому существованию стрелецкого войска, стали волноваться и воспользовались внутренними раздорами при царском дворе, чтобы на некоторое время завладеть Москвой. С ними быстро справились новые полки иноземного строя, с царем Петром, самым энергичным, самым талантливым и самым замечательным из Романовых, во главе. Когда Петр уехал за границу, стрельцы попытались восстать вторично, были разгромлены окончательно и почти поголовно истреблены Петром, который был не только самым талантливым и энергичным, но и самым жестоким из Романовых. «Что

ни зубец, то стрелец», говорила тогдашняя мрачная поговорка о том, как Петр развешивал вождей восстания на зубцах кремлевской стены, не считая тех, кто был непосредственно расстрелян на месте битвы.

Но в это время новое войско нужно было торговому капиталу уже не только для того, чтобы усмирять внутренних врагов, но и для внешних предприятий, таких огромных и смелых, о каких он не решился бы и подумать сто лет тому назад. Уже в половине XVII столетия романовское правительство чрезвычайно ловко использовало казацко-крестьянскую революцию, происходившую в западной России. Там, в юго-восточной части Польско-Литовского королевства, происходило то же самое, что было в Московском государстве. Также развивался торговый капитал, под влиянием этого торгового капитала на месте прежней феодальной повинности появились жестокие оброки, жестокая барщина,— словом, все средства выколачивания из крестьянина, как его называли в западной Руси, «хлопа», прибавочного продукта, который потом поступал на рынок и руками купцов распространялся по всей Европе. Польским хлебом питались и в Лиссабоне, и в Неаполе, и неурожай в Польше означал иногда голод в Италии. Как это было в Московском государстве, новые порядки особенно тяжело дали себя чувствовать в местах новой колонизации, т.-е. как раз в Приднепровье, в теперешних Киевской, Волынской и других соседних губерниях.

А поблизости, тут же, на Днепре, было казацкое гнездо— Запорожье, образовавшееся таким же путем, как и на Дону, из беглых «хлопов». Естественно, что здесь повторилось то же самое, что было в Московской России. И как Московское государство видело казацко-крестьянское восстание в начале XVII века, так конец XVI и первая половина XVII века были наполнены рядом казацких восстаний в Приднепровье. Польское правительство, с самого начала располагавшее и хорошими регулярными войсками, и лучшей полицейской организацией, чем было у Москвы во время Шуйского, долгое время боролось с этими восстаниями. Здесь, однако, и противник был у дворянско-купеческой власти гораздо более серьезный. Казаки и крестьяне Великороссии были темной, неграмотной массой. У казаков и «хлопов» западной России нашлась своя интеллигенция в лице городского мещанства. Это городское мещанство Львова, Киева, Житомира и других украинских городов терпело от своего торгового капитала не меньше, чем московское от своего. Польское правительство было, разумеется, как и московское, на стороне богатого купечества и всячески теснило и жало украинского мещанина. Но тот имел свою организацию, наподобие западно-европейской, организацию церковную: украинские ремесленники и мелкие торговцы образовали свои «братства» при церквах, с больницами, школами и т. п. Торговый капитал старался сломить эту организацию: в конце XVI века польское правительство провело в западной

России «унию», т.-е. подчинило украинскую церковь назначенным правительством архиереям, которые в свою очередь подчинились общекатолическому центру, римскому папе. Для народа эту казенную церковь красиво изображали, как «объединение всех христиан в одной церкви» (отсюда—«уния», что и значит «соединение»). Но мещанство поняло, что уния наносит смертельный удар его организации, и воспротивилось унии всеми силами, не подчиняясь казенным «униатским» архиереям. За это на мещанские братства обрушились гонения, все больше и больше толкавшие мещан в сторону «хлопской» революции. Православная вера сделалась знаменем этой последней, а киевская духовная академия—ее умственным средоточием. Казаки и «хлопы» здесь, таким образом, не только страдали от гнета «панов»—помещиков и помещичьего правительства, но имели и готовое, понятное для себя оправдание своего восстания против этого гнета.

Если восстание здесь было лучше организовано, нежели в московской Руси, то польское правительство вело себя гораздо менее ловко, чем московское. Это последнее, чувствуя свою слабость, старалось разделить и подкупить восставших. Польское, надеясь на свою силу, пренебрегало этим и одинаково жало и душило и нищего «хлопа», и зажиточного казака «земяника», и городского лавочника, и даже православного, не принявшего унии попа или архиерея. Оно сплачивало своих врагов вместо того, чтобы разделить их. Оттого казацкое восстание 1648 г., во главе которого стал один из представителей верхнего, зажиточного слоя казачества, Богдан Хмельницкий, одержало блестящую победу над польско-литовскими правительственными войсками. Но одержать победу до конца Хмельницкий не смог, он должен был искать союзников. Этим чрезвычайно ловко воспользовалось Московское государство: оно взяло Хмельницкого под свое покровительство, и таким образом Украйна, сначала левый берег Днепра с городом Киевом, перешла в руки Московского государства. Кроме волжского торгового пути, это последнее держало теперь в своих руках и другой торговый путь к Черному морю — днепровский. Но прошло много времени, прежде чем оно использовало этот новый торговый путь и прежде чем борьба за Черное море сделалась главной борьбой для московского торгового капитала. Очередная задача была другая. Наиболее близкий выход к Западной Европе был для Московской Руси не Черное море, а Балтийское. И вот в этой борьбе за Балтийское море, так называемой Великой Северной войне 1700 — 1721 г.г., в особенности оказалось ценным для торгового капитала его новое оружие — организованная на иноземный образец армия.

Государство Романовых и раскол.

Первые Романовы, покорившие крестьянскую массу с помощью перешедших на сторону высших классов мелкого дворянства и части казачества, основали, таким образом, государство, державшееся на *крепостном праве*, *чиновничестве* и *постоянной армии* и просуществовавшее в России до средины XIX столетия. Только в это время, благодаря дальнейшему экономическому развитию, появлению на смену торговому капитализму капитализма промышленного, — этот государственный строй начинает разлагаться, падает крепостное право, под конец ослабевает власть чиновничества, под самый конец изменяет этому государству его главная опора—постоянное войско. Но, постепенно выветриваясь, романовский строй в своих остатках доживает до революции 1917 г. С монархией Романовых мы вступаем, таким образом, в полосу новейшей русской истории. Но для того, чтобы закончить характеристику этой монархии, нужно упомянуть еще об одной стороне, которой мы до сих пор не касались. Она была не только капиталистическим, бюрократическим (чиновничьим) и военным государством, но она была и первым в России государством *светским*. Русская церковь при Романовых стала таким же светским учреждением, как любой приказ или министерство. Архиереи сделались такими же чиновниками, как и губернаторы, а священники такими же, как участковые пристава или становые. Об этом подчинении церкви государству, которое произошло в то же время, в средине XVII столетия, нужно сказать несколько слов.

В существовании духовенства и церкви был практический смысл. Нам уже приходилось косвенно упоминать, что церковь и духовенство, в особенности монахи и монастыри, были первыми проводниками денежного хозяйства. В их руках, благодаря приношениям верующих, сосредоточились огромные средства, другие верующие давали им свои богатства на сохранение: так церковь сделалась торговым складом, а монастыри первыми банкирами, которых знала древняя Русь, а вместе с нею и вся средневековая Европа. Но объяснение, которое давали люди всем этим пожертвованиям в пользу церкви, было, конечно, совсем не то, которое даем мы. Для тогдашних людей экономический смысл всего этого совершенно не существовал. Они жертвовали для того, чтобы умилостивить духа, с которым умело разговаривать, с которым умело обращаться христианское духовенство. В особенности страшный момент для человека была, конечно, сама смерть, когда он сам превращался в «духа». Не столько это был страшный момент для него самого, сколько для его родных и близких, которые не знали, чего им от этого духа ждать—добра или худа. И вот тут являлся священник, производил разные вол-

шебные действия, произносил разные слова, кадил ладоном, пел панихиду и таким образом примирял дух умершего с оставшимися в живых родными. Умерший после этого превращался в доброго духа, и зла от него не ждали уже никакого. Вот почему при этом церковь получала особенно щедрые дары. Из имущества умершего ей давалась не только движимость, но и большие участки земли, таким образом церковь сделалась крупнейшим землевладельцем. Свое землевладение она умела увеличивать: на накопленные от своих торговых операций деньги монастыри покупали землю у помещиков, давая этим помещикам взаймы на самых тяжелых условиях, и т. д. Церковь была одним из самых свирепых эксплоататоров русского крестьянства. Не надо забывать, что первым основателем крестьянской неволи была Троицкая Лавра, которая в XV веке первая выхлопотала себе право не выпускать из своих имений крестьян и первая же бросилась разыскивать этих крестьян, после смутного времени, заблаговременно обеспечив себе 11-летний срок для их розыска, т.-е стараясь вернуть назад всех крестьян, которые ушли во время смуты. Троицкая Лавра показала этим пример другим помещикам. Но для массы населения дело было не в том, добродетельно или недобродетельно, кротко или жестоко было духовенство, а в том, что это духовенство умело ладить с тем миром святых и демонов, который создавался в воображении тогдашнего человека и от которого, по убеждению этого человека, зависело все его благополучие.

Влияние церкви на тогдашних людей было, конечно, громадно. Церковные люди учили, что они все могут сделать, что, собственно, и государя ставят только они и что только благодаря помазанию, которое церковь дает государю, он становится настоящим государем. Он остается им до того времени, пока он служит церкви. Когда же он перестает служить, тогда он теряет все права на престол. На самом деле, однакоже, уже в XVI веке это было лишь теорией (т.-е. было только в книжках), а на практике как только объединилось Московское государство, как только оно забрало в руки большие пространства земель, торговый капитал и т. д., так оно стало подчинять себе церковь, потому что действительная власть церкви держалась, повторяю, конечно, не на том, что думали о ней люди, а на том, что было у нее в руках. Уже при Грозном была сделана попытка отнять у православной церкви ее земли для того, чтобы удовлетворить земельную жажду мелких помещиков, которым начинало не хватать конфискованных вотчин старой знати, и уже Грозный одного московского митрополита, который осмелился ему перечить, Филиппа, сначала прогнал с митрополичьего престола, а потом велел задушить в том монастыре, в который он был послан в заточение.

К концу XVI века, перед самой «смутой», власть церкви над населением значительно уменьшилась, и писатели того вре-

мени, люди благочестивые (грамотные в это время, были, главным образом, духовные люди, и все грамотные люди были люди духовные, воспитанные и обучившиеся грамоте по церковным книгам), жаловались, что «народ» развратился. Из их рассказов видно, что развратилась имущая часть народа, потому что нарушать церковные предписания относительно постов, роскошно есть, много пить, ходить в дорогих одеждах, — все эти грехи, конечно, могли совершать только богатые люди. Власть церкви разрушалась, таким образом, по мере того, как увеличивалась власть торгового капитала.

В особенности разлагающим образом действовало торговое денежное хозяйство на *аскетизм* древне-русских людей. Что такое аскетизм? Все, конечно, слышали о разных подвигах, совершавшихся всякими угодниками древней Руси. Эти угодники назывались подвижниками, потому что «подвиг» и делал их людьми, которые угодны богу и его святым. В чем состоял подвиг? В том, чтобы человек не ел, спал на голых досках, проводил целые ночи на коленях в молитве, — словом, подвергал себя всевозможным лишениям и этим, как он верил, угождал богу. В чем же тут состояло угождение? Да в том, что те удовольствия, которых лишал себя человек, каким-то непонятным образом доставались духу, милость которого он надеялся приобрести. Человек отказывался от пищи, и эта пища, им не съеденная, была также своего рода жертвой, которую каким-то таинственным образом мог съесть дух. Само собой разумеется, что такого отчетливого представления у тогдашних людей не было, повторяю, для тогдашнего человека смысл поста и воздержания был именно в том, что этим он угождал богу или святому, которому он молился, а смысл, им не понимавшийся, заключался именно в том, что таким способом люди привыкали *сберегать*. Обыкновенно после поста наступали (в деревнях и теперь наступают) розговены, т.-е. начинается дикое пиршество, когда люди едят до несварения желудка и пьют до того, что лишаются сознания. Так и до сих пор поступают все дикари, которые постятся целые месяцы и потом в несколько дней сразу нажираются доотвала. При каком хозяйстве такое воздержание может быть нужно? Конечно, при «натуральном», когда нет еще рынка, когда купить человеку припасов негде, когда он должен, что называется, по одежке протягивать ножки, и тщательно рассчитывать, сколько у него остается припасов до нового урожая. И вот он сжимается, что называется, затягивает себе пояс на 4—6 недель, чтобы затем в течение одной недели поесть как следует. Когда появилось торговое, меновое хозяйство, чего нехватало, можно было купить на рынке; естественно, что этот обычай утратил свой смысл, по крайней мере, для зажиточных классов, и вот в это время, когда масса населения начинает поститься круглый год,— наши крестьяне долгое время после того и тогда ели, как

следует, только в редкие праздники, — зажиточные люди все более и более небрежно начинают относиться к постам.

Смутное время, т.-е. народная революция начала XVII века, по мнению тогдашних благочестивых писателей, была наказанием, посланным богачам именно за эти грехи. И когда порядок после смуты был опять восстановлен, т.-е. опять восторжествовало крепостное право, а вместе с ним восторжествовал торговый капитал, то первое время высшие классы проявляли усиленную набожность, и церковь пользовалась такой властью и влиянием, как никогда раньше. Патриарх был вторым государем. При первом Романове этому сильно помогало еще и то, что патриарх приходился отцом государю, но это продолжалось и при втором (Алексее Михайловиче), когда патриарх Никон родней царю не приходился, так что это было не влияние отца, а влияние церкви. Само собой разумеется, что при этом в руках церкви стали собираться огромные богатства. Но скоро новое общество стало тяготиться воздержанием, на которое оно себя обрекло. Аскетическое течение опять стало ослабевать. Опять стали плохо соблюдать посты, сокращали длинную церковную службу, — выстоять ее на ногах тоже было своего рода подвигом. А главное, светская власть начала тяготиться тем влиянием, которое приобрела церковь.

Патриарх Никон, понадеявшись на казавшуюся неизмеримой силу церкви, попытался вступить в борьбу со светской властью. Но тут сейчас же обнаружилось, что сила эта была не в воображении людей, а в тех материальных средствах, которые имелись у них в руках. Церковь оказалась совершенно бессильной против государства Романовых с его огромными денежными средствами, чиновничеством, войском и т. д. Никто из церковных людей и не подумал даже встать на защиту Никона, и оказалось, что какого-нибудь настоящего сопротивления власти царя никто оказать не мог. А царь, пользуясь своими торговыми связями и денежными средствами, без труда нанял других патриархов, восточных, которые в православной церкви были старше Никона, созвал церковный собор и решением самой церкви осудил человека, который осмелился поддерживать самостоятельность этой церкви против царя. Дальнейшие патриархи после того уже не осмеливались противодействовать царской власти, а в начале XVIII века и самое звание патриарха было упразднено. Вместо него был создан синод, т.-е. собрание архиереев, а при них был поставлен надзиратель от светской власти, обер-прокурор святейшего синода, из чиновников, который в действительности полновластно распоряжался православной церковью, смещал и назначал архиереев так же, как назначали и смещали губернаторов. После этого управление православной церковью превратилось просто в одно из министерств русского государства или Российской империи, как она стала называться с начала XVIII века.

Но если, таким образом, высшие классы очень легко расстались с той напускной набожностью, которую они стали проявлять после революции, то угнетенные и задавленные торговым капиталом общественные слои, наоборот, с надеждой обращались именно к церкви, которая терпела угнетение от светского государства наравне с ними, как бы разделяя их судьбу. Само собой разумеется, что эта церковь, не была той казенной официальной церковью, где всем управлял обер-прокурор. Эта казенная церковь народной церкви не признавала. Она назвала народную церковь *расколом*, а людей, которые остались верными старой церкви, староверами, раскольниками. Этих раскольников государство лишало всяких прав, расколоучителей, т.-е. духовенство этой народной церкви подвергали заточению, казни и т. д., но истребить этим народной веры не могли, и она продолжала держаться целыми столетиями. Эта вера была, конечно, таким же темным анимизмом, как и все так называемое православие вообще. Раскольники точно так же верили в бесчисленное количество духов, святых и демонов, которые окружали человека, и при помощи всяких колдовских средств, молитв, обрядов и проч. старались приобрести власть над этими духами. Но то, что эта церковь была гонима и преследуема, придавало ей в массах уважение и сочувствие, так как эта церковь и массы являлись жертвами одной и той же силы — растущей торговой буржуазии и тесно связанного с нею помещичьего класса. В борьбе с гнетом тогдашнего торгового капитала раскольничьи общины сами скоро сделались силой, накапливающей этот же торговый капитал. Трезвые, трудолюбивые раскольники, крепко державшиеся друг за друга, выступающие сплоченно, оказались великолепными сберегателями. Обширные подпольные связи народной церкви, связавшие в одно целое Поволжье и Поморье, Могилевскую губернию и Нижегородскую, явились отличной почвой и для экономической связи. Поэтому в новейшее время раскол и представлялся народу, как какая-то купеческая вера. Но его основатели в XVII веке были не купцы, а преимущественно выходцы из низов городского нnаселения: всякого рода ремесленники, кузнецы, плотники и т. п., а также люди из тогдашней интеллигенции, т.-е. преимущественно из мелкого, не чиновного духовенства. В отдельных случаях, как это всегда бывает во всяком религиозном движении, мы встречаем среди этих демократических элементов и выходцев из высших слоев общества, вроде знаменитой боярыни Морозовой, совершенно так же, как 200 лет спустя между революционными социалистами мы найдем также дочерей генералов и тайных советников. Но ни в том, ни в другом случае это не меняет характера движения, как демократического.

Однако, из раскола не могло выйти демократической революции вроде той, какая потрясла основы Московского государства в первые годы XVII века. Можно сказать, что в раскол люди и пошли с отчаяния, от неудачи этой революции. Раскол заранее

осудил Московское светское государство, объявляя его делом антихриста, но этим самым он признал, что это светское государство для него непобедимо, и раскол боролся с торгашеским государством Романовых, не нападая на него, а убегая от него, совершенно так же, как убегали раньше крестьяне от крепостного права. Правда, в отдельных случаях раскольники хватались за оружие, в тех случаях, когда государство настигало их и там, куда они ушли, и не давало им жить. Много раскольников было в войсках Степана Разина, и некоторые из разинцев защищали потом последнюю крепость раскольников на севере, Соловецкий монастырь, которую царским войскам пришлось брать оружием. И в последующих народных движениях XVIII века, вплоть до пугачевщины, раскольники всегда играли роль сочувствующих движению и враждебных правительству элементов. Но поставить на место сложившегося торгового бюрократического государства что-нибудь новое они были совершенно бессильны, да и совершенно об этом не думали. Наоборот, как мы уже указывали, в политической жизни раскольничьи общины все более и более приспособлялись к этому государству и стали «великими накопителями» того же торгового капитала. Раскол, таким образом, должен был остаться, и остался чисто духовным восстанием, напоминая в этом случае первоначальное христианство, которое также кончило тем, что приспособилось к строю Римской империи и тоже не проявляло никаких попыток преобразовать самое государство.

Северная война и Российская империя.

Борьба за Балтийское море была великим испытанием для государства Романовых. От исхода этой борьбы зависело, устоит ли эта новая постройка, или она рушится, и обломки ее растащат другие, более счастливые соперники. Такой конец был возможен. Торговое капиталистическое государство, Польша, возникшее раньше Московского, именно таким образом рухнуло в конце XVIII века, и остатки его разобрали себе соседи. Московское государство оказалось счастливее. Та война, от которой зависело его существование, в конце концов создала чрезвычайно благоприятные условия для его дальнейшего развития и, употребляя выражение одного поэта, воспевавшего ту эпоху, выковала его, как молот кует сталь. Война эта не была случайностью и неожиданностью. Московское государство к ней готовилось исподволь и осторожно, накопляя силы и тщательно скрывая свои намерения. Царь Петр, давно уже решив войну с шведами и заключив для этого союз с Польшей и Данией, двумя другими соперниками Швеции в борьбе за Балтийское море, в то же время осыпал шведского посланника в Москве всякими любезностями, ездил к нему в гости, ласкал его детей и т.д., стараясь этим показать, что у шведов нет лучшего друга, чем

московский царь. «Несмотря на все эти меры предосторожности, хорошо подготовиться к войне Московскому государству все же не удалось. Слишком была тяжела задача. Швеция нашего времени — маленькая, очень образованная, но совершенно бессильная в военном отношении страна, которая в последние 40 лет смертельно боялась императорской России и ползала иногда у ее ног,—Швеция 200 лет тому назад была одной из величайших, если не самой великой военной державой Европы. В течение XVII века она вынесла знаменитую 30-летнюю войну, во время которой шведская армия заняла первое место среди европейских армий того времени». Это было наилучше вооруженное, наилучше дисциплинированное и организованное войско. Готовясь вступить в бой с этим, по-тогдашнему, исполином, Московское государство тщательно запасалось всеми новейшими, по тому времени, изобретениями. Старый фитильный мушкет Смутного времени заменился кремневым ружьем. На конце этого ружья был привинчен штык, может быть, главное военное изобретение того времени. Дело в том, что пехота XVII столетия не умела еще соединять холодное оружие с огнестрельным. Половина была вооружена огнестрельным оружием — мушкетами, а половина копьями. Таким образом, когда войска стреляли и когда они дрались в рукопашную, одинаково половина силы пропадала даром. Штык дал возможность быть одновременно и стрелком, и копейщиком и, таким образом, удвоил силу пехоты. Следует отметить, что шведы еще не усвоили этого изобретения, а в Москве этим воспользовались: солдаты Петра имели ружья со штыками.

Несмотря на все это, старая крепкая шведская армия оказалась сильнее молодых московских войск, и в первой же схватке, под Нарвой (1700 г.), войска Петра были разбиты на-голову, от его армии почти ничего не осталось. Московское государство казалось на краю гибели, но на счастье Москвы шведы не считали ее своим главным противником. Привыкнув воевать на западе, они гораздо больше внимания обращали на датчан, на поляков и соединившихся с последними саксонцев. Разбив московскую армию и считая дело на востоке поконченным, шведский король Карл XII ушел со своими войсками на берега Вислы, дав Москве несколько лет на то, чтобы оправиться, использовать уроки первых лет войны и создать новую армию. Когда шведы хватились и поняли совершенную ошибку, было уже поздно. Московские войска тем временем прочно стали на берегах Финского залива, куда Петр перенес и свою главную квартиру, в стены завоеванной им шведской крепости, из которой он потом сделал новую столицу русского государства. Карлу XII пришлось прокладывать себе путь из Польши через южную границу Московского государства. Здесь, правда, он нашел себе союзника в лице украинской казацкой старшины, которая, успев разочароваться в московских царях, прочно подчинила себе украинское

посполъство (крестьянство) и желала эксплоатировать его самостоятельно. Но и эта помощь не спасла шведов, и в сражении под Полтавой (1709 г.) шведская армия была разбита так же основательно, как за девять лет перед этим московская армия под Нарвой. Роли совершенно переменились. Из обороняющейся Москва превратилась в наступающую. Московское государство в царствование Романовых превратилось в Российскую империю, с столицей на берегу Балтийского моря, Петербургом. Еще 12 лет после Полтавской битвы продолжалась война. Шведы находили себе еще союзников, прежде всего в лице турок, которые один раз едва не покончили с Петром и его армией во время похода в Румынию (так наз. Прутский поход, 1711 г.). Но окончательные итоги все более и более определялись в пользу Петра. Наконец, в 1721 году, по Нистадскому миру, Швеция должна была признать себя побежденной, и Московское государство стало одной из великих балтийских держав. К этому времени в руках новой Российской империи было не только устье Невы с Петербургом и Кронштадтом, но и целый ряд балтийских портов: Выборг, Рига и Ревель. Северный конец великого водного пути, связывающего Европу и Азию, Балтийское море с Каспийским, был теперь прочно в московских руках. Оставалось теперь закрепить свое положение на южном конце пути, где Москве принадлежала раньше только Астрахань. Последний поход Петра был направлен против Персии и его задачей было: захватить Каспийское море так же прочно в руки русского торгового капитала, как перед этим была захвачена восточная часть Балтийского. Этот персидский поход Петра был менее удачен, чем великая Северная война, но все же транзитная — передаточная — торговля азиатскими товарами, главным образом, шелком (который тогда ценился чрезвычайно высоко, так что торговля шелком была едва ли не главной торговлей в Европе, по выражению одного путешественника), осталась в московских руках.

Московский торговый капитал блестяще выдержал испытание и мог теперь не бояться ни Швеции, ни Польши. В последующих войнах XVIII столетия эти два, некогда могущественные соперника Москвы, перед которыми бежала русская армия, один из которых завладевал даже на время Москвой, все более и более слабеют, до тех пор, пока Швеция не дошла до того униженного положения перед Русской империей, о котором я говорил выше, а Польша попросту не досталась в руки московскому царю, ставшему российским императором.

В Северной войне окончательно складывается и весь механизм торгового бюрократического государства, основанного Романовыми. Мы напомним в немногих словах его социально-экономическую (хозяйственную и общественную) основу. Мы помним, что торговый капитал не организовал сам производство. В его руках были только все средства сбыта и обмена. Торговый капитал был скупщиком готовых товаров, созданных, произведен-

ных самостоятельно мелкими хозяевами, крестьянами и ремесленниками. Эти мелкие хозяева сами по себе не нуждаются в скупщиках, они могли бы продавать все товары сами и весь доход положить себе в карман или могли бы сами их потребить, и поэтому их надо заставить отдать свои произведения; для этого торговый капитал создает сильную центральную власть, с прекрасно организованным по образцу купеческой конторы чиновничеством, с безграничными полицейскими полномочиями, со свирепым, не народным, а тоже чиновничьим, действующим тайно и только казнящим явно судом. В то же время он поддерживает в деревне крепостное право, при помощи помещиков заставляя крестьян отдавать хлеб и другое сырье, выбивая его из крестьян розгами помещичьих конюшен. Все это складывалось уже в Московском государстве XVII века, но все это было еще в хаотическом (неорганизованном) состоянии. Сильная центральная власть уже была, но она была еще окружена старыми феодальными учреждениями, которые не были ни на что нужны торговому капиталу. Рядом с царем была боярская дума, куда люди назначались по их происхождению. Дума не смела, конечно, сопротивляться царской власти, но это лишнее колесо, скрипучее и медленно вертящееся, затрудняло ход всей машины. Во время Северной войны боярская дума исчезает окончательно, и на ее место появляется сенат, составленный из чиновников, назначенных царем, совершенно не считаясь с их происхождением, и обязанных беспрекословно исполнять царские приказания. Сенат это—собрание царских приказчиков. Рядом с ним и под его контролем, из пестрой кучи московских приказов, которые возникали случайно и заведывали всем на свете—и судом, и сбором податей, и войсками, каждым понемножку,—возникает стройная система коллегий, предшественников позднейших министров, между которыми отдельные государственные дела были распределены в строгом порядке. Была своя коллегия для суда—юстиц-коллегия, своя коллегия для сбора государственных доходов, своя для расходов, своя для контроля. Чрезвычайно характерным для всей системы является большое количество коллегий с чисто хозяйственным назначением. Была образована своя коллегия для управления горными заводами (берг-коллегия), фабриками (мануфактур-коллегия), своя для заведывания торговлей (коммерц-коллегия).

Точно так же было образовано и все остальное управление государством. Города были окончательно отданы в распоряжение местного купечества. В первое время было образовано даже чисто классовое купеческое всероссийское учреждение—ратуша, нечто в роде центральной коллегии гостей, собирающих доходы со всей России. Но во время войны этот орган оказался неудобным и был заменен соответствующими коллегиями. В руках купечества осталось только управление на местах в отдельных городах. Что касается деревни, то она была отдана в полное распоряжение

помещиков, в руки которых после этого переходит самая главная функция управления в деревнях. Они судят и наказывают всех крестьян вплоть до ссылки в каторжные работы и собирают с них новую подушную подать, введенную во время великой Северной войны, вместо разных сборов, которые достались романовскому государству от московских царей XVI века. Подушную подать платили все мужчины без изъятия и без различия возраста. Грудные младенцы и старики одинаково были ею обложены. Это, таким образом, не было попыткой обложить тот или другой доход. Это было просто средство получать деньги с народа самым простым и легким способом, — сосчитать число жителей мужского пола, затем разделить между ними сумму, которую должно было получить государство, главным образом, на содержание армии, — подушная подать предназначалась для этой цели, — и все было готово. Что касается косвенных налогов, то в течение XVIII века по отношению к главному из них, питейному налогу, сбору за право продавать водку, которая давала огромный доход, все более и более применялась *откупная система*. Крупные купцы платили государству известную сумму, а за это получали право торговать водкой в той или иной губернии. Как они ею торгуют, как спаивают народ, как они продают вместо настоящего хлебного вина скверный дурман, на это государство смотрело сквозь пальцы, лишь бы только получить то, что причитается. Как видим и в этой области сбора налогов, государство Петра и его преемников верно отражает свою основную сущность, как владычество торгового капитала.

Часть II.

Промышленный капитализм.

Торговый капитал не организовал производства: он брал готовое. Крестьянин сеял и жал хлеб, рыбак ловил рыбу, охотник бил зверя, сапожник тачал сапоги, деревенские женщины ткали холст, как умели и как научились от отцов и дедов, матерей и бабушек. Купец приходил и брал; потом он начал иногда давать сырье, чтобы вернее закабалить мелкого производителя. Получив в долг кожу, сапожник, например, уже никому не смел продать сделанных сапог, кроме купца, которому он был должен. Эта так называемая «система домашнего производства» в сущности мало отличалась от той системы, при помощи которой обеспечивал себе рабочие руки помещик XVI—XVII века.

При помощи этого простого способа можно было собрать и двинуть на рынок огромное количество товара. В конце XVIII века из России только за границу вывозилось ежегодно 14½ миллионов аршин холста. Но наш деревенский холст, конечно, не только вывозился за границу: внутри самой России его продавалось в несколько раз больше. Одна Тверская губерния в то же время продавала не менее 10 миллионов аршин в год. Так как в конце XIX века та же губерния продавала не более 16 миллионов аршин холста, то выходит, что за сто лет производство холста тверитянами увеличилось немного больше, чем в полтора раза, тогда как население Тверской губернии увеличилось с тех пор в два с половиной раза. Выходит, что полтораста лет тому назад каждый тверитянин вырабатывал больше холста для рынка, чем в наши дни. И состояния наживались этим путем огромные: полотняный «фабрикант» Гончаров, ««фабрика» которого, как и большинства «фабрикантов» тех дней, состояла, главным образом, из ряда контор, где раздавали крестьянам-кустарям сырье и принимали у них готовый товар, нажил 6 миллионов рублей, что на золотые рубли 1914 года составило бы миллионов 12, а на теперешние бумажные несколько миллиардов.

Но при всем том у этой системы была и своя оборотная сторона. *Самостоятельное мелкое производство чрезвычайно*

мало подвижно. Когда люди работают по дедовским и прадедовским обычаям, без машин, они из года в год вырабатывают одно и то же количество одинакового товара. А рынок капризен: сегодня ему нужно столько товара, а завтра или на следующий год—втрое больше. Мода еще капризнее: уже при Петре наши кустари подвергались всяческим напастям и неприятностям, вплоть до наказаний от начальства за то, что они ткали слишком узкое полотно, в Западной же Европе требовали широкого. А им широкие берда негде было в избе поставить. И уже при Петре (начало XVIII века) это привело к попыткам устраивать *полотняные мануфактуры* с сотнями рабочих, собранных в одном помещении, где можно было ткать полотно на всякие образцы и в любом количестве. Фабриками это еще нельзя было назвать, потому что работали в этих помещениях преимущественно руками, а не машинами, но это было уже *крупное* производство. Вслед за концентрацией (сосредоточением в одних руках) *обмена* начиналась и концентрация *средств производства.* Кустарь работал в *своей* избе и *своими* инструментами, рабочий мануфактуры работал в *чужом* помещении и на инструментах, принадлежащих его хозяину. Кустарь был самостоятельный мелкий производитель, а в рабочем мануфактуры был уже зародыш современного *пролетария.*

Пока только зародыш. Потому что новейший пролетарий—человек свободный, по вольному найму работающий у фабриканта, а мастеровые русских мануфактур XVIII столетия были люди несвободные: либо крепостные хозяина мануфактуры, либо арестанты, солдаты и т. под., отданные в распоряжение хозяина начальством. И для промышленного капитализма первым русским мануфактурам еще многого не хватало. Прежде всего, что мы уже упоминали, нехватало *машины.* Это очень важно потому, что только машина дает перевес крупному производству над мелким, делает крупное безусловно выгоднее мелкого. *Машина тем выгоднее, чем крупнее.* При паровой машине в 5 сил, например, каждая сила обходится в 354 р. в год, при машине в 50 сил каждая сила стоит ежегодно уже только 105 р., а при машине в 3.000 сил—всего только 36 р. Вот почему не только фабрика забивает мелкого производителя (в 1866 году у нас, в России, 95 тысяч ткачей работало на фабриках, а 65 тысяч на дому; в 1895 году на фабриках работало уже 242 тысячи ткачей, а на дому только 20 тысяч), но и крупные фабрики забивают мелкие и средние предприятия (с 1904 по 1909 год число рабочих в России увеличилось всего на 7%, а число рабочих на фабриках, имевших более 1000 рабочих, на 20%; на этих огромных фабриках было занято больше трети всех рабочих—672 тысячи из 1788 т.). Но огромные предприятия XVIII века (в России и тогда были мануфактуры более, чем с 1000 рабочих) работали в ручную, и это не всегда было выгоднее, чем работа кустарей. Кустарь, получавший поштучно,

больше «старался», чем крепостной мастеровой, ничего за работу не получавший. И хотя на тогдашних мануфактурах употреблялись самые варварские наказания, так что, по свидетельству одного современника, вдобавок дворянина и помещика, крестьяне говорили—«в этой деревне фабрика», с таким видом, как будто хотели сказать: «в этой деревне чума»,—несмотря на все жестокости, из рабочего мануфактуры все же не удавалось выбить столько «прибавочного продукта», сколько можно было выжать из кустаря. Бо́льшая часть русских фабрикантов XVIII века или разорились, или перешли к самому легкому способу «фабрикантства»,—начали раздавать сырье кустарям, т.-е. превратились в скупщиков.

Таким образом первым русским мануфактурам (их уже в 1725 году считалось более 2 сотен) нехватало не только машин, а и кое-чего другого еще: *свободного рабочего,* который был бы заинтересован в том, чтобы работать лучше и сработать как можно больше. Сразу мы натыкаемся, таким образом, на коренное противоречие между торговым и промышленным капитализмом. Первый был заинтересован в порабощении мелкого производителя и потому поддерживал крепостное право, второму нужен был свободный рабочий, и потому он должен был добиваться освобождения крестьян. Развитие промышленного капитализма должно было повернуть тот краеугольный камень, на котором держалось все русское общественное и государственное устройство до XVIII века. Раньше, чем создать себе собственного могильщика в лице пролетариата, и для того, чтобы достигнуть этой цели, промышленный капитал должен был сам сделаться могильщиком того романовского государства, которое мы описывали в конце предыдущего очерка.

Это было совсем не так легко и просто. Не следует представлять себе дело так, что торговый капитализм «кончился», а промышленный на его место «начался». Такое представление было бы совершенно неправильно. Торговый капитализм долго продолжал существовать в России после того, как у нас появились не только зачатки промышленного капитализма, но и этот последний в зрелом виде, с машинами и вольным рабочим. Мало этого: торговый капитализм продолжал *развиваться,* и полного своего расцвета достиг как раз во второй половине XIX столетия, когда под его влиянием произошло одно из самых замечательных событий в новейшей экономической истории России: *постройка сети железных дорог* в 1860—1870 годах. Даже в начале XX века такая влиятельная буржуазная партия, как «октябристы», представляла собою, главным образом, старокупеческий торговый капитал, тогда как представительство промышленного сосредоточивалось в партиях кадетов и прогрессистов. Те победы, которые одерживал промышленный капитал, были им одержаны в союзе с торговым; «освобождение» крестьян (не только от помещиков, но и от доброй части их собственной,

крестьянской земли) в 1861 году могло состояться только потому, что оно и торговому капиталу оказалось выгодно. А полной ликвидации чиновничьего государства русской промышленной буржуазии так и не удалось достигнуть, потому что торговому капиталу это государство было нужно. И оно дожило до февральской революции 1917 года. Политическое торжество промышленного капитализма только на 8 месяцев опередило пролетарскую революцию.

Торговый капитализм сложился у нас, в новгородско-московские времена, на вывозе предметов роскоши—ценных мехов, шелка и т. п. Предметы массового потребления стали у нас вывозиться только после Северной войны, когда Россия получила в свое обладание ряд гаваней на Балтийском море. В предшествующее время хлеб, например, вывозила в Западную Европу Польша, от которой близки были такие удобные балтийские порты, как Данциг и Кёнигсберг. Удобство этих гаваней состояло в том, что они никогда не замерзали, тогда как Петербург, Ревель, Выборг и даже Рига оставались запертыми льдом несколько месяцев в году. Русский торговый капитал с самого начала стремился завладеть хоть одной незамерзающей балтийской гаванью, и лет сорок спустя после Северной войны Россия вновь вмешалась в огромную войну, происходившую в Западной Европе (главным образом, между Англией и Францией; но на стороне первой была, кроме того, Пруссия, а на стороне второй—Австрия), так называемую Семилетнюю. Целью этой войны для России было завладеть Курляндией, с ее незамерзающими гаванями Виндавой и Либавой. Курляндия была тогда «самостоятельным» государством, зависевшим то от России, то от Польши, но Польша была уже так слаба, что с нею не считались, и соперницей России была, главным образом, Пруссия; с нею и велась война. Русским удалось было завладеть даже одною из прусских гаваней—Кёнигсбергом. Но Россия была так истощена войной, что вынуждена была заключить мир, ничего не добившись.

До этой войны Россия вывозила только сало, мачтовый лес, пеньку, воск и меха, по-старому. Последняя статья понемногу теряла значение по мере того, как русские пушные богатства истощались, а на рынке появлялись все в бо̀льшем и бо̀льшем количестве американские меха. Воска требовалось тогда довольно много, потому что сальные свечи были очень неудобны и неопрятны, а стеариновых делать еще не умели, керосину также не умели употреблять. Поэтому во всех богатых домах, по крайней мере, в «господских» комнатах, горели восковые свечи. Пеньку и мачтовый лес покупали преимущественно англичане, вообще главные покупатели русских товаров, державшие в руках всю русскую вывозную торговлю. Они же доставляли и всю мануфактуру для высших классов русского общества — от «аглицкого» сукна до почтовой бумаги, конвертов и даже облаток, которыми заклеивали письма. Произведения русских ману-

фактур больше распространялись среди простонародья или покупались казной (сукно для армии, например, парусина и канаты для флота и т. д.). Только в конце Семилетней войны стали говорить, что для России «хлебный торг натуральнее всех», и только с первых лет XIX столетия хлебный вывоз начинает приобретать для русской торговли то значение, какое он имел до войны 1914 года. *На хлебном вывозе, главным образом, окончательно вырос и развился русский торговый капитализм.*

Он с чрезвычайной ловкостью использовал при этом развитие *чужого* промышленного капитализма. Почему англичане до 1760 года не покупали русского хлеба? Да потому, что у них своего было достаточно: Англия тех дней была прежде всего земледельческой страной. Но в середине XVIII века в Англии происходит *промышленная революция:* благодаря обезземелению крестьян помещиками, в Англии образуется многочисленный пролетариат, благодаря захвату колоний, Англия получает в свое распоряжение массу ценного сырья (особенно хлопка и красок), наконец, благодаря целому ряду изобретений (самопрялки, механического ткацкого станка, в особенности паровой машины Уатта), Англия становится родиной машин, и крупное производство в Англии впервые берет верх над мелким.

Под влиянием промышленного переворота в Англии начинается чрезвычайный рост городского и вообще неземледельческого населения. Пока преобладающим классом населения в Англии было крестьянство, население страны вообще росло медленно: в 1700 году в ней считалось немного больше 5 миллионов жителей, в 1750—почти ровно 6 миллионов. Во второй половине XVIII века произошел тот переворот, о котором сейчас говорилось, и к 1801 году в Англии было уже более 9 миллионов населения. За первую половину века население Англии увеличилось таким образом меньше, чем на 20%, а за вторую больше, чем на 50. То же продолжалось и в начале XIX века: за двадцать лет, с 1801 по 1820 год, население Англии увеличилось на $^1/_3$—с 9 миллионов до 12. В то же самое время земледелием в Англии в начале XVIII века занималось $4^1/_4$ миллиона людей, а в промышленности было занято $^1/_4$ миллиона; во второй половине века число земледельцев упало ниже 3 миллионов, а промышленность рабочих поднялась почти до 3 миллионов [1]). Правда, за это время и в английском земледелии был достигнут целый ряд усовершенствований, машины и туда проникли, так что производительность английского сельского хозяйства не только не уменьшилась, а даже увеличилась, но все же прокормить быстро росшее промышленное население Англия оказывалась не в силах. Цены на хлеб стали в Англии быстро расти: в то время, как средняя

---

[1]) Статистика начала XVIII века не признается очень точной, но понятие о соотношении различных классов она дает.

цена «квартера» пшеницы (12 русских пудов) в течение XVIII века не на много превышала 40 шиллингов, в течение первого десятилетия XIX века тот же квартер стоил уже 74 шиллинга, а с 1811 по 1820 год уже 87½ шиллингов [1]). Правда, после этого цены несколько упали, но до последней четверти XIX столетия они все же держались выше, чем в XVIII столетии.

Как раз во второй половине XVIII столетия начинается большее оживление среди русских помещиков. Они основывают Вольное Экономическое общество для обсуждения и изучения вопросов, связанных, главным образом, с сельским хозяйством, начинают разные опыты с новыми семенами, с удобрением и т. п., выписывают из-за границы (из той же Англии) машины и машинистов и т. д. В «трудах» Вольного Экономического общества начинают писать, что пшеница — самый выгодный товар и что России самой судьбой предназначено быть «житницей Европы» и источником пшеницы для всех западных стран. Все эти явления сейчас же отразились и на внешней политике России. Для пшеницы всего лучше чернозем южно-русских губерний. Но оттуда до гаваней Балтийского моря очень далеко, и вот Россия начинает пробивать себе дорогу на юг, к гаваням Черного моря. Во второй половине XVIII века Россия ведет две войны с Турцией, в результате которых завладевает Крымом и Одессой (вернее, местом, на котором теперь стоит Одесса, потому что Одесса тогда только и была построена) и добивается от Турции права свободного прохода через проливы, отделяющие Черное море от Средиземного. Вопрос о проливах, из-за которого Россия ввязалась в мировую войну 1914 года, таким образом тоже был поставлен торговым капиталом.

Последствия оправдали надежды русского купца и русского помещика, только не так быстро, как они ожидали: падение хлебных цен после 1820 года, о котором упоминалось выше, несколько задержало рост русского хлебного вывоза. Тем не менее роль «житницы» Россия все же сыграла. Уже в 1801 году она вывезла почти семь миллионов пудов пшеницы, в 1820 году этот вывоз удвоился, а к 1840 году почти утроился. Дальше дело пошло быстрее: в 1850 году было вывезено 26 миллионов пуд., в 1860 году 42 миллиона, в 1870 году 96½ миллионов. К концу XIX века (1895 г.) вывоз русской пшеницы за границу достиг колоссальной цифры 237 миллионов пудов. Конечно, не все это вывозилось в Англию: русская пшеница в большом числе потреблялась и Францией и Италией, и даже Германией (хотя в последнюю, преимущественно, шла русская *рожь*, вывоз которой уже в 1860 году дошел до 20 милл. пуд.; в 1895 году ржи вывозилось более 90 милл пуд.). Но главной покупщицей долго оставалась Англия, ввозившая в Россию, в обмен на хлеб, произведения своей промышленности. Еще в 1878 году англий-

---

[1]) Шиллинг на старые русские деньги—48 копеек.

ский ввоз в Россию оценивался в 150 милл. старых (до 1914г.) русских рублей, а к этому времени ввоз в Россию иностранных товаров был уже обставлен многими затруднениями в угоду промышленному капиталу.

На первых порах этот последний должен был, конечно, сильно страдать от английской конкуренции. Но по стечению обстоятельств англичане же своею политикой и дали могучий толчек развитию русской промышленности. Борьба Англии и Франции за мировое первенство не окончилась Семилетней войной. В конце XVIII века она вновь вспыхнула, когда Англия захотела воспользоваться французской революцией, чтобы окончательно раздавить свою соперницу. Она очень обманулась: на деле Франция от революции не ослабела, как ожидали англичане, а усилилась и стала быстро экономически расти. Французский промышленный капитализм, организовавшись в империю Наполеона Бонапарта, вступил с английским в борьбу за рынки, чего англичане уж никак не ожидали: раньше у них борьба с Францией шла больше из-за колоний и морской торговли. Англия стала организовывать против Франции одну коалицию (военный союз нескольких держав) за другой, при чем Россия, на которую англичане смотрели почти как на свою колонию, была, конечно, в центре всех этих коалиций, но наполеоновская Франция держалась долго и упорно. Две первые коалиции (сначала Россия и Австрия, потом Россия и Пруссия) были разбиты вдребезги. Наполеон взял и Берлин и Вену, а Россию принудил заключить мир (в Тильзите, в 1807 году), по которому русский царь Александр I отказался от союза с Англией и заключил союз с Францией. Наполеон обязал его присоединиться к так называемой «континентальной блокаде», т.-е. дать обязательство, которого Наполеон требовал от всех побежденных им государств, не торговать с Англией. Наполеон надеялся таким путем запереть для английских товаров весь континент Европы (отсюда и название континентальной блокады) и, так сказать, сварить англичан в собственном соку.

Россия вдруг оказалась без произведений английских фабрик, к которым так привыкло русское дворянство. Последнее было очень недовольно Тильзитским миром, все время глухо ворчало, угрожало исподтишка Александру участью его отца, Павла I, убитого дворянами отчасти тоже за разрыв с Англией (в 1801 году; этот пример больше всего и ободрял англичан и подстрекал их к бесцеремонному использованию России). Дворянству и стоявшему за его спиной торговому капиталу, еще больше, конечно, недовольному прекращением английской торговли, в конце концов и удалось-таки добиться своего: в 1812 году Россия вновь разорвала с Францией, наполеоновская армия, после своего последнего успеха, взятия Москвы, замерзла в русских снегах, против Наполеона образовалась новая, последняя, самая страшная коалиция, и английский промышленный

капитализм мог, наконец, торжествовать полную победу. Но она обошлась ему недешево: всех прежних позиций он вернуть себе не мог, и в числе утраченных оказалось именно его положение в России.

В то время, как торговый капитал совсем повесил голову от Тильзитского мира (Александр I долго не решался опубликовать постыдный для него договор, и на петербургской бирже, пользуясь этим, уверяли, что никакого мира и вовсе не заключено), промышленный капитал точно живой водой спрыснули. Избавленные от английской конкуренции русские фабрики стали расти буквально, как грибы. Особенно бумагопрядильные и бумаготкацкие: хлопчатобумажные ткани были тогда новостью и привозились в Россию исключительно из Англии. В 1804 г. таких фабрик в России было 199, большею частью мелких, с $6\frac{1}{2}$ тысячами рабочих и производством на 5 миллионов рублей; а 10 лет спустя, в 1814 г., фабрик было 423, рабочих на них 39 тысяч, а производство увеличилось *вшестеро*, до 30 миллионов. Американский хлопок (другого тогда не было) стали ввозить в Россию в таком количестве, что она обогнала по этой части чуть не все европейские страны: еще в 1809 г. его ввезли только полмиллиона фунтов (эту редкость тогда еще на фунты вешали, а не на пуды), а в 1811 г. ввезено было в Россию хлопка уже $9\frac{1}{4}$ миллионов фунтов. В то время, как все иностранные товары бешено дорожали, хлопок стал дешеветь, и цена его упала почти вдвое, — так много навезли. Иностранцы, слышавшие ото всех «порядочных людей» жалобы на континентальную блокаду и видевшие в то же время это процветание, только руками разводили в недоумении. В самом разгаре блокады французский посланник доносил своему правительству, что хоть русские и жалуются на дороговизну предметов роскоши, на падение курса рубля, но промышленность в России развивается, основалось много суконных, шелковых, прядильных фабрик, богатые помещики выписывают иностранных рабочих, которые обучают русских рабочих. Открылись также свеклосахарные заводы, умножаются водочные заводы и т. д.

Когда был восстановлен союз с Англией, правительство, под влиянием дворянства, продолжавшего вопить о дороговизне иностранных товаров, разрешило было, по-старому, почти свободный ввоз произведений английской промышленности. Но тут уже завопили фабриканты, и так громко, что их пришлось услышать. Они подали Александру I записку, где прямо заявляли, что Англия для них хуже Наполеона, а свободный ввоз английских товаров хуже московского пожара 1812 года. Промышленный капитал был уже настолько силен,—во многих фабриках было заинтересовано и дворянство, притом очень крупное (кн. Юсупов, например, имел огромные суконные фабрики),—что с ним приходилось считаться. В 1822 году были введены высокие пошлины на заграничные товары с целью «покровительства» отечественной

6*

промышленности. С тех пор эта «покровительственная» система никогда не оставлялась совсем русским правительством, временами только несколько ослабевая (так было между 1857 и 1877 годами, причины мы увидим ниже).

Ввоз английских товаров не прекратился окончательно,—кто мог покупать дорогое, держался всетаки английского,—но сократился чрезвычайно. До пошлин 1822 года Англия ввозила ежегодно в Россию на 3 миллиона фунтов стерлингов, а в 1831 г. она ввезла меньше, чем на 2 миллиона, притом почти $^2/_3$ этого ввоза составляли не готовые товары, а *пряжа*, которая должна была пойти на изготовление материй внутри России русскими же фабриками, т.-е. служила опять-таки для конкуренции с англичанами. Русская же промышленность, за стеной таможенных пошлин, росла чрезвычайно быстро. В 1824—1826 годах в Россию ввозилось в среднем, в год 74 тысячи пудов хлопка и 337 тысяч пудов хлопчатобумажной пряжи, а в 1848—1850 г.г. уже более *миллиона с четвертью* пудов хлопка, но пряжи зато лишь 281 тысяча пудов. Это огромное увеличение ввоза хлопка, рядом с уменьшением ввоза пряжи, показывало, насколько возросла *самостоятельность* русской текстильной промышленности. Прежде русский ситцевый фабрикант не мог обойтись без английской пряжи, теперь в России появляются свои прядильные фабрики и растут с такой же быстротой, как раньше ткацкие. В 1843 году в России было 40 таких фабрик, и на них работало до 350 тысяч веретен, а в 1853 году веретен в ходу было уже до *одного миллиона*. К концу столетия (1891 году) Россия по количеству веретен занимала уже *первое место* в Европе после Англии (в Англии 44 миллиона веретен, в России 6 миллионов, во Франции немного более 5, в Германии 5, в Австрии 2 и т. д.).

Быстрый рост русской промышленности стал обгонять рост нашего внутреннего рынка. Так как у крепостного крестьянина барин отбирал все «лишнее», то этот крестьянин был, в сущности, нищим. Какой же это был покупатель? Покупателем произведений русских фабрик было, главным образом, городское население, но оно росло чрезвычайно туго, благодаря тому же крепостному праву, привязывавшему крестьянина к деревне. Городское население России в XVIII веке составляло только 4% всего населения, в первой половине XIX немного более 6%. Простым выходом было бы опять-таки освобождение крестьян. Избавленный от барской эксплоатации, располагая своим заработком, крестьянин сразу превращался в «покупателя»,—история русской промышленности после 1861 года это и доказала. Но торговый капитал не хотел еще расставаться со своей жертвой. Цены на хлеб в то время перестали подниматься, помещик и купец, глядя на высокую заработную плату тогдашнего русского рабочего (получавшего, действительно, больше, чем германский рабочий тех дней), боялись, что эта заработная плата чересчур уменьшит

их барыши. Им в голову не приходило, что высокая заработная плата в России—опять-таки результат того же крепостного права: большая часть наемных рабочих были отпущенные по оброку крепостные, и в их заработной плате, кроме денег на их собственное содержание, заключался еще оброк, который они должны были заплатить своему барину. Фабрикант был в этом случае умнее и расчетливее своих предшественников по эксплоатации трудящегося человека, умнее купца и помещика. Фабрикант не боялся вольнонаемного рабочего, несмотря на его дороговизну. Уже в 1825 году половина рабочих на наших фабриках были вольнонаемные. В 30 годах фабрикант стал освобождать на волю и своих крепостных работников, и в 40 годах бо́льшая половина этих, так называемых «поссессионных», мастеровых стала свободна. Но помещик не мог расстаться со своими страхами, и нужно было, чтобы история прижала его к стене.

Пока существовало крепостное право, внутренний рынок расширяться не мог: оставалось искать внешних. Прежде многим казалось, что империя Николая I, «Николая Палкина», с ее огромной армией, казармами, шпицрутенами, рекрутчиной, преклонением перед военным мундиром, господством военщины везде и всюду,—что эта империя есть такая противоположность буржуазии, какую только можно придумать. На самом деле казарма была необходимым дополнением к фабрике: Николай Палкин «вооруженною рукою пролагал российской торговле новые пути на Востоке», по свидетельству государственного совета этого царя. Вот для чего вся Россия была затянута в военный мундир! И недаром Николай с одинаковым усердием устраивал смотры своим солдатам и мануфактурные выставки русских товаров, открывал кадетские корпуса и технологические институты, ездил на маневры и на Нижегородскую ярмарку. Сначала дело у него шло успешно: две его первых войны, с Персией и Турцией кончились победами и таким миром, который широко открывал границы этих обеих отсталых стран русским товарам. Персидским рынком удалось совсем овладеть, русский фабрикант там царил, русский червонец был ходячей монетой, русские торговые обычаи—образцом; иностранцы—англичане, немцы—на каждом шагу слышали: «так делают русские, так принято в торговле с Россией».

Уже и это иностранцам—на первом месте тем же англичанам—не могло быть приятно. Закрытие границ самой России для большей части английских товаров должно было раздражать англичан еще более. А когда русские, не довольствуясь Турцией и Персией, стали пробираться в Среднюю Азию и Афганистан, к границам Индии, англичане совсем забеспокоились, и в воздухе запахло войной. Так как Николай действовал грубо и резко, не скрывал своих завоевательных планов,—явно было, что Россия собирается монополизировать (сделать своей исключительной собственностью) восточные рынки для своей промышленности, то англичанам нетрудно было найти союзников. В восточной тор-

говле вместе с ними, были, например, заинтересованы и французы. К тому же и торговый капитал не прочь был воспользоваться услугами «потрясающей Стамбул и Тегеран десницы», как льстиво говорилось по адресу Николая I в одной купеческой речи. Торговля хлебом дунайских стран,—Венгрии, Молдавии, Валахии, через румынские порты нижнего Дуная, Браилов и Галац,—стесняла, видите ли, хлебную торговлю Одессы и Таганрога, делала ей конкуренцию. Этого никак нельзя было допустить, нужно было зажать в кулак и Нижний Дунай. Николай ходил в 1849 году в Венгрию под предлогом усмирения тамошней революции, но не мог там остаться. А в 1853 году русские войска заняли Молдавию и Валахию (теперешнюю Румынию). Это послужило поводом к войне с Турцией и перекинуло в лагерь противников России Австрию, заинтересованную в свободе дунайской торговли.

Турецкая война пошла сначала для Николая успешно: русский черноморский флот уничтожил турецкий флот при Синопе, русская армия перешла через Дунай. Николай мечтал о захвате Константинополя. Русские торговый и промышленный капиталы, в союзе, готовились стать хозяевами всего Востока. Этого, конечно, ни Англия, ни Франция, ни Австрия стерпеть не могли. Английский и французский флоты вошли в Черное море, Австрия мобилизовала свою армию. Николай объявил войну англичанам и французам, но не решился сделать того же и по отношению к Австрии,—та осталась на положении «вооруженного нейтралитета». Тем не менее военные действия русской армии за Дунаем должны были прекратиться: имея австрийцев в тылу, итти вперед было опасно. На море русский флот должен был везде отступить перед англо-французским, который был несравненно сильнее и лучше русского (был бо́льшею частью паровой, а наш парусный). Англичане и французы высадились на русских берегах, в Крыму, и после одиннадцатимесячной осады взяли Севастополь, главную русскую военную гавань на Черном море, стоянку черноморского флота, который был при этом весь потоплен.

Николай не перенес неудачи и отравился, а его сын и наследник Александр II должен был заключить мир (Парижский, в 1856 году), по которому Россия потеряла право держать флот на Черном море. Русский капитализм должен был отказаться от надежды стать хозяином в Турции. Поиски внешнего рынка кончились крахом: приходилось волей-неволей расширять внутренний. К этому времени и значительная часть помещиков (хотя и не большинство) расстались со своими страхами перед вольным рабочим. Дворянские публицисты даже стали высчитывать, насколько вольнонаемный труд будет выгоднее барщины. Цены на хлеб в Западной Европе, в конце 40-х годов, снова «окрепли», и торговый капитал, облизываясь, мечтал о том, какие огромные массы пшеницы понесутся по вновь построенным железным до-

рогам из самых глухих черноземных губерний к портам Балтийского и Черного морей. Проект постройки железнодорожной сети возник еще в 1830 годах, но его затормозил именно промышленный капитал, имевший при дворе Николая могущественного защитника в лице министра финансов Канкрина. Последний под разными нелепыми предлогами,—будто железные дороги разовьют в населении бродяжничество и т. п.,—мешал их постройке: на деле промышленный капитал боялся, что по железным дорогам иностранным товарам слишком легко будет проникать внутрь России. Теперь, когда все равно пришлось сдаваться и в этой области,—в 1857 г. пришлось понизить таможенные пошлины в угоду Англии и Франции,—и это соображение отпало; словом, сопротивление уничтожению крепостного права было теперь несравненно слабее, чем за 20 лет раньше.

Было бы, конечно, очень наивно думать, что торговый капитал и его союзник, барин-крепостник, сдадутся совсем и смиренно падут к ногам русской промышленности. В сделке, которую буржуазная история украсила громким титулом «великой реформы 19 февраля» (в этот день, 19 февраля 1861 года по стар. стилю, был *подписан* манифест об освобождении крестьян, но опубликован он был только 5 марта: 19 февраля пришлось на масленице, и боялись, что освобожденный народ перепьется и «взбунтуется»: таковы были представления «освободителей» об освобождаемых!), на долю старых господ досталась, конечно, львиная доля, а промышленная буржуазия получила лишь столько, сколько ей было совершенно необходимо, и даже немножко меньше и этого. Прежде всего торговый капитал сохранил все же мелкого самостоятельного производителя, к которому привык, крестьянин был освобожден с землей и прикреплен к этой земле: он не смел уйти из деревни без согласия «мира», а так как население деревни было связано круговой порукой в деле уплаты податей (очень увеличившихся после 19 февраля, как сейчас увидим), то ему был весь интерес крестьянина не выпускать, ибо тогда каждому из оставшихся приходилось платить больше. Об этом «освобождении с землей» кричали тогда, как о величайшем благодеянии для крестьян, и этот обман соблазнил иных, даже очень умных, но неопытных в экономических вопросах людей, — например, знаменитого писателя Герцена (об этом еще придется говорить ниже). На самом деле и освобождения-то никакого не было: привязанный к своему жалкому клочку земли, крестьянин остался под властью дворянства, в лице мирового посредника, по приказанию которого волостной «суд», всецело от посредника зависевший, мог и выпороть «освобожденного» розгами, как в крепостное время.

А главное, торговый капитал сохранил ту машину, которая выжимала из крестьянина «прибавочный продукт», только усовершенствовал ее. Прежде каждый отдельный помещик выжимал этот продукт из крестьянина барщиной, либо оброком, теперь

это стало делать все дворянское государство при помощи податей. Начать с того, что помещик, конечно, не думал отпускать крестьянина *даром*. Хотя на всех перекрестках кричали, что за личность крестьянина никакого вознаграждения барину не полагается, но и в этом, как во всем другом, «великая реформа» лгала. На самом деле помещики получили с крестьян более 800 миллионов рублей (рубли 1861 года были в полтора раза крупнее рублей 1914 года) под видом *выкупа* за ту же землю, которая лежала под крестьянскими наделами. Земля эта искони обрабатывалась крестьянами, помещик никогда ею не пользовался, для него она была лишь средством содержания крепостных рабочих рук. Совершенно ясно, что плата за землю была именно выкупом этих сельских рабочих рук. Для еще бо̀льшей ясности земля эта была оценена гораздо выше ее действительной стоимости: стоила она тогда, по тогдашним ценам, 648 миллионов, а заплатить за нее должны были крестьяне 867 миллионов. Помещики получили эти деньги сразу, от правительства, а крестьяне должны были расплатиться с правительством в рассрочку; это и были знаменитые *выкупные платежи*. Само правительство признавалось, что они были выше дохода с земли, в особенности в нечерноземной полосе: в Московской, например, губернии десятина земли, «уступленной» крестьянину, стоила 26 рублей, а заплатить за нее должен был крестьянин 51 р. 33 к. Местами (на севере, в Олонецкой губернии) выкупные платежи были вчетверо и впятеро выше дохода с крестьянского надела. Но кроме выкупных после «освобождения» была увеличена подушная подать, да содержание созданных после «великой реформы» земских учреждений тоже легло почти исключительно на крестьянские плечи. В итоге через 15 лет после освобождения крестьянин платил казне самое меньшее на 20% больше дохода со своей земли, а очень часто в два и даже в три почти раза больше (до 270%). Иными словами, на одну уплату податей крестьянин должен был продать весь свой хлеб, да еще приработать на стороне. Подати выжимали из него прибавочный продукт не менее успешно, чем оброк и барщина. Вот в чем был секрет знаменитого «освобождения крестьянина с землей».

Но ограбленный «великой реформой 19 февраля» крестьянин все же не стал пролетарием. Пролетарий—вольный работник, который идет туда, где есть спрос на его труд, а крестьянин оставался прикрепленным к своей деревне и отданным под опеку дворянской полиции в лице мирового посредника (позже — земского начальника). «Резервная армия труда», необходимая для промышленного капитализма, не была создана у нас сразу, падением крепостного права, а должна была складываться медленно и с трудом, *вопреки* тем условиям, при которых произошло это падение. В то же время ограбленный крестьянин далеко не сразу стал тем выгодным покупателем, который русским фабрикам, особенно текстильным, был нужен. В первые годы после освобожде-

ния наша промышленность пошла даже назад, а не вперед. Но с течением времени дело выравнялось и здесь. Одно предсказание дворянских публицистов, проповедывавших реформу перед 1861 годом, оправдалось вполне: вольный труд оказался несравненно производительнее крепостного. До освобождения (в конце 40 годов) урожай 4-х главных хлебов (пшеницы, ржи, ячменя и овса) давал с России только 208—209 миллионов четвертей, после освобождения, в 1870 годах—более 300 миллионов. Этот подъем производительности земледельческого хозяйства постепенно поднял и покупательную способность народной массы. После небольшой заминки промышленность, особенно текстильная, быстро пошла вперед. В 1861 году все наши текстильные фабрики переработали с небольшим $2\frac{1}{2}$ миллиона пудов хлопка, а в 1881 г. они переработали уже 9 миллионов пудов, в 1891 г.— $10\frac{1}{2}$ милл. пуд., в 1901 г. — более 16 милл. пуд. (высшей точки они достигли в 1910 г., когда было переработано ими 22 милл. пудов хлопка). В то же время перед освобождением крестьян Россия имела менее 1.000 верст железной дороги, а к началу 70-х годов у нас было уже более 10.000 верст железных дорог, к началу 80-х—более 21.000 верст, к началу 90-х—до 27.000 верст. А параллельно с ростом железнодорожной сети росла и русская *металлургическая промышленность* (поставлявшая для этих дорог, главным образом, рельсы; паровозы и т. д. еще долго преимущественно покупали за границей). В 1861 году у нас было выплавлено менее 20 милл. пуд. чугуна, в 1891 г. — уже 61 милл., а в 1901 г. — уже 173 миллиона. В этом году наша металлургия обогнала уже некоторые большие западно-европейские страны, например, Францию, как за десять лет перед этим Россия обогнала Францию в области бумагопрядильного производства.

В XX век Россия вступала уже вполне определенно и бесспорно, как страна развитого промышленного капитализма.

Крепостническое государство.

Несмотря на торжество промышленного капитализма, устройство государства до конца XIX века в России оставалось таким, каким его создал торговый капитал для своих потребностей.

Царь перестал быть «первым купцом своего государства», и при царском дворе не разговаривали больше о сале и пеньке, а вели обыкновенные придворные разговоры: но «Романовы» [1]),

---

[1]) Фамилию Романовых приходится писать в кавычках потому, что, как уже упоминалось вскользь выше, эта семья вымерла с дочерью первого „императора Всероссийского" Петра Алексеевича. У Елизаветы Петровны детей не было, и она назначила своим наследником своего племянника Петра, принца Голштейн-Готорпского. У того тоже детей не было, его наследник, Павел Петрович, как все тогда знали, родился у его жены одного из придворных. От этого Павла и пошли позднейшие „Романовы".

тем не менее, остались великими накопителями богатств. Своих капиталов они, конечно, не объявляли, но упорная молва приписывала им к концу XIX столетия 700 миллионов рублей (золотых) одними чистыми деньгами. Достоверно известно, что в 1880 годах Александр III перевел из одного западно-европейского банка в другой 300 миллионов («Романовы» все свои деньги держали, конечно, в заграничных банках—для безопасности). Кроме того, царской семье принадлежало колоссальное недвижимое имущество, так называемые «удельные» и «кабинетские» имения: тут были и золотые прииски, и заводы, и виноградники и т. д., и т. д., всего больше, чем на миллиард даже тогдашних рублей. На теперешние бумажные деньги у «Романовых» было, наверное, миллиардов 500. «Первый купец своего государства» превратился в первого *миллиардера* вселенной.

Его приближенные были первыми богачами в России, да не из последних и во всем мире. Крестьянские оброки и барщина проживались лет 100—150 назад преимущественно в Париже, и там «русские бояре» обратилось в пословицу. Кроме разве Англии и Голландии, уже тогда грабивших огромные колонии, вряд ли в Европе были более крупные состояния, чем в России. Самые старые из них восходят еще к допетровскому времени, к XVII веку. Строгановы уже тогда были миллионерами: при Петре они имели 120.000 душ крепостных крестьян; так как считались только мужчины, то это означало четверть миллиона населения, вообще—целое государство; при Петре самым богатым человеком сделался его фаворит [1]) «Алексашка» Меншиков, сын мелкого ремесленника, сделавшийся генералиссимусом русской армии, светлейшим князем и «герцогом ижорским». У него считали до 90 тысяч душ и, кроме того, на 14 миллионов (тогдашних) рублей денег и драгоценностей. При Елизавете Петровне семья ее фаворита—Разумовские—имела до 120.000 душ. Два царствования спустя, при Екатерине II состояние главного ее фаворита—Потемкина—оценивалось в 50 миллионов рублей тогдашних (не менее десяти миллиардов теперешних). Потомство этой Екатерины от ее первого, по времени, фаворита, Орлова,—графы Бобринские до последнего времени принадлежали к самым богатым людям в России. Карманы были набиты не только у тех, кто услаждал царское тело, но и у тех, кто заботился о царской душе, хотя те получали и поменьше. Царские духовники были все богатые люди: например, у Дубянского, духовника не только последней, но и развратнейшей из Романовых,—Елизаветы Петровны, было 8.000 душ.

---

[1]) Фаворит („любимец")—иностранное слово, введенное вежливыми историками в русский язык, чтобы обозначить людей, физически близких к царским особам. В такой близости к Петру, по общему тогдашнему мнению, состоял и Меньшиков. Но чаще, конечно, фавориты были другого пола, чем царствующее лицо; так как у нас, в XVIII веке, царствовали почти исключительно женщины, то фавориты были мужчины.

Нужно сказать, что и работы у царских духовников было немало. Разве только в уголовном отделении каторжной тюрьмы можно было найти на человеке столько грехов, сколько несли на себе «благочестивейшие, самодержавейшие» российские императоры. Часто темные и невежественные (не все царицы XVIII века были вполне грамотные), окруженные толпой жадных до наживы холопов, сами жадные до власти и денег, они не знали удержу. Всякое их слово было законом, перечить никто не смел. Старая, дороманоьская Русь знала обычаи, которые были обязательны и для царя; торговый капитал, вырвав эти обычаи с корнем, помнил один завет: «не обманешь—не продашь». Ложь и обман составляли суть тогдашней торговли, ложь и обман были сутью русского «высшего» общества XVIII и начала XIX веков. Порядочные люди, даже из дворян, бежали от двора, как от чумы. Петр, прозванный льстивыми историками «Великим», запер жену в монастырь, чтобы жениться на Екатерине, которая раньше была горничной одного пастора (лютеранского священника) в Эстонии. Своего сына Алексея он собственноручно пытал, а потом велел тайно казнить в каземате Петропавловской крепости. Как он усмирял мятежи, мы уже говорили. Он умер (1725 г.) от последствий сифилиса, заразив предварительно и свою вторую жену, которая пережила его только на два года. Трудно, впрочем, наверное сказать, что было причиной ее преждевременной смерти—сифилис или алкоголизм: дорвавшись до царского престола, эта бывшая горничная, не умевшая подписать своего имени, весь день проводила за бутылкой и бо́льшую часть ночи. Сменивший ее внук Петра (сын казненного им царевича Алексея) умер от оспы 15 лет, не успев совершить ни одного преступления поэтому. Его преемница, племянница Петра, Анна, приехала с готовым штатом придворных из Курляндии, где она вдовствовала после мужа, курляндского герцога, и привезла с собою иноземного фаворита, некоего Бирона, из конюхов возведенного сначала в графы, а потом, когда Анна стала императрицей, и в курляндские герцоги. Он и его товарищи грабили Россию, как завоеванную страну. Никогда подати не правились с такой жестокостью: недоимщиков ставили на «правеж», т.-е. били палками, пока не уплатят, не лучше, чем при Грозном. Имя «бироновщины» на долгие поколения стало пугалом. В то же время, по рассказу английского посла (англичане зорко следили за тем, что делалось в России, и по понятной причине), «нельзя было вообразить себе, до какого великолепия русский двор дошел в настоящее царствование, несмотря на то, что в казне нет ни гроша, а потому никому ничего не платят... Все мысли ее величества отданы удовольствиям и заботе о том, какими бы богатствами и почестями осыпать графа Бирона».

Анна назначила своим наследником маленького племянника, Ивана Антоновича, назначила раньше даже, чем он родился. Но бироновская шайка передралась тотчас же после ее смерти.

Воспользовавшись этим, дочь Петра, Елизавета, при помощи роты гвардейских солдат, низвергла маленького императора, ползавшего еще на четвереньках, и воцарилась сама. Но раньше, не надеясь, что дело обойдется так просто, она заручилась союзом с Францией и Швецией; последняя тогда воевала с Россией, и Елизавета, за помощь, обещалась отдать шведам то, что отнял у них Петр. Когда помощь шведов не понадобилась, Елизавета без церемонии обманула их. Это была, как мы сказали уже, развратнейшая из Романовых. Ее «фаворитам» счета не было, и кто только не побывал на этой «должности»: от французского посла Шетарди до учеников кадетского корпуса. Главным был придворный певчий из украинцев, Разумовский. Своих придворных дам она приказывала сечь кнутом на площади и вырывать у них языки за непочтительные отзывы о ее величестве. У ней было 15.000 платьев, а когда она умерла, в казне не было ни одного серебрянного рубля; войскам жалованья платили медной монетой, да и то перелив в нее пушки.

Елизавета тоже оставила престол племяннику, Петру Голштинскому, который стал после ее смерти императором Петром III. Но он усидел лишь несколько месяцев. Это был ничтожный пьяный человек, с замашками унтер-офицера. У него была жена, чрезвычайно хитрая и честолюбивая интриганка, из нищих немецких принцесс, которую подыскала племяннику в жены Елизавета, надеясь на ее послушание и смирение. Она, действительно, притворялась скромной и преданной, торговала тем временем русскими военными секретами (во время Семилетней войны) да, заодно уже с Елизаветой, обманывала своего мужа, подарив ему наследника, в рождении которого он был совершенно неповинен. После отца ее ребенка при ней сменилось еще несколько фаворитов. Когда умерла Елизавета, при ней в этой должности состоял ловкий и смелый гвардейский офицер Орлов, имевший в гвардии огромные связи и огромное влияние. Петр III поссорился, как голштинский герцог, с Данией и вздумал воспользоваться своим положением, как русского императора, чтобы отомстить соседу. Но русская гвардия вовсе не желала проливать кровь за голштинские интересы; Орловы (их в гвардии была целая семья) этим воспользовались. Петр спьяну еще и не разобрал, в чем дело, как был уже свергнут и арестован, а его жена стала императрицей Екатериной II (первой была упомянутая выше жена Петра).

Свергнутый Петр был тотчас же убит в Ропше. У Орловых могли найтись подражатели, от неудобного «претендента» (соперника) надо было избавиться. Насколько Екатерина была предусмотрительна, видно из того, что даже через 15 лет простой донской казак, приняв имя Петра III, смог взбунтовать половину России (см. ниже о Пугачеве). Но сейчас же пришлось вспомнить о другом претенденте: еще жив был в Шлиссельбурге несчастный Иван Антонович, выросший в тюрьме. Один гвардейский офицер, Мирович, вздумал разыграть роль Орлова по отно-

шению к нему. Иван немедленно же был убит, а Мировича схватили и казнили. Вступив на престол через несколько трупов,—при чем одним из них был труп ее мужа,—Екатерина начала «блестящее» царствование. Она была умнее и образованнее всех своих предшественниц, переписывалась с великими европейскими учеными и писателями того времени (Вольтером, Дидро), старалась прослыть покровительницей просвещения и делала это довольно удачно. Но по части разврата она чуть ли не обогнала самое Елизавету. У ней бывало сразу по несколько фаворитов, один главный, другие второстепенные. Когда главным был Потемкин, второстепенных он сам и выбирал. Она умерла 67 лет и до последних дней при ней состоял молодой офицер Зубов. Перед смертью она хотела лишить престола своего сына Павла, которого она ненавидела и который не терпел ее, но не успела этого сделать: умерла скоропостижно.

Екатерина II умерла, окруженная величайшим уважением дворянско-буржуазного общества, и память о «веке Екатерины» свято этим обществом хранилась. Имена городов — Екатеринослава, Екатеринодара, названия учебных заведений (Екатерининский институт), до сих пор употребляющиеся в разговоре, памятники Екатерине в Питере и других местах, тоже еще почему-то стоящие,—все это продолжает о ней напоминать. За что же досталась такая слава развратной и преступной женщине? Конечно, не за то, что она умела читать французские книжки и разговаривать с писателями. Участь царей определялась не их личными свойствами, а тем, нужна ли была и полезна ли была их деятельность тем силам, которые создали капиталистически-крепостническое государство. Мы уже видели, что Екатерина, завоевав северные берега Черного моря, открыла русской пшенице путь в Западную Европу и дала огромный толчок вперед помещичьему хозяйству черноземных губерний. Но этим ее заслуги перед русским торговым капиталом не оканчивались. Она объединила в границах одного государства всю русскую равнину, от Балтийского до Черного моря, приняв участие в так называемых *разделах Польши*.

Польское королевство, как мы помним, тоже было одним из государств, созданных торговым капитализмом, но раньше «Российской империи», и время его давно прошло. Когда-то, в XVI веке, при Иване Грозном, Польша была соперницей Москвы, держала в руках весь бассейн Днепра и прогнала московские армии с берегов Балтийского моря. Казацкая революция XVII века нанесла ей первый удар: Днепр перешел в руки Москвы, захватившей Киев. Петр взял Ригу, и другой выход из восточных областей польско-литовского государства—Западная Двина—также оказался в русских руках. После этого, эти восточные области (Литва, Белоруссия и оставшаяся за Польшей часть Украины—позднейшие губернии: Витебская, Могилевская, Минская, Ковенская, Гродненская, Виленская, Волынская и Подольская) *эко-*

номически зависели не от Варшавы, а от Москвы и от Петербурга; не забудем, что это был век торгового капитализма, когда торговые пути имели решающее значение.

Переход всех этих областей под *политическую* власть наследников Петра был только вопросом времени. Но не только восточные, а и западные области Польши были почти в таком же зависимом положении, только не от России, а от Пруссии: мы помним, что и оттуда выхода к морю не было иначе, как через чужие гавани—Данциг и Кенигсберг. Первый был на бумаге польским, на деле это был немецкий город, «вольный» (т.-е. самостоятельная республика) и больше тянувший, конечно, к Пруссии, а второй и прямо принадлежал пруссакам. Польское дворянство сознавало эту свою зависимость от соседей, которые с начала XVIII века были сильнее Польши. Польский король был тогда не наследственный,—его выбирал дворянский сейм; сначала, чтобы найти себе опору против Пруссии, выбирали курфюрстов (князей) Саксонских, самых сильных государей в восточной Германии после прусского короля. Когда во время Семилетней войны Саксония была разгромлена пруссаками, бросились к России и выбрали Станислава Понятовского, одного из фаворитов Екатерины II. Но личная близость польского короля к русской царице не помогла. Когда Пруссия предложила Екатерине поделить Польшу, Екатерина охотно пошла на этот план: слишком уж было нелепо упустить случай объединить в руках одного торгового капитала, русского, всю восточную половину Европы. Население восточных областей Польши было русское, польскими там были только помещики и чиновники, которых русское начальство на первое время не тронуло (конфисковав, однако, имения тех, кто сопротивлялся России; из этих имений получали свое приданое екатерининские фавориты),—словом, раздел тут не встретил сильного противодействия, страна сдалась почти без боя. Иначе дело пошло на западе, где население было сплошь польское. Там пруссаки и помогавшие им русские наткнулись на ожесточенное сопротивление. Это повело к новым войнам и новым разделам, пока (в 1795 году, а начались разделы в 1772 году, поэтому, когда хотят определить Польшу *до* разделов, говорят о границе 1772 года) польское королевство вовсе не перестало существовать, как самостоятельное государство. Русскими войсками совершено было тут много жестокостей; особенной свирепостью отличался штурм Праги (предместья Варшавы на правом берегу Вислы). С тех пор началась ненависть поляков к русским. Но выиграли от этих разделов больше Пруссия, которой окончательно достался Данциг, досталась и польская столица, Варшава, и Австрия, получившая Галицию. Россия же только прибавила к украинским и белорусским губерниям Курляндию, до которой она, как мы видели, давно добиралась.

Если прибавить ко всему этому, что Екатерина и внутри империи ревностно распространяла и в ширину, и в глубину

крепостное право, столь необходимое торговому капиталу,—сделала власть помещиков почти неограниченной, запретив принимать жалобы на них от крепостных, ввела крепостное право в украинских губерниях, где раньше зависимость крестьян от помещиков была не так велика, как в Великороссии, наконец, подавила чрезвычайно опасное для помещиков пугачевское восстание (см. об этом ниже), мы поймем, почему дворянство и буржуазия ее любили, несмотря на все ее грехи. И мы поймем также судьбу ее сына. Павел Петрович не терпел своей матери, ему очень не нравилось, что придворное, помещичье общество ее любило, и он терпеть не мог помещиков и придворных Екатерины. Он был душевнобольной человек, страдал бредом преследования, ему везде мерещились заговоры и революция (как на грех, это было именно во время великой французской революции, до холодного пота напугавшей всех государей Европы); естественно, что он видел заговорщиков и революционеров в тех, кого он терпеть не мог. Он тысячами выгонял офицеров со службы, ссылал сотнями в Сибирь «подозрительных» дворян, восстановил телесное наказание дворян, отмененное Екатериной, запрещал даже употреблять слова, которые казались ему революционными. Так, он не выносил слова «представители» и выгнал однажды из своей коляски придворного, который осмелился произнести это слово. Было строго запрещено одеваться по французской моде, потому что во Франции была революция. Под конец своей жизни он построил себе, посреди Петербурга, укрепленный замок, окруженный рвом, и жил там, как в осажденной крепости.

Все это не помешало ему подвергнуться той же участи, какую испытал Петр III: он был убит в этом своем замке гвардейскими офицерами (11 марта 1801 года). Но эта участь постигла его не за его сумасбродства: его младший сын, Николай I, был, как увидим, не многим менее жесток, а на его жизнь никто из придворных и не думал покушаться. Но Павел, ко всему прочему, вел политику, вредную для интересов дворянства и торгового капитала. То было время начала хлебной заграничной торговли и чудовищного развития барщины: помещик старался выжать из крепостного крестьянина как можно больше «прибавочного продукта». Павел вздумал ограничивать барщину, издал указ, запрешавший принуждать крепостных работать больше 3 дней в неделю. Раздел Польши, мы видели, был выгоден торговому капиталу: Павел начал покровительствовать полякам, освободил сидевшего в заключении героя последней польской войны Костюшку, а генерала, взявшего Прагу, Суворова, выгнал в отставку. Все это он делал без всякого расчета, просто по своей взбалмошности, но всем этим он отталкивал от себя правящие классы русского общества. Но окончательно возбудила против него эти классы его *внешняя политика*. Сначала он смирно шел на поводу у Англии, в союзе с ней воевал против революционной Франции: это было приятно ему, потому что он боялся революции,

и привычно для русского дворянства, которое экономически было тесно связано именно с Англией (см. предыдущую главу). Война шла в общем удачно, Суворов, которого для этого пришлось взять опять на службу, одержал несколько побед, но вдруг Павел, по чисто личным причинам, поссорился со своей союзницей и променял английский союз на французский. Русские гавани были закрыты для английских кораблей, а с Францией начались сношения. Это так возмутило высшее русское общество, что заговор сложился, можно сказать, сам собою, при чем во главе его стал родной сын Павла, Александр, любимый внук Екатерины, которого поэтому его отец очень не любил.

И этот царь Александр I (прозванный льстецами «благословенным») вступил на престол через труп, притом через труп родного отца. После сыноубийцы и мужеубийцы на русском троне должен был оказаться и отцеубийца. Напуганный примером отца, Александр держался английского союза, пока только можно было. В союз с Францией его загнала горькая необходимость, и он поспешил от него отделаться, как только представилась возможность (см. выше). Дворянству он всячески льстил, всячески за ним ухаживал, особенно до победы над Наполеоном, которая сделала его самостоятельнее. Вообще в первую половину своего царствования он старался подражать Екатерине, между прочим и в покровительстве просвещению (при нем было основано несколько университетов—в Петербурге, Харькове и Казани; первый в России университет, Московский, был основан еще при Елизавете Петровне).

Блестящие победы (русская армия дважды, в 1814 и 1815 г. г., вступала в Париж) вскружили ему голову. Он стал смотреть на себя, как на главу всех европейских государей, образовал «священный союз», который современники правильно назвали «союзом лицемерия и тиранства»; он будто бы должен был содействовать поддержанию всеобщего мира, а на деле был полицейским орудием для борьбы с революцией. Все время Александр посвящал своей армии, все более и более превращаясь в «венчанного солдата», как назвал его Пушкин. Во главе государства он поставил настоящего, не венчанного солдата—Аракчеева. Вместе с Аракчеевым он придумывал знаменитые «военные поселения», сделав поголовно наследственными солдатами несколько сотен тысяч государственных (не крепостных) крестьян. Это должно было сразу и удешевить армию, так как солдаты-крестьяне сами себя содержали, и создать особое военное сословие, отрезанное от всего остального общества и всегда находящееся в распоряжении царя против всех его врагов внешних и внутренних. Крестьяне не желали итти в эту военную каторгу, сопротивлялись; сопротивление было подавлено самыми жестокими мерами: тысячи крестьян были перепороты, сотни засечены до-смерти. По этому случаю Александр произнес свои знаменитые слова: «военные поселения будут, хотя бы пришлось уложить трупами всю

дорогу от Петербурга до Чудова» (в Новгородской губернии,—там начиналась полоса военных поселений).

Та же забота о первенстве в Европе привела Александра и к дальнейшим захватам на западе. После победы над Наполеоном, он потребовал себе, как награды, той части Польши, которая по разделам отошла к Пруссии, а Наполеоном, когда он в 1806 году разгромил пруссаков, была превращена в самостоятельное «герцогство Варшавское» (из вежливости именно к Александру Наполеон не восстановил названия «королевства Польского»). В противоположность завоеваниям Екатерины II, эта часть Польши (среднее течение Вислы) *экономически* России совсем не была нужна. Напротив, она для развития промышленного капитализма в России была даже стеснительна: более развитая польская промышленность забивала великорусскую, и чуть не в конце XIX века московские и владимирские фабриканты с воплями требовали, чтобы их оградили от конкуренции лодзинских фабрик. Но она была нужна Александру *стратегически* (с военной точки зрения). Врезываясь клином в Германию, ставя русскую армию на несколько переходов от Берлина и Вены, «царство Польское» делало русского императора господином всей средней Европы, а прусского короля и австрийского императора ставило от него в зависимость. Оттого Александр старался возможно прочнее усесться на Висле и всячески подлаживался к полякам, как раньше к русскому дворянству. «Герцогство Варшавское» не превратилось в несколько русских губерний, а стало особым царством (на иностранном языке это переводили «королевством»), со своим особым управлением, особым войском, только государь у этого особого царства и старого русского царства был один—Александр. Для того, чтобы еще больше привязать к себе своих новых поданных, Александр дал «царству Польскому» конституцию, т.-е. согласился на ограничение своей власти сеймом. Ограничение, конечно, осталось на бумаге, а на деле Александр нарушал польскую конституцию ежеминутно, но прошло довольно много времени прежде, чем поляки в этом разобрались, а пока что власть нового «короля» успела пустить глубокие корни. Притом до такого безобразия, как в России, произвол в царстве Польском все же никогда не доходил при Александре; сравнял польские и русские порядки только его преемник Николай I.

Заботы Александра о его власти над Европой сильно раздражали русское дворянство и буржуазию. Раздражение особенно усилилось благодаря польской политике Александра. Стали говорить, что он влюблен в Польшу, а Россию ненавидит. Даже купцы в петербургском гостином ряду толковали, что уж если Польше дали конституцию, надо ее дать и России. Среди русского офицерства было такое озлобление, что поговаривали об убийстве Александра. Это много помогло образованию в последние годы его царствования военного заговора, известного под именем «заговора декабристов», потому что он разразился 14 де-

кабря 1825 г., но начался он в 1821 году, а подготовляться стал еще раньше, с 1816—1817 г. г. [1]). Александр не дожил до открытой вспышки заговора, он умер 19 ноября 1825 г.

Его наследником стал его младший брат, Николай Павлович, которого мы отчасти уже знаем. Он понял ошибку Александра и повернул внешнюю политику в том направлении, в каком нужно было русскому промышленному и торговому капиталу: стал «вооруженною рукою пролагать для русской торговли пути на Востоке», Польшу сравнял с Россией, воспользовавшись неудачной польской революцией 1830—1831 г. г., а в дела Западной Европы остерегался вмешиваться, хотя у него очень руки чесались раздавить и французскую революцию 1830 г. (т. наз. «июльскую», низвергнувшую во Франции господство земельной аристократии, водворившееся там после падения Наполеона, и поставившую у власти крупных фабрикантов и банкиров: их управление привело к новой революции 1848 года). Военные поселения он также не распространял дальше, и Аракчеева уволил, но аракчеевские порядки сохранились во всей неприкосновенности. Почему так было, об этом уже говорилось раньше (см. стр. 85).

Николаевское царствование было промежуточным царствованием. Промышленный капитализм уже был налицо и боролся за власть с торговым, но последний пока был настолько силен, что не шел ни на одну явную уступку, стараясь закупить своего соперника тайными поблажками. Наиболее откровенным способом подкупа была внешняя политика, о которой уже говорилось. Но промышленному капиталу нужны были не только новые рынки, ему нужен был, во-первых, свободный рабочий, а, во-вторых, ему нужен был «грамотей десятник», нужна была интеллигенция, чтобы управлять этим рабочим, организовывать промышленность и руководить ею. При Николае у нас основан технологический институт, возникли «реальные» гимназии, где основой преподавания были математика, физика, естественные науки, коммерческие училища; были попытки улучшить университеты, подготовляя преподавателей для них в заграничных университетах; это отчасти и удалось. 1840 годы были блестящим временем для Московского университета. И рядом с этим главное место отводилось классическим гимназиям, где в основу были положены никому не нужные древние языки, главным образом, латинский. Из учеников старались воспитать исправных чиновников (для чего в старших классах преподавалось законоведение) и внушить им преданность «православию, самодержавию и народности». Выучившихся в заграничных университетах профессоров держали под строгим надзором; разрешение прочесть самую невинную публичную лекцию об Александре Македонском, о Тамерлане давалось с величайшим трудом, почему, разумеется, всякая такая лекция

---

[1]) Подробнее о заговоре декабристов см. ниже, глава „Революционная буржуазия“.

становилась чуть не революционным событием. Напечатать ничего нельзя было без разрешения цензуры, что заставляло писателей прибегать к «эзоповскому» языку, а читателей учило понимать с полуслова и читать между строк. Писалась статья об австрийском министре финансов Бруке, а все знали, что речь идет о русском министре финансов Броке. Нельзя, разумеется, и подумать было напечатать что бы то ни было об освобождении крестьян, нельзя было даже назвать прямо крепостное право: вместо него употреблялось выражение «обязательная рента», а статья озаглавливалась «о причинах колебания цен на хлеб в России». Все знали, что в ней говорится именно о крепостном праве и ни о чем больше.

Около крепостного права всего больше хлопотал и Николай I, но хлопотал тайком, пуще всего боясь, как бы это не огласилось и не стало известно, Боже сохрани, прежде всего помещикам, а затем самим крестьянам. С первого же года своего царствования, 1826 года, он созывает один комитет по крестьянскому вопросу за другим, и все эти комитеты были *секретные*. В своем кабинете он украдкой показывал своим приближенным шкап: «Здесь документы,—говорил он,—с которыми я поведу процесс против рабства». Но дальше его приближенных—и то самых доверенных—никто этого шкапа не видел. Только раз он решился поговорить об этом вопросе «келейно» со смоленскими помещиками, но натекнувшись на сопротивление, струсил и не настаивал. Вообще своим характером этот «железный» государь, «царь-рыцарь», очень напоминал пословицу—«молодец среди овец, а на молодца и сам овца». Из его хлопот по крестьянскому делу ничего, разумеется, не вышло, вышел только закон об «обязанных» крестьянах, *позволявший* помещикам не освобождать крестьян совершенно, а только отказываться от права на их *личность*. «Обязанные» крестьяне не могли быть продаваемы поштучно, как скот, нельзя было менять их на собак, по произволу брать во двор и т. д., но они по-прежнему должны были работать на барина, платить ему оброк, то и другое только в определенном размере (определенном самим помещиком). Словом, всякий не спившийся с ума барин делал именно то самое, что ему позволял этот закон: можно спросить, кто захотел бы таскаться по канцеляриям, чтобы на бумаге закрепить то, что и так ему никто делать не мешал? Это было все равно, что издать закон, разрешающий ходить ногами, есть ртом и т. д. Не мудрено, что желающих воспользоваться «благами» нового закона почти не нашлось, только некоторые придворные Николая, из холопства, перевели своих крестьян в обязанные; крестьяне остались к этому благодеянию совершенно равнодушны.

Спрашивается, почему же Николай топтался на месте в этом вопросе, важность которого он понимал? Конечно, не только потому, что у него характера не хватало. Мы видим, что там, где хозяйственные условия *требовали* освобождения, как

это было с крепостными мастеровыми на фабриках, освобождение и совершилось безо всяких затруднений и без обсуждения вопроса семьдесят семь раз в секретных комитетах. Не характер Николая определял положение, а положение определяло характер и его самого и всего окружавшего его общества. Промежуточное положение, борьба между новым, которое стучалось в дверь, и старым, которое упорно не хотело отпирать, всех «властителей» тех дней делало промежуточными существами, которые думали и говорили одно, а делали другое. Это приводило к страшному развитию в тогдашнем высшем обществе *лицемерия*.

Лицемерие пропитывало все николаевское общество сверху донизу. Лицемерие самого Николая воплотилось всецело в одном факте: когда в Сибири поймали шайку разбойников, долго наводившую ужас на целую губернию, губернатор предложил их казнить. Николай написал на донесении губернатора: «В России, славу Богу, нет смертной казни, и не мне ее восстановлять, а дать каждому из разбойников по 12.000 палок». Здесь все было ложью. Во-первых, смертная казнь в России, по приговору военных, чрезвычайных и т. д. судов существовала, и Николай начал свое царствование с подписания смертного приговора пяти вождям «декабристов», а, во-вторых, больше 3.000 палок никто, самый здоровый человек выдержать не мог,—12.000 означало верную смерть задолго до окончания наказания (в этом случае на тележке возили и били палками уже труп). Николай это прекрасно понимал, конечно, но не поломаться не мог. Лицемерием была пропитана вся его личная жизнь. Он был, конечно, так же развратен, как все его предшественники и предшественницы. У него была постоянная фаворитка, с которой его законная жена, Александра Федоровна, была в большой дружбе,—до того это считалось естественным. Но, кроме того, к его услугам был целый гарем из придворных дам и девиц (фрейлин), балетных танцовщиц и т. д. Мужья и отцы, как чумы, боялись николаевского двора; поэт Пушкин пал жертвой ужасной обстановки, которая складывалась для людей, имевших красивую жену и в то же время имевших несчастье принадлежать к придворному кругу. И вот, создавший такую обстановку Николай перед людьми разыгрывал самого примерного семьянина. На людях он самым почтительным образом относился к своей «законной жене», был самым нежным отцом семейства, разыгрывал целые комедии «семейного счастья» за утренним кофе или вечерним чаем, на елке и т. под. Его холопы потом с умилением вспоминали эти картины на старости лет; это были «самые светлые воспоминания» их жизни. Это лицемерие он выдержал до самого конца: после того, как он перед смертью исповедался и приобщился, в его комнату больше не пускали фаворитку, вход туда имела только императрица.

Это лицемерие, пропитавшее всю его жизнь, и делало больше всего николаевское царствование таким тяжелым и гнетущим. Под конец Николай опротивел даже тем, кто от его порядков кормился.

богатый помещик и откупщик [1]) Кошелев рассказывает в своих записках, что во время Севастопольской войны он и его знакомые не особенно огорчались поражениями русской армии, надеясь, что военная неудача так или иначе положит конец николаевскому царствованию. Можно себе представить, что это было за царствование, которое даже богатых буржуа делало пораженцами! Когда Николай умер, необходимость перемены сознавали все, не исключая его ближайших помощников. Один из вернейших его слуг, князь Орлов, дрожа от страха, сел на кресло председателя главного комитета по крестьянскому делу, и хотя после каждого малейшего движения вперед этого дела он в ужасе бежал к Александру II и впадал перед ним в истерику, реформа все же совершилась, и крестьяне были освобождены, насколько позволил торговый капитал. Экономические причины и последствия падения крепостного права мы видели, и к этому не будем возвращаться. Но одной экономической стороной дело не могло ограничиться: экономическая перемена тянула за собой ряд других. Крепостническое государство, создание торгового капитала представляло собою целую систему управления. Когда вынули или, по крайней мере, сильно пошатнули краеугольный камень—крепостное право, все здание должно было пошатнуться и дать трещины.

Крепостное право было только самым главным способом «внеэкономического принуждения» мелкого самостоятельного производителя к тому, чтобы он выдал свой прибавочный (а иногда и необходимый) продукт. Но мы уже видели и другие способы, например, подати. Суть была в том, чтобы опутать мелкого производителя—крестьянина или ремесленника—такой густой сетью всевозможных стеснений и ограничений и так его запугать при этом, чтобы ему, что называется, податься было некуда. Этой цели и достигало крепостническое государство со всеми его порядками, оно прежде всего брало все мужское население на учет, от времени до времени, поверяя его наличность, это называлось «ревизиями» (что значит, именно, «поверка», «пересмотр»). По ревизии — первая была при Петре—крестьянин записывался за тем или другим помещиком: имение тогда и оценивалось количеством «ревизских душ» (в просторечии просто «душ»), которые к нему были приписаны. Помещик отвечал за то, чтобы приписанные к нему крестьяне не разбежались и платили исправно подушную подать. За это они отдавались в полное распоряжение помещика. Он их судил и наказывал, вплоть до ссылки в каторжную работу. А жаловаться на него крестьяне не смели под страхом жесточайшего телесного наказания; за подачу челобитной государю на помещика как «сочинитель» челобитной (тут надо припомнить, что крестьяне того времени были почти поголовно безграмотны, стало-быть, сами

---

1) Откупщиками, как мы помним, называли тех капиталистов, которые „брали на откуп“ продажу водки в той или другой губернии, т.-е. платили государству всю сумму налога на водку, и за это получали право спаивать народ, наживая огромные барыши.

написать прошение не могли), так и подавшие ее крестьяне подлежали наказанию кнутом (мы сейчас увидим, что это такое) и ссылке в Нерчинск «в вечную работу». Так гласил указ «просвещенной» Екатерины II, изданный вдобавок в то время, когда она, по уверению буржуазных историков, была «либеральна» и созывала нечто в роде дворянского парламента, так называвшуюся «комиссию для сочинения нового Уложения» («Уложение», т.-е. сборник законов, было издано при втором Романове, Алексее Михайловиче, отце Петра I, и потом не проходило царствования, чтобы не собирались писать нового, но из этого ничего не выходило, пока Николай I не додумался до идеи просто собрать вместе все указы, издававшиеся в разное время разными царями, и, выбрав важнейшие, назвать их «Сводом законов»).

Вооруженный всеми средствами, чтобы запугать крестьянина, помещик широко этими средствами пользовался. Ссылал он редко: невыгодно было терять рабочую силу. Но он пользовался предоставленным ему правом наказания, чтобы бить крестьянина, и бил жестоко. За малейшую провинность палки, плети и розги сыпались на крестьянскую спину сотнями и тысячами. Исконными русскими наказаниями были палки (батоги) и плети, а розги пришли к нам с просвещенного Запада, от немецких помещиков Прибалтийских губерний: все находили что розги — наказание столь же мучительное, но будто бы менее вредное для здоровья, чем палки. Русские помещики сначала злоупотребляли этой «мягкой» формой наказания и назначали розги тысячами и десятками тысяч. Только постепенно они убедились, что розгами можно даже вернее засечь человека, чем палками. За этот опыт, вероятно, поплатилась жизнью не одна тысяча крестьян, но ничем не поплатился ни один помещик. Ибо, хотя и не было закона, разрешавшего помещику убивать крепостных, на деле судили только за убийство, в прямом смысле этого слова, из «собственных рук» барина (да и то из десяти таких дел до суда доходило одно), если же крестьянин умирал от последствий жестокого наказания, помещик всегда почти оказывался прав, а виноваты те, кто наказывал, крепостные же кучера и лакеи. Как будто они смели ослушаться помещика!

Бить крестьянина считалось таким же обычным делом, как хлестать кнутом лошадь, чтобы скорее ехала. Об этом безо всякого стыда рассказывают интеллигентные помещики XVIII века, как, например, автор известных «записок» и образованный сельский хозяин Болотов, который сек крестьянина пять раз под ряд, чтобы тот назвал своего сообщника в воровстве. Крестьянин упорно молчал или называл людей, не причастных к делу; тех тоже секли, но, разумеется, ничего не могли от них добиться. Наконец, опасаясь засечь вора до смерти, Болотов «велел окрутить ему руки и ноги, и, бросив в натопленную жарко баню, накормить его насильно поболее самою соленою рыбою и, приставив строгий к нему караул, не велел ему давать ничего

пить и морить его до тех пор жаждою, покуда он не скажет истины, и сие только в состоянии было его пронять. Он не мог никак перенесть нестерпимой жажды и объявил нам, наконец, истинного вора, бывшего с ним в сотовариществе». Один раз истязаниями Болотов довел одного своего крепостного до самоубийства, а другого до покушения на убийство самого Болотова. Но совесть этого просвещенного человека, написавшего книжку «Путеводитель к истинному человеческому счастью», и тут осталась совершенно спокойна; а «сущими злодеями, бунтовщиками и извергами» оказались у него замученные им люди.

А если домашних средств помещика, розог, «кормления селедкой» и т. д. не хватало, и крепостной, не боясь всего этого, шел до покушения на помщеика или чего-нибудь в этом роде,— на сцену выступал общегосударственный суд с теми же мучительствами, но несравненно крупнее. Суд этот был опять-таки помещичьим: его председатель и товарищ председателя были выборные от дворянства, а «заседатели» из крестьян (не крепостных) играли при дворянах роль сторожей и рассыльных,—мели иной раз полы и т. под. До царствования Екатерины этот суд мог применять *пытку*. Она начиналась с того, что несознавшегося арестанта поднимали на закрученных назад руках на дыбу, при чем от тяжести тела руки сейчас же выскакивали из суставов. Если эта адская боль не заставляла «признаться», его начинали бить кнутом. Не следует думать, что это было невинное орудие, которое теперь употребляют крестьяне и извозчики, чтобы подогнать лошадь. Кнут «заплечного мастера» (палача) был тяжелейшей ременной плетью, конец которой был обмотан железной проволокой и облит клеем, так что представлял собою нечто в роде гири с острыми углами. Эта остроугольная шишка рвала не только кожу, но и мускулы до костей, а тяжесть кнута была такова, что опытный «мастер» мог с одного удара перешибить спинной хребет. Это он проделывал, конечно, не на пытке (там это было нерассчетливо), а во время наказания: ибо кнут служил средством не только добывания истины, но и расправы с осужденными. Если на пытке и кнут не достигал цели,—применялись дальнейшие средства: раздавливали пальцы особыми тисками, сжимали голову веревкой так, что пытаемый приходил «в изумление», наконец, жгли горящими вениками.

Из лицемерия перед Западной Европой, которая притворялась, что приходит в ужас от московитского варварства, хотя там торговый капитал пользовался точно такими же средствами устрашения [1]), Екатерина II отменила официально пытку. Не официально она применялась еще долго спустя,—в политических процессах, по некоторым сведениям, до 60-х годов, т.-е. еще

---

[1]) Кнут, дыба и т. п. имелись, например, в австрийском и прусском законодательствах. А один очень мучительный вид смертной казни—колесование (раздробление костей тяжелым колесом)—пришел к нам именно с Запада, где он применялся во Франции, например, до революции.

при Александре II. Это касается *судебной* пытки; что касается жандармов и охранки, то они, как всем известно, пытали еще в 1905—1907 годах, да, вероятно, и позже, так что приличие было соблюдено только на бумаге.

Но и на бумаге не нашли нужным отменять *наказания* кнутом, и это несмотря на то, что оно очень часто кончалось смертью наказываемого, а смертная казнь, опять-таки на бумаге, была отменена еще Елизаветой Петровной. Рассказывали, что эта императрица, идя во дворец с гвардейцами арестовывать маленького Ивана Антоновича, так трусила, что дала обет в случае удачи никого не казнить. Мы помним, что ради той же удачи она заключила договор и с врагами России—шведами. Овладев престолом, она обманула и шведов и господа бога: отперлась от своих обещаний и заменила виселицу кнутом. Результат был тот же, мучился несчастный даже больше, но зато на бумаге не было слова «смертная казнь», а только число ударов кнута. Все знали, что если это число больше двух-трех десятков, это—верная смерть, а назначали и 120 ударов, да притом опытный палач мог, как мы знаем, убить и с одного удара, ежели начальство прикажет. А ежели начальство не желало смерти осужденного, да тот еще был вдобавок человек богатый, мог дать взятку палачу, так он и после большого числа ударов оставался жив и даже почти здоров. Очень гибкое было наказание и потому вдвойне удобное. Для дворян, впрочем, Екатерина совсем отменила кнут,—он остался только для «подлых» людей. Ее сын, Павел, восстановил кнут и для дворян, да кстати придумал и замену кнуту, введя для военных *прогоняние сквозь строй*. Осужденного вели между двумя рядами солдат, вооруженных палками; каждый должен был нанести удар, и начальство смотрело, чтобы били, как следует. Прогоняли через батальон, т.-е. 1.000 человек, и через полк, т.-е. 4.000 человек; последнего, как и 100 ударов кнутом, никто не выдерживал; это опять была замаскированная, лицемерная форма смертной казни.

Все эти истязания производились *публично*, чтобы больше запугать народную массу. Но для той же цели судопроизводство было облечено строжайшей тайной. Не только судили всегда при закрытых дверях, но в зале заседания не было ни защитника, ни даже самого подсудимого. Перед судьями были его записанные показания да показания свидетелей, тоже в письменном виде; на основании всего этого и произносился приговор, и подсудимого приводили только для того, чтобы ему этот приговор прочесть. Тайна строжайше охранялась, выдача простой справки из дела считалась уголовным преступлением. Само собою разумеется, что нельзя и придумать лучшей почвы для злоупотреблений, чем такая обстановка; за деньги в этом суде все можно было сделать: самого явного преступника могли оставить «в сильном подозрении» и отпустить на все четыре стороны. И это совершенно естественно, если подумать: суд имел целью

охранять интересы торгового капитала и капиталистов; человек, могущий дать взятку, имеет, очевидно, деньги в кармане, значит, скорее принадлежит к тем, кого охраняют, чем к тем, от кого охраняют. Как же ему не помирволить? Как было распространено взяточничество, прекрасно знают все из литературы (из «Мертвых душ» и «Ревизора» Гоголя, например; только там, по условиям цензуры времен Николая I, когда писал Гоголь, могли быть приведены лишь самые *мелкие* случаи взяток; но в крупных делах, о которых нельзя было говорить печатно, было, разумеется, то же самое). Дать взятку судейскому чиновнику было таким же обычным делом, как дать на чай швейцару или дворнику: при Николае I сам министр юстиции, Панин, давал взятки, когда у него бывали дела, при чем давал их даже в тех случаях, когда он был совершенно прав и дело по закону должно было решиться в его пользу. Привычка—вторая природа.

Тайна висела не только над судебным разбирательством, тайною была окутана вся жизнь крепостнического государства. Торговля вся построена на секретах: купцы скрывают друг от друга, от покупателей действительную стоимость товара, его происхождение, его количество и т. д. Торговые книги—святыня торгового дома, которую показывают только людям, пользующимся полным доверием хозяина. Таким же секретом проникнута и жизнь государства, созданного торговым капиталом. Роспись государственных доходов и расходов, например, тогда не печаталась и ее никто не знал, кроме царя и нескольких министров. Все заседания высших государственных учреждений были закрытые, а наиболее важных из них—даже секретные: разгласить то, что происходило на таком заседании, было преступлением побольше того, чем дать судебную справку. Не допускалось огласки самых обыкновенных фактов, если они имели отношение к государственной власти и ее представителям, хотя бы самым мелким. Герцена выслали из Петербурга за то, что он написал в письме к своему отцу, что один *городовой* убил прохожего. Другой случай еще лучше. В день именин императрицы Александры, жены Николая I, в Петергофе устраивалась роскошная иллюминация, на которую из Петербурга съезжались тысячи зрителей; раз два парохода с такой публикой столкнулись, и один утонул. Много людей погибло, но об этом говорили шопотом; так как тут замешались именины императрицы, дело огласке не подлежало. На всякой, мало-мальски важной, деловой бумаге стояла надпись: «секретно». Это сохранилось до новейшего времени на бумагах дипломатических, касавшихся сношений с другими государствами: в министерстве иностранных дел до 1917 года не секретных бумаг не было, так что, когда хотели обозначить что-нибудь действительно подлежащее тайне, то писали «только для министра» (или «для вас»), «совершенно доверительно» и т. п.,

потому что слово «секретно» уже ничего не выражало,—все было секретно.

Хранителем этой государственной тайны было *чиновничество*. Чиновничество или бюрократия (варварское слово, составленное из двух: французское «бюро», что значит письменный стол, а также кабинет, и греческое «кратос», что значит сила; по-русски—«столоправление» или «кабинетовладычество») составляет такую же необходимую принадлежность крепостнического государства, как варварская система наказаний или канцелярская тайна. При тайном закрытом производстве все делается на бумаге. Как при демократии выдвигаются люди, умеющие говорить, а в феодальном мире выдвигались люди, умеющие хорошо драться, так при господстве торгового капитала выдвигаются люди, умеющие писать: не просто хорошо писать, не писатели, а умеющие хорошо писать «деловые бумаги», т.-е. запутанным и крючкотворным языком излагавшие «государственную тайну». Эта чиновничья тарабарщина само по себе была секретом, отделявшим государственные дела от непосвященных. Не только простые грамотные люди, но начальство, не прошедшее чиновничьей школы, не понимало тех бумаг, которые оно подписывало. Никакой университет не мог непосредственно сам по себе подготовить к чиновничьей карьере: кончившего курс наук молодого человека засаживали в канцелярию за переписку бумаг, пока он постепенно овладевал тайнами «делового» слога. Прослуживший 30 лет старый крючкотворец был здесь гораздо сильнее, чем доктора всех наук. Созданный торговым капиталом и крепостным правом для их потребности, своим крючкотворным секретом чиновник властвовал над ними: слуга становился сильнее своих господ. Купец жаловался на засилье чиновника, помещик лебезил перед ним или скрежетал зубами от бессильного бешенства. «Чиновник-бюрократ и член общества суть существа совершенно противоположные», писал один дворянин во время крестьянской реформы.

Чиновничество появляется у нас одновременно с торговым капиталом, еще в московской Руси. Тогдашние чиновники, *дьяки* заключали в себе уже все особенности будущего «бюрократа», как зерно заключает в себе все будущее растение. Люди совсем незнатного происхождения (первые дьяки нередко бывали и из холопов), они держали в руках огромную власть,—иностранцам главные дьяки, «думные», казались прямо «царями»,—наживали огромные богатства, строили себе «палаты каменные такие, что неудобь сказаемые», жаловалось тогдашнее купечество. В конце-концов наиболее удачливые из них пролезали в знать: в смутное время, во дни царя Владислава, дьяк Федор Андронов правил государством, при первых Романовых дьяки командовали боярской Думой и при третьем Романове девушка из дьячей фамилии сделалась царицей: первой женой Петра (которую он потом запер в монастырь) была Лопухина, а предком Лопухиных был дьяк. При Петре чиновничество, усиленное вызванными из-за границы

специалистами этого дела, окончательно сорганизовалось. Все служащие государству были распределены по «табели о рангах» на 14 классов, самым низшим был «регистратор», записывавший входящие и исходящие бумаги, а наверху всего стояли «тайные» и «действительные тайные советники», своим названием лишний раз напоминавшие об основании, на котором держалась вся система,—«государственной тайне». Значение человека в обществе мерилось тем, какое место в тебели о рангах он занимал, какой чин на нем был. Для знатнейшего дворянства дело уравнивалось тем, что оно получало чины, не служа. Но провинциальные помещики всецело зависели от местных крупных чиновников. Назначенный из Петербурга чиновник, губернатор, мог и арестовать дворянина. Провинциальное дворянство могло поэтому защищаться от «засилья бюрократии» только коллективно: дворяне каждого уезда и каждой губернии выбирали себе *предводителя*, с которым и губернатор должен был считаться, а дворянские собрания имели право посылать жалобы прямо царю, минуя чиновников.

Когда Севастопольская война поставила вопрос о «реформах», реформы не могли ограничиться крепостным правом: они должны были захватить и полицию, и суд, и «бюрократию». Последняя и оказалась тем прочным скелетом, который выдержал натиск «реформ» и сохранил, в общем и целом, власть за торговым капиталом. Больше всего крепостническому государству пришлось пожертвовать в области *суда*. Не только промышленный, но и торговый капитал не могли не задуматься над тем, во что им обойдутся взятки при том размахе, какой должна была теперь принять экономическая жизнь страны. При сравнительно небольших прежних торговых оборотах можно было обойтись десятками и сотнями тысяч, теперь дело пахло десятками миллионов; на такое уменьшение своих барышей капиталист не мог итти. Взятке была объявлена беспощадная война. Взяточника травили везде—в газетах, журналах, комедиях, романах, повестях. Уже Николай I,—мы помним, что он одной ногой стоял в новой, промышленной России, а другой—в старой, торговой,—должен был допустить обличение мелких взяточников («Ревизор» и «Мертвые души» Гоголя). Он же должен был отказаться от кнута (сохранив плети и «сквозь строй»), и в его же царствование, к концу, был составлен проект судебной реформы на новых началах, но у него, как водится, не хватило храбрости провести проект в жизнь. Когда отменили крепостное право, николаевский проект казался уже устаревшим. Судебная реформа Александра II пошла гораздо дальше его. Она ввела в России почти западно-европейские (т.-е. свойственные развитому промышленному капитализму) формы судопроизводства. Закрытый суд сменился публичным, гласным; производство исключительно на бумаге заменилось устным судоговорением. Наконец, приговор по важнейшим уголовным делам произносили не чиновники, а присяжные, взятые из среды

самого общества. А для менее важных дел были введены выборные «мировые судьи».

Само собою разумеется, что о «величии» судебной реформы буржуазные писатели кричали еще громче, нежели о «бескорыстности» крестьянской. Лжи тут было, пожалуй, чуть-чуть меньше: судебная реформа была самой удачной из реформ 60-ых годов, особенно, если принять в расчет, что одновременно были отменены совершенно телесные наказания по суду (только крестьянские, волостные суды, находившиеся, как мы знаем, под дворянской командой, сохранили право употреблять розги). Но все же не нужно забывать, во-первых, что реформа вполне серьезно ограждала интересы только буржуазии: присяжными в городе могли быть только люди, имевшие определенный доход (жалованье и т. п.), значительно превышавший заработную плату обыкновенного рабочего или даже мелкого служащего. В присяжные в городе попадала, таким образом, только буржуазия. Из крестьян в присяжные допускались только те, которые раньше занимали какую-нибудь должность в крестьянском «самоуправлении», т.-е. были основательно вышколены дворянским «мировым посредником». Масса трудового крестьянства и тут была устранена от дела. Мировые судьи тоже могли выбираться лишь из людей, имевших некоторое состояние. А главное, новая форма суда, столь хваленые «устное и гласное судопроизводство», «состязательный процесс», как нарочно, были устроены для богатых. Чтобы говорить на суде публично, нужно было некоторое образование, знание судебных формальностей, наконец, просто привычка. Где все это было взять рабочему или крестьянину? А в гражданском суде, где тягались о деньгах, о земле, нужно было знать законы о собственности, а законы эти оставались старые, где сам чорт ногу сломал бы. Нового уложения и тут не удосужились написать. Богатые люди могли себя ото всего этого избавить, наняв адвоката, образованного юриста, который постоянно ходил по судам и знал все их тонкости. Беднякам давали защитников по назначению от суда, и это были, большею частью, молодые начинающие адвокаты, а старые и опытные старались кое-как спустить дело, не сулившее им «гонорара». На судебном состязании буржуа таким образом был гораздо лучше вооружен, чем не-буржуа. Во-вторых, реформа не была доведена до конца, что должны были признать и буржуазные историки, а затем довольно скоро была еще и окургужена. Для важнейших дел, где было заинтересовано само правительство, дел «политических», остался по-прежнему чиновничий суд с так называемыми «сословными представителями» (но представители сословий, как мы знаем, были и в старом суде); вскоре этот суд был распространен на все дела, где было замешано чиновничество. Гласность была окургужена тем, что суду было предоставлено «закрывать двери», т.-е. делать разбирательство секретным. Суд с сословными представителями при закрытых дверях уже очень мало отличался от

старого суда,—только тем, что защитник присутствовал. Наконец, была сохранена *административная расправа:* министр или губернатор могли ссылать в Сибирь безо всякого судебного разбирательства. А полиция безо всякого разбирательства колотила в участках, кого находила нужным.

Самая «европейская» из реформ Александра II сохранила, таким образом, достаточно «истинно-русских» черт. Еще больше их осталось в другой реформе, которой наивные люди думали окончательно сломать рога чиновничеству,—в реформе *земской*. До 1861 г. местные дела—полиция, суд по мелким преступлениям, содержание в порядке дорог, мостов и т. д.—были в руках купечества в городах и помещиков в деревне. Другими словами, местные дела 90% русского населения вершились дворянством. О местном хозяйстве, дорогах, мостах, больницах, школах почти никто не заботился, да последних почти и не было; больницы имелись скорее в крупных имениях, устроенные «просвещенными» господами частью из фанфаронства, частью как необходимая принадлежность хорошо устроенного хозяйства. Словом, дореформенного «земства» почти никто не замечал, и когда в 1864 году были созданы «земские учреждения», то всем казалось, что в России появилось что-то новое, и даже, как казалось влюбленным в себя реформаторам, что-то совершенно оригинальное, до чего нигде в других странах не додумались. На самом деле наши земские учреждения были довольно точно скопированы с Пруссии, самой бюрократической страны в Западной Европе. Оттуда был заимствован и земский ценз разделение населения для выборов в земские учреждения на три «курии», только в Пруссии эти «курии» отличались одна от другой количеством платимого налога, иными словами, своим богатством, так что крупнейшая буржуазия имела $^1/_3$ всех голосов (хотя принадлежавшее к ней население не составляло, может-быть, и 1%), средняя буржуазия имела $^1/_3$ (хотя из населения к ней принадлежала, может-быть, $^1/_{10}$), и все остальное население, т.-е. до 90% жителей, тоже $^1/_3$. В Пруссии, таким образом, избрание было основано на *чисто буржуазном принципе* — имущественном. «Обрусение» этого принципа выразилось в том, что у нас был введен, хотя и в прикрытом виде, *сословный принцип*. $^1/_3$ всех голосов получили «личные землевладельцы», т.-е. дворяне-помещики, ибо других личных землевладельцев, за исключением промышленных губерний, где владели имениями и фабриканты, почти не было; $^1/_3$ была дана «общинному землевладению», т.-е. крестьянам, и $^1/_3$ всем остальным, т.-е. буржуазии. В уездных собраниях дворяне и чиновники составили, благодаря этому, почти *половину* всех гласных, а вместе с буржуазией почти *две трети:* крестьяне же немного больше *одной трети*. В избрании губернских гласных, которые посылались уже не прямо населением, а уездными земствами, большинство было заранее обеспечено буржуазии, а среди этой последней — землевладель-

цам: в губернских собраниях дворяне и чиновники составляли уже более $^4/_5$, а крестьяне менее $^1/_{10}$. Наконец, в управах, исполнительных органах земских собраний, земском «правительстве», — потому что управляли-то именно управы, действовавшие постоянно, а не собрания, созывавшиеся раз в год не более чем на 20 дней,—перевес помещиков был еще значительнее: в уезде уже они одни, без буржуазии, составляли абсолютное большинство, а в губернских управах их было $^9/_{10}$, а крестьян всего полтора процента.

Зато, если мы возьмем земские *налоги*, мы получим картину как раз обратную: десятина «надельной», т.-е. крестьянской земли платила 40 копеек, дворянской 21 к., а казенной и «удельной», т.-е. принадлежавшей царской фамилии, всего 12 коп. Почти по слову евангельскому: имущему дастся, а у неимущего отнимется. К тяжести, выжимавшей из крестьянина «прибавочный продукт» после 19 февраля 1861 г., и «земское самоуправление» привесило свой фунтик. Если прибавить к этому, что помещики очень неисправно платили налоги, причитавшиеся на их долю, недоимка помещичьих земель была гораздо больше крестьянской, притом, чем барин был богаче, тем он платил хуже и тем труднее было с него что-нибудь взыскать, — картина будет полная: и в земской реформе, как в крестьянской, старый порядок победил больше, чем наполовину. Земское самоуправление, в сущности, осталось дворянским самоуправлением, на счет крестьян. И едва ли последние могли утешаться тем, что теперь это было еще меньше *само*управление, чем раньше. Чисто крепостническое государство оказывало больше доверия помещику, чем то полукрепостническое, которое установилось в России после 60-ых годов. Торговый капитал не мог забыть, что в 1861 году известная часть дворянства перешла на сторону его конкурента — промышленного капитала. До земской реформы местные помещики выбирали и местный суд, и местную полицию; теперь выбор судей за ними остался: мирового судью выбирало уездное земское собрание, и понятно, кого оно выбирало, не считая даже того, что для избираемого обязательно было владеть имением не ниже известной ценности; мировой судья в деревне был всегда из помещиков. Но полицию центральная власть стала назначать: прежде исправник выбирался помещиками уезда, теперь его присылала губернская власть. И по отношению к этой власти земские собрания были куда менее самостоятельны, чем раньше дворянские (оставшиеся, но исключительно, как *сословная* организация). Те имели право подачи прошений на «высочайшее имя», эти — нет. И губернатор был поставлен определенно *над* ними, он должен был следить за «законностью» их решений, точно этого не мог делать суд, во всех странах являющийся именно охранителем законности.

Торговый капитализм отступил, таким образом, на всех фронтах очень недалеко и сейчас же прочно укрепился на «тыловых

позициях». Русская промышленность не добилась того, что получили задолго до этого английская и французская,—участия в организации страны через буржуазный парламент. Она не получила даже того, что имела германская, — постоянного совещательного голоса в такой организации; постоянное буржуазное представительство при центральной власти дала русской буржуазии только рабочая революция 1905 года. Она не получила даже свободного рабочего. Чем же объясняется такое приниженное положение русской промышленной буржуазии сравнительно с западными? Почему она не дерзнула на большее, чем жалкие «великие реформы» 60-ых годов, да и их, как увидим дальше, не умела отстоять без уступок? Тут нам надо вернуться назад, и мы увидим, что русский буржуа сначала был в своих мечтаниях даже смелее западных, но суровая действительность, — действительность русского экономического развития, — подрезала крылья этим мечтам.

Революционная буржуазия.

До сих пор мы изображали развитие народного хозяйства и государственных форм в России так, как если бы этот процесс шел совершенно гладко, не натыкаясь ни на какие препятствия, без сучка, без задоринки, что называется. Мы видели, что процесс этот все время шел к одной цели — эксплоатации крестьянина то на тот, то на иной манер, при чем сначала эксплоатировал крестьянина, отнимая у него прибавочный продукт, один торговый капитал, а потом он стал это делать в компании с промышленным капиталом, но оставляя себе все же львиную долю. Что же сам-то крестьянин, равнодушно и безропотно переносил эту, все возрастающую эксплоатацию? Или он шевелился время от времени, напоминая сидевшему на его спине, что он, крестьянин, тоже живой человек, а не деревянная скамейка, и что его крестьянская спина чувствует тяжесть?

Шевелился, и так сильно, что это внушало панический страх одним и надежды — не всегда основательные — другим. Из этих надежд вышла народническая революция, о которой мы расскажем в следующей главе. А эти страхи задерживали у нас буржуазную революцию, задерживали до той поры, пока не началось в России рабочее движение, вытравившее из русской буржуазии последние остатки революционности.

Но тут надо на минуту остановиться на вопросе о том, о какой же буржуазии мы говорим, когда упоминаем о «революционности» буржуазии? Часто это понимают так, что когда-то класс капиталистов (при чем не разбирают, каких именно: торговых или промышленных) был сам, непосредственно, революционен. Этого никогда не было и нигде не бывает. Революция всегда есть движение народной массы, всегда, прямо или косвенно, направлена против эксплоатации—всякая революция, не

только социалистическая. Теперь рассудите, как же это эксплоататор будет звать народ на бой против эксплоатации? Этого никогда, конечно, не случается. Но одни эксплоататоры сплошь и рядом умеют *использовать* восстание эксплоатируемых против других эксплоататоров. Это—особая форма буржуазной конкуренции, если хотите. Так, во Франции, в конце XVIII века, промышленный капитал, при помощи крестьянской и рабочей революции, выкинул из седла старый торговый капитал, тесно связанный с земельной собственностью, а потом сам уселся на место купцов и помещиков. Но это не значит, чтобы непосредственными руководителями французской революции были фабриканты и заводчики. Французская революция 1789 года и началась-то с восстания на одной фабрике. Вождями революции во Франции были не фабриканты, вообще не предприниматели, а *промежуточный класс* между предпринимателями и мелкой буржуазией, — класс, тесно связанный с промышленным капитализмом, от него зависящий, но сам не эксплоатирующий непосредственно народной массы. Этот класс образованных приспешников капитала, «грамотеев-десятников», принято в России называть *интеллигенцией* (т. е. люди «знающие, понимающие»).

Интеллигенция тоже живет на прибавочный продукт,—в этом ее связь с буржуазией. Чем быстрее и шире развивается капитализм, тем ей выгоднее, потому что тем больше интеллигентских профессий, тем шире поле для деятельности интеллигенции. Торговый капитал имел при себе, в качестве интеллигентных слуг, только врачей да канцелярскую «интеллигенцию», чиновника. Литераторы, актеры, художники были у торгового капитала на положении шутов и забавников. Вся эта интеллигенция была или мало интеллигентна (чиновники), или очень мало влиятельна в общественном смысле. Оттого в революциях эпохи торгового капитализма интеллигенция мало принимает участия, мы это сейчас и увидим. Но, по мере развития промышленного капитализма, сюда присоединяются юристы-адвокаты, журналисты-газетчики, потом, по мере расширения машинной техники, инженеры и т. д. Эти уже очень нужны буржуазному обществу, и общественная роль их гораздо крупнее. Во Франции вождями революции были, главным образом, адвокаты и журналисты (но был и врач—Марат, были инженеры—Карно и др.). В других случаях это могли быть литераторы, учителя или даже военные. Участие военных в буржуазной революции очень заметно в Испании, в Италии и у нас в России: самое главное у нас выступление революционной буржуазии, заговор декабристов (см. выше стр. 97 и ниже) был сплошь военный.

Итак, непосредственным носителем буржуазной революционности является не сама предпринимательская буржуазия, а интеллигенция. Запомним это и кстати отметим, что вовсе не обязательно, чтобы интеллигенция понимала, к какому конечному исходу клонится буржуазная революция, чтобы ей ясно было,

что она борется за промышленный капитал против торгового. Революция требует от своих деятелей увлечения, самопожертвования, по крайней мере, риска своею жизнью и положением. Но кто же увлечется картиной, как фабрикант прогоняет взашей купца, и кто станет из-за этого чем бы то ни было рисковать? Всей той экономической подоплеки борьбы, которую мы рассказали выше, интеллигенция просто не понимала. Она видела внешние проявления крепостнического государства, — произвол царской власти, продажность чиновничества, жестокие казни, угнетение низших классов, — и она восставала против всего этого во имя *свободы*. Что настоящей свободы не может быть, пока существует эксплоатация человека человеком, пока существует капитализм, этого интеллигенция долгое время не сознавала, а когда сознала, перестала в большинстве своем быть революционной. Потому что интеллигенция, повторяем это, как и буржуазия, жила на прибавочный продукт, насильственно выжимавшийся из крестьянина или рабочего. Коммунистическая революция для нее значила, что она должна лишиться этого выгодного пайка, должна стать в одну шеренгу с работниками физического труда, отказавшись от своих прежних преимуществ. А на это могли пойти только немногие, наиболее искренние и преданные делу революционеры-интеллигенты.

Уяснив себе основные черты буржуазной революционности, перейдем теперь к тому фундаменту, на котором должна была стоять русская буржуазная революция, как и всякая другая: к народному крестьянскому движению. Мы увидим, что фундамент этот так трясся, что буржуазная интеллигенция ничего построить на нем не сумела. Он выдерживал только не-буржуазное здание, — так уж он был устроен.

В первой части этой книжки мы видели, что попытки крестьянской массы сопротивляться надвигавшейся на нее эксплоатации торгового капитала, в начале XVII века, перед появлением Романовых («Смута»), и в конце его, перед выступлением Петра I (восстание Разина), обе кончились неудачей. После Разина ровно 100 лет не было в России большого крестьянского движения. Можно было подумать, что народ в отчаянии опустил руки. На самом деле, сначала смута, а потом Северная война так *разредила* население, что на долю каждого крестьянина доставалось больше земли, чем раньше (перед «Смутой», например, на каждый крестьянский двор приходилось $2^1/_2$ десятины, а восемьдесят лет спустя—уже 9; число душ в каждом дворе, правда, тоже увеличилось, но значительно меньше, не более, чем вдвое). Крестьянину, благодаря этому, было гораздо легче переносить эксплоатацию. Но как только, ко 2-й половине XVIII века, население опять сгустилось, появились признаки земельной тесноты (первая ревизия Петра I дала $5^1/_2$ милл. душ мужск. пола, а третья, сорок лет спустя, уже почти $7^1/_2$ милл., несмотря на то, что она была гораздо менее строгой, на самом деле, тогдашние статистики

насчитывали до $8\frac{1}{2}$ милл. душ), опять начинают вспыхивать крестьянские «волнения» и к 70-м годам XVIII века разливаются в огромный *пугачевский бунт*.

Причиной была не одна земельная теснота,—она только делала положение напряженным до крайности во всей России, а *местные* причины крестьянской революции были другие: это видно уже из того, что вспыхнула она и всего упорнее держалась на восточной окраине России, на Урале и в Поволжье, где как раз земельная теснота не могла быть главной бедой. Но тут нужно вспомнить, что это время, вторая половина XVIII века, было временем первого расцвета русской *хлебной торговли*. Русская пшеница уже просилась за море, Екатерина II уже вела войны с Турцией, чтобы открыть ей дорогу, а Поволжские и Приуральские губернии—и теперь наиболее производящие, наиболее хлебные губернии. Здесь аппетит помещика к прибавочному продукту был особенно острым, а крестьян здесь было еще сравнительно мало: от этого эксплоатация крестьянства в восточной России отличалась особенной свирепостью. Здесь барщина, в других местах бравшая у крестьянина 3—4 дня в неделю, доходила иногда до 6—7 дней. Если бы у крестьянина был и большой надел,—когда ему было на нем хозяйничать? Везде уже в тогдашней России, раб, крестьянин был в этих местах рабом более, чем где бы то ни было, напоминая негра американских плантаций или раба в древнем Риме, у которого ничего не было своего, все барское.

В таком положении было не только земледельческое население, но и крепостные мастеровые уральских горных заводов. Это особенно важно потому, что на уральских горнорабочих и горнозаводских крестьянах (последние должны были для заводов рубить лес, подвозить руду, рыть пруды и т. п.) держалась главная сила Пугачева. Этот последний, донской казак по происхождению, действовал сначала на Тереке (северный Кавказ), где играл видную роль, потом попал на реку Урал (тогда называвшуюся Яиком) и застал тамошнее казачество в большом волнении. Яицкие казаки жили, главным образом (как отчасти и теперь живут уральцы), рыбными промыслами. Они ловили рыбу, солили ее и отправляли в Россию. Но соль была казенной монополией, а соляной откуп захватила в руки казацкая старшина. Казацкая масса была у старшины как в мертвой петле; не ограничиваясь соляной податью, старшина облагала казаков еще разными уже совершенно незаконными поборами. Казаки восставали, собственно, против своих атаманов-эксплоататоров. Но на помощь атаманам являлись военные команды из Оренбурга, и казаки подвергались жестокому усмирению. Множество казаков было пересечено кнутом, сослано в каторгу, отдано в солдаты. Озлобление было страшное, и когда Пугачев объявил себя «чудесно спасшимся» Петром III, казаки стали к нему стекаться со всех сторон. Когда Пугачев спрашивал первых приехавших к нему,

примут ли они его, ему в один голос отвечали: «Примем, батюшка, только вступись за нас и в наших от старшин обидах помоги, мы все вконец разорились от больших денежных поборов».

Казалось бы, и это восстание правительству Екатерины II было так же легко смирить, как и предыдущие. Посланный против Пугачева генерал больше всего опасался, как бы тот «не обратился в бег», не ускользнул от него (Пугачев однажды уже был арестован в качестве «Петра III» и благополучно бежал). Вместо того, несколько недель спустя «обратился в бег» сам этот генерал. Как же это случилось? А потому, что навстречу Пугачеву пошло «всеобщее черни волнение», «внутрь и вне злодейства, предательство и непослушание от жителей», как писал в Петербург другой генерал, присланный на смену первому. А на первом месте «всеобщее волнение» охватило уральские заводы с их крепостным, рабочим и крестьянским населением. «При этом,— доносил из Петербурга английский посланник своему правительству,—большое количество медных пушек, отлитых на казенных литейных заводах, досталось в руки мятежников, разрушивших несколько литейных заводов, в том числе один из заводов Демидовых, крепостные и крестьяне которых присоединились к бунтовщикам».

Тут неверно только, что Пугачев «разрушил» заводы: на самом деле заводы на него работали, снабжали его порохом и ядрами. Люди, умевшие лить пушки, умели из них и стрелять; вместе с ядрами и порохом Пугачев получал с заводов и артиллеристов, и они были лучше правительственных. *Участие уральских горнорабочих дало пугачевцам технический перевес* над войсками Екатерины II. А кочевые народы Приуралья, в особенности башкиры (которых царская администрация всячески мучила и истребляла: после одного восстания башкир было истреблено до 30 тысяч), усилили Пугачева конницей. Когда он явился со всей этой силой в Поволжье, у него была настоящая армия.

Если бы Пугачев сразу пошел на Москву, он, может быть, имел бы полный успех: в Москве и в Туле мастеровые тоже волновались, а дворянство было в совершенной панике. Но казаки заставили его остаться под Оренбургом, где сидел главный, по их понятиям, враг—губернатор. Этим он потерял время, а Екатерина выиграла. К Уралу были стянуты большие военные силы. Разбитый в нескольких сражениях, Пугачев и теперь еще был страшен. Он бросился, наконец, туда, куда ему следовало итти с самого начала—по московской дороге, на Казань, всюду встречаемый восторженно не только крестьянами, но даже и духовенством, которое из страха перед крестьянами встречало «Петра III» с крестами и хоругвями. Всех помещиков беспощадно истребляли,—за время пугачевщины их было перевешено несколько тысяч. «В Москве,—писал один современник,—холопы и *фабричные* и вся многочисленная чернь московская, шатаясь по улицам, почти явно оказывали буйственное свое расположение и

приверженность к самозванцу, который по словам их *несет им желанную свободу*».

Какую же свободу нес Пугачев? В своих «манифестах» он «жаловал» «всем находящимся прежде в крестьянстве и подданстве помещиков *верноподданными рабами собственно нашей короны*»—быть, поясняется дальше, «вечно казаками», «не требуя рекрутских наборов, подушных и прочих денежных податей, во владение землями, лесными, сенокосными угодьями, рыбными ловлями, соляными озерами без покупки и без оброку». Это была, как видим, полная программа освобождения крестьян не только с их землей, но с возвращением крестьянам всех угодий, когда-либо отобранных от них и от казаков помещиками и откупщиками (рыбные ловли и соляные озера сдавались на откуп). Мало того, уничтожалось не только прямое давление торгового капитала через крепостное право, но и косвенное, через подати: кроме подушных, о которых уже упоминалось выше, рядом с рекрутчиной, манифест освобождал крестьян «от всех прежде чинимых — от злодеев дворян, градских мздоимцев и судей—крестьянам и всему народу налагаемых податей и отягощениев». Столь коренное преобразование, уничтожавшее весь смысл существования крепостнического государства, манифест явно не рассчитывал провести силами одной царской власти, от имени которой был написан манифест. В заключение этот последний предлагал крестьянам действовать собственными средствами, и помещиков, «противников нашей власти, возмутителей империи и разорителей крестьян, ловить, казнить и вешать».

Манифест не только не предполагал политического переворота, но, напротив, сохранял самодержавную власть во всей неприкосновенности. Люди, которые только что показнили своего маленького государя—помещика, должны были остаться послушными рабами большого помещика—царя. Автор пугачевского манифеста (едва ли это был сам Пугачев, человек совсем малограмотный), видимо, совершенно не понимал, зачем и почему существует самодержавие, не понимал, что невозможно сохранить коронованную верхушку крепостнического государства, разрушив весь его фундамент. Но это нельзя ставить ему в виду, когда мы знаем, что сто лет спустя образованные люди, профессора, думали, что можно освободить народ, а царскую власть в России оставить. Зато манифест лучше этих образованных людей 1860—1870 годов понимал, что освободить крестьян—значит уничтожить помещичью власть совсем, до корня, что если помещик останется, останется хоть кусочек крепостного права.

Пугачеву удалось истребить много помещиков, но помещичьего сословия истребить не удалось. В центральную, коренную помещичью Россию его не пустили. Его войско было достаточно хорошо организовано, чтобы разбивать отдельные небольшие правительственные отряды, но справиться с целою правительственной армией Пугачев оказался не в силах. Отброшенный от Казани

после ожесточенной битвы («злодеи на меня наступали с такою пушечною и ружейной пальбою и с таким отчаянием, коего только в лучших войсках найти надеялся», писал начальству сражавшийся под Казанью с Пугачевым генерал), но, далеко еще не уничтоженный, Пугачев бросился вниз по Волге, и скоро все пространство теперешних Симбирской, Самарской, Саратовской губерний было охвачено сплошным крестьянским бунтом. Только под Царицыном пугачевская армия получила смертельный удар. Пугачев бежал в степь, был выдан казаками и казнен в Москве 10 января 1775 г. Крестьянское восстание было подавлено с варварской жестокостью, целые деревни были «сбриты» карательными отрядами. И еще долго около всех деревень бунтовавшего края красовались виселицы и колеса, на страх «злодеям и преступникам подлого состояния».

Справившись с пугачевщиной, крепостническое государство, на первый взгляд, как будто еще больше обнаглело. Именно после этого Екатерина II распространила крепостное право на Украйну. На самом деле она сильно трусила. Решив, что восстание разрослось от того, что на местах мало было начальства и полиции, Екатерина увеличила число губерний со всем их чиновничьим штатом, так что теперь один губернатор приходился на 300 тысяч жителей (тогда как раньше в одной Московской губернии было больше 2 миллионов), создала новые полицейские органы (капитан-исправников) и т. д. Страх этот поддерживался тем, что крестьянские волнения с тех пор не затихали совсем ни на одно царствование, каждому из потомства Екатерины приходилось иметь с ними дело. Тотчас по вступлении на престол Павла были волнения настолько сильные, что приходилось посылать для их усмирения большие отряды войска с пушками. Это отчасти заставило Павла издать указ о трехдневной барщине. Вступил на престол Александр I, крестьяне опять волновались, и Александр стращал своих придворных (не соглашавшихся на запрещение продажи крестьян без земли), что волнение такого количества людей, усилившись, может сделаться опасно. Был опять издан указ — о «вольных хлебопашцах», разрешавший помещикам отпускать крестьян на волю целыми деревнями, с землей (раньше освобождать было можно только поштучно). Помещики этим указом почти не воспользовались,—они забыли пугачевщину лучше, чем царь и его двор. После вступления на престол Николая I опять были волнения, и снова указ, призывавший помещиков к «христианскому обращению» с крепостными. В это царствование волнения повторялись много раз, однажды, в 40-х годах, в Витебской губернии, собралось до 20.000 крестьян, вооруженных ружьями, цепами, косами и собиравшихся итти на Петербург. Издавая свой никчемный закон об «обязанных крестьянах» (см. выше, стр. 95), Николай опять напоминал о пугачевском бунте. Дворяне опять и ухом не повели. Во время севастопольской войны движение приняло особенно грозный характер. Крестьяне, из ко-

торых формировали ополченские дружины, вместо того, чтобы итти на неприятеля, нападали на исправников и своих господ. Это движение очень способствовало тому, что, тотчас после вступления на престол Александра II, крестьянский вопрос был поставлен на первую очередь. Приступая к освобождению, Александр II больше всего боялся крестьянского бунта. Он был убежден, что когда крестьяне поймут обман, поймут, что под видом «освобождения» их ограбили, они поднимутся всей массой. Отчасти его опасения и оправдались: при объявлении «воли» было более 2.000 крестьянских бунтов. Серьезнее этого не было со времен пугачевщины, но в одно сплошное восстание, наподобие пугачевского, эти бунты не слились. Военно-полицейская организация империи «Романовых» была теперь достаточно крепка и достаточно предусмотрительна.

Как же относилась ко всему этому революционная буржуазия, желавшая положить конец крепостническому государству? Она боялась, боялась едва ли не еще больше, чем цари и их двор. Вся история попыток революционной буржуазии свергнуть самодержавие проникнута этих страхом перед крестьянскими ножами и топорами. Они всюду мерещились этой буржуазии и сковывали ее страхом в самые решительные минуты. А после волнений 1861 года буржуазная революционность совершенно выдыхается и гаснет, после этого о ней и говорить не приходится.

В конце XVIII века буржуазная интеллигенция была в России еще очень немногочисленна. Она сосредоточивалась в *масонских ложах* и около единственного тогда в России Московского университета. Масонство, это—религиозное учение, очень аристократического характера, опутанное всевозможными замысловатыми обрядами, церемониями и клятвами и доступное лишь небольшим, строго закрытым кружкам посвященных (эти кружки назывались «ложами»). Масоны не признают различий между вероисповеданиями, признают только веру в бога и считают своими родоначальниками строителей Соломонова храма. Смысл масонства заключался в том, что оно позволяло сближаться между собой людям разных вер, например, евреям с христианами, что было очень удобно для торгового капитала, связывавшего разные страны и в том еще, что своей таинственностью оно отделяло богатых и образованных людей, входивших в масонские ложи, от черни непросвещенной, попросту ходившей тогда в церковь. Таинственность очень шла ко всему духу торгового капитализма (см. выше стр. 100). В России при Екатерине II во главе масонов стояли московский типографщик-издатель Новиков и профессор Московского университета Шварц. На самодержавие московские масоны и не думали посягать, они надеялись, напротив, осуществлять свои планы при помощи самодержавия, для чего и сблизились с сыном Екатерины, Павлом, которого им удалось обратить в масонство. За это Екатерина посадила Новикова в крепость (Шварц уже умер к тому времени).

Не будучи вовсе буржуазными революционерами, масоны подготовили последним путь в двух направлениях. Во-первых, в масонских ложах, на-ряду с вольными разговорами о религиозных предметах (по тогдашнему времени усомниться даже в превосходстве православия над другими вероисповеданиями было уже тяжким преступлением, а масоны вовсе вероисповедных различий не признавали), велись и вольные политические разговоры; а во-вторых, масонская ложа с ее таинственностью была очень удобной оболочкой и очень хорошей школой для *заговора:* недаром заговорщики-декабристы все вышли из масонских лож, и недаром правительство относилось к масонам с крайней подозрительностью, пока Александр I не запретил масонские ложи вовсе. Но первый, кого можно назвать буржуазным революционером в России, вышел не из масонской ложи, а был учеником французских философов и публицистов XVIII века. Это был Александр Николаевич Радищев, автор книги «Путешествие из Петербурга в Москву» (1790 г.).

Вся его «революция» и заключалась в издании этой книжки. Около него не было даже маленького кружка, он был совсем один. Суд не нашел у него ни малейшей попытки «взбунтовать» кого бы то ни было. В жизни это был самый смирный литератор, какого только можно себе представить. Посаженный в тюрьму, он горько каялся, что написал свою книгу, которую он называл в письме к следователю «мерзительной» и «гнусной». Тем не менее, Екатерина сослала его в Сибирь. За что же? Два места из «Путешествия» объяснят это. «Звери алчные, пиявицы ненасытные, что мы крестьянину оставляем? То, чего отнять не можем—воздух. Да, один воздух. Отнимаем у него нередко не только дар земли—хлеб и воду, но и самый свет. Закон запрещает отнять у него (крестьянина) жизнь. Но разве мгновенно (т.-е. сразу). Сколько способов отнять у него постепенно! С одной стороны — почти всесилие, с другой—немощь беззащитная. Ибо помещик в отношении крестьянина есть законодатель, судья, исполнитель своего решения, и по желанию своему — истец, против которого ответчик ничего сказать не может».

Так писал Радищев о крепостном праве в то самое время, когда оно, мы знаем, было особенно дорого помещику. Уже этого стерпеть крепостническое государство не могло. Но Радищев не останавливался перед маленьким государем, он добирался и до большого. Уже в одной книжке, изданной еще до «Путешествия», он объяснял своему читателю, что «самодержавство есть наипротивнейшее человеческому естеству состояние». «Неправосудие государя дает народу то же над ним право, какое ему (государю) дает закон над преступниками. Государь есть первый гражданин народного общества». Тогда это прошло Радищеву даром. В «Путешествии» он заговорил о том же во много раз смелее. Он вставил в одну из глав своей книги, будто бы не им сочиненное, стихотворение «К вольности», написанное так, что до революции

1905 г. его невозможно было напечатать в России. Содержание этого стихотворения посвящено вооруженному восстанию против самодержавия, восстанию удачному, которое кончается тем, что «венчанному мучителю», царю, отрубают голову. Царь при этом называется «чудовищем ужасным», «злодеем, злодеев всех лютейшим» и т. п. Прочитав это стихотворение, Екатерина нашла его «совершенно и явно бунтовским», «криминального (т.-е. преступного) намерения». Действительно, откровеннее о царях в России не говорили до Николая II; так, как Радищев, решались писать только за границей. А он издал свою книжку в Петербурге!

Нас не должно удивлять, что, попав за свою книгу в тюрьму, Радищев держал себя на допросах совсем не геройски. Мужество дается революционеру сознанием, что за ним, за его спиною стоит весь народ. Радищев и не думал обращаться к народу: книжка была напечатана в ничтожном числе экземпляров, да и написана так, что выше мы должны были немножко исправить некоторые выдержки, чтобы сделать их понятными. Это—интеллигент писал для интеллигенции. Одиночество Радищева достаточно объясняет нам упадок духа, который им овладел, когда он, одинокий литератор, лицом к лицу оказался со страшным самодержавием. Но это самодержавие получило от автора «Путешествия» такую звонкую пощечину, что она слышна была целое столетие.

Никакой связи с крестьянским движением у первого русского республиканца—как со всею справедливостью можно назвать Радищева—не было. Правда, в своем «Путешествии» он с сочувствием говорит об убийстве крестьянами жестоких помещиков, но это все, что у него можно найти, хотя бы отдаленно напоминающего пугачевщину. Зато у Радищева были несомненные связи в другую сторону: он близко интересовался экономическими вопросами, на что его натолкнула отчасти его служба (он был начальником петербургской таможни). В показаниях он прямо упоминает о том влиянии, какое на него имела тогдашняя экономическая литература, преимущественно французская. У него были и собственные работы, например, «Письмо о китайском торге», написанное им во время ссылки, в Сибири. Здесь он высказывает новую для того времени мысль о необходимости «покровительственной системы» (см. выше, стр. 80), осуществившейся в России через тридцать лет после этого письма. «Запрещение иностранных мануфактурных произведений неминуемо родит мануфактуры дома, — говорит Радищев, — а без того внутренние рукоделия могут прийти в запустение». Республиканец Радищев был таким образом в то же время одним из первых провозвестников идей промышленного капитализма в России.

Еще сильнее та же связь чувствуется у следующего по времени «буржуазного революционера», как ни странно называть так человека, за тысячу верст стоявшего от всякой мысли о насильственном перевороте,—у Сперанского. Сперанский думал действовать, как раньше Новиков и его друзья, через посредство само-

державной власти. Он был секретарем Александра I и по его поручению написал проект государственного устройства России. По его представлению, Россия должна стать из крепостнического государства буржуазной монархией с конституцией, основанной на цензе (избирателями могли быть только землевладельцы и богатые купцы), с двумя палатами, государственным советом и государственной думой. За сто почти лет (его проект относится к 1809 году) он предвосхитил конституцию, которой наградил Россию гр. Витте в 1905 году. Но конституция Витте была уступкой народной революции, а во время Сперанского никакой революции не было. Проектом Сперанского Александр хотел только подольститься к дворянству, а когда выяснилось, что последнее больше всего желает сохранить барщину, а в конституции вовсе не нуждается, Александр не только отложил проект в сторону, но и сослал Сперанского, которого дворянство терпеть не могло, потому, что он был сторонником союза с Францией и разрыва с Англией. Мы знаем, что союз с Францией и континентальная система дали огромный толчек развитию русской обрабатывающей промышленности: Сперанский опять является одним из провозвестников идей промышленного капитализма. Развитие мануфактур он считал одною из главных задач государственной власти: основной задачей главного министерства, по плану Сперанского, министерства внутренних дел, была забота о развитии промышленности. Он и лично вращался в кругу богатых капиталистов: это были его первые друзья. Зато с революционерами он столкнулся впервые, когда, возвращенный из ссылки, став снова членом государственного совета, он сочинял, по поручению Николая I, обвинительный акт по делу *декабристов*.

И у декабристов мы не найдем никакой связи с крестьянскими движениями; напротив, мы увидим, что одна мысль о возможности такого движения замораживала декабристов и прекращала их собственное движение. Декабристы были на $^9/_{10}$ военные, при том не солдаты, а офицеры. Военные после войны 1812 года, которую торжественно назвали «Отечественной», чувствовали себя спасителями отечества, первыми людьми в России. Пройдя победоносным походом до Парижа, везде встречая побежденное, покорное, заискивающее население, русские офицеры привыкли считать себя чуть что не хозяевами всей Европы. В то же время, повидав чужие страны, о которых раньше они только слыхали или читали в книжках (путешествовать в те времена могли только богатые люди), насмотревшись на другие, не русские порядки, они вернулись из Европы гораздо образованнее, чем пошли туда. И вот, по возвращении, этих людей отдают под команду грубому, полуграмотному солдату, Аракчееву, и заставляют по целым дням заниматься самих и мучить своих солдат бессмысленной казарменной учебой, точно каких-то боевых животных, которых содержат исключительно для драки. Только худшие из них (вроде полковника Скалозуба в «Горе от

ума») приспособились к новым порядкам; кто получше, ушел в отставку, а наиболее смелые пришли к мысли свергнуть аракчеевщину и сделать Россию политически европейской страной. Что военные это могут сделать, порукой были все дворцовые перевороты XVIII века, совершенные гвардией, а в особенности 11 марта 1801 г., когда Павел пал жертвой именно офицерского заговора. Позже прибавились более свежие и еще более убедительные примеры: ряд революций в Испании и Италии, начатых также армией.

Если прибавить к этому, что в «Отечественную» войну вся без исключения интеллигентская молодежь надела военный мундир, мы поймем, почему офицерство и интеллигенция к 1820 годам слились, и почему настроение лучшей, наиболее смелой части этой интеллигенции было революционное. Но что значило сделать Россию европейской страной? Ответ на это давал тот экономический переворот, который переживала тогда Россия и среди которого жила тогдашняя интеллигенция. Декабристы были связаны с развивающимся промышленным капитализмом еще теснее, нежели Радищев и Сперанский. Один из наиболее видных (и один из немногих не военных) заговорщиков, Тургенев (дальний родственник известного писателя), был замечательным, по своему времени, экономистом: его книга о налогах была первой в русской литературе попыткой приложить к этому вопросу идеи «классической» политической экономии, на которой воспитался и Маркс. Глава петербургского заговора (мы сейчас увидим, что заговоров было два: один в Петербурге, другой на юге России), поэт Рылеев, был предпринимателем-издателем и правителем дел «Российско-Американской компании», крупнейшего торгово-промышленного предприятия тогдашней России, эксплоатировавшего Аляску, в Америке, тогда принадлежавшую России. У Рылеева были обширные связи с буржуазными кругами в Петербурге. В Москве с декабристами был близок типограф и издатель Селивановский, затеявший первый в России энциклопедический словарь. Накануне 14 декабря инженер Батенков, которого заговорщики прочили в правители дел временного революционного правительства (куда должен был войти, между прочим, и Сперанский), «чаще всего бывал в домах купеческих, и поелику сей класс вообще не доволен стеснительными для торговли постановлениями, то обращение с ними подстрекало желание перемены». Если понять слова Батенкова буквально, то выходит, что его самого купцы подстрекали к перевороту. Едва ли это было так, но мы должны все-таки вспомнить называвшихся нами выше купцов петербургского гостиного двора, толковавших о конституции.

«Конституция», т.-е. ограничение власти царя собранием «народных» представителей, вместе с отменой крепостного права, были теми требованиями, которые объединяли огромное большинство декабристов. Конституция, о которой они мечтали, так же, как и та, которую проектировал Сперанский, была *цензовая*, т.-е.

народных представителей должны были посылать не все, а только имущие классы. При этом помещики должны были получить голосов в 500 раз больше, чем крестьяне некрепостные (от государственных крестьян полагался один выборщик на 500 душ), крепостные же крестьяне совсем не получали избирательных прав, они должны были довольствоваться «гражданской свободой», т.-е. освобождением от крепостного состояния. Это освобождение рисовалось декабристами приблизительно в той форме, в которой оно осуществилось в 1861 году, с отобранием у крестьян части их земли в пользу помещика, при чем реформа Александра II оказалась даже к крестьянам щедрее, чем декабристы: те желали отобрать у крестьянина больше земли. На этом сходились те участники заговора, которые жили в Петербурге, принадлежали большею частью к зажиточным помещикам, служили в гвардии и не отличались особенной революционностью. Первое тайное общество, «Союз Спасения», они заставили распустить, и основали «Союз Благоденствия», существовавший почти открыто и не терявший надежды добиться реформы от Александра I мирным путем. Вспоминали, что ведь тот сам когда-то мечтал о конституции и высказывался против крепостного права. У Александра на письменном столе лежал устав «Союза Благоденствия», но он не принимал никаких мер против него: он порядочно-таки презирал этих говорунов, и желавших политической свободы, и не решавшихся на революцию.

Но на юге, в так называемой «действующей армии», подобрался небольшой кружок людей, гораздо решительнее петербуржцев. К ним принадлежало отчасти небогатое офицерство, составившее особое общество «Соединенных Славян». Отчасти это были наиболее образованные и энергичные участники тайного общества, вроде Сергея Муравьева-Апостола, единственного, который не ограничивался пропагандой среди интеллигенции, а пытался распространять революционные идеи среди своих солдат (он командовал полком). Для солдат он составил особый «православный катехизис», где объяснялось, что бог вовсе не приказывал беспрекословно повиноваться всякому насильнику, как учили попы в церквах: «Христос сказал: не можете богу работать и мамоне; оттого-то русский народ и русское воинство страдают, что покоряются царям». «Какое правление сходно с законом божиим? Такое, где нет царей. Бог создал всех нас равными и, сошедши на землю, избрал апостолов из простого народа, а не из знатных и царей. Стало-быть, бог не любит царей? Нет. Они прокляты суть от него, яко притеснители народа, а бог есть человеколюбец». В подтверждение приводится выдержка из Ветхого завета, где, действительно, говорится, что тех, кто избрал себе царя, бог не станет слушать. «Стало-быть, и присяга царям богопротивна? Да, богопротивна. Цари предписывают принужденные (вынужденные) присяги народу для губления его».

Совершенно очевидно, что Муравьев-Апостол готовил своих солдат к восстанию не во имя конституции, а во имя *республики*: южные заговорщики были республиканцы. Таков был и их вождь, самый замечательный человек заговора, полковник Пестель. Он понимал (отчасти он мог это прямо видеть на примере Польши, см. выше), что конституция, пока на ее стороне не стоит вся народная масса, будет только ширмой, за которую будет прятаться то же самодержавие, а что народная масса, крепостные крестьяне, не соблазнится тою полусвободой, полуограблением, какое ей сулили проекты большинства декабристов. Не желая раздражать последних, Пестель на словах соглашался на вознаграждение помещикам за отмену крепостного права: но зато *всю землю* в своем проекте, названном им «Русской Правдой», он *отдавал народу*. Этим он надеялся привлечь на сторону новых порядков всех, кто был заинтересован в земле, т.-е. всех крестьян и солдат, которые были из крестьян же. В то же время Пестель прекрасно понимал, что без самого решительного революционного боя и без террора сломить самодержавие не удастся: он готовил все к огромному вооруженному восстанию (он надеялся иметь на своей стороне целый корпус, т.-е. 40 тысяч солдат), которое должно было кончиться истреблением всех «Романовых». Тогда, думал Пестель, дело будет уже прочно, и временное революционное правительство в несколько лет преобразует всю Россию.

Пестель добился того, что соглашательский «Союз Благоденствия» был заменен настоящим тайным революционным обществом. Было условлено, что восстание начнется летом 1826 года, во время маневров на юге. Сигналом должно было служить убийство Александра I. Потом восставшая армия должна была двинуться на Москву и Петербург, принудить высшие учреждения империи — светское и церковное — сенат и синод признать временное революционное правительство, которое и должно было затем приступить к ликвидации старого строя. План этот рухнул задолго до назначенного времени. Вокруг Пестеля нашлись предатели, и он был арестован в начале декабря 1825 года. Еще двумя неделями раньше умер Александр I, умер совершенно неожиданно — ему не было еще и 50 лет. Заговорщики без вождя оказались лицом к лицу с совершенно новым положением.

Но в противоположном стане сумятица была не меньшая. Смерть Александра была неожиданностью не только для заговорщиков, но и для него самого, и для всей царской семьи. У Александра детей не было, ему должен был наследовать второй сын Павла, Константин, который был тогда наместником в Польше. Он, однако, незадолго перед тем отрекся от престола, под тем предлогом, что он женат не на принцессе, а на простой смертной, одной польской дворянке; на самом деле его заставил отречься его старший брат, так как Константин своим бешеным, взбалмошным характером слишком уж напоминал покойного отца, и для него можно было опасаться той же участи. Но отречение

Константина не успели опубликовать,—оно лежало в запечатанном конверте в Успенском соборе, в Москве. В глазах всех, кроме царской семьи, которая одна знала дело, Константин был наследник; когда получилось известие о смерти Александра, все присягнули Константину, как царю. Дело осложнялось еще тем, что и третий брат, Николай Павлович, уже тогда обещал будущего Николая Палкина, и как раз в гвардии его терпеть не могли. А между тем, благодаря отречению Константина, он становился наследником: из огня да в полымя!

Заговорщики, в первую минуту ошеломленные рядом неожиданностей, увидав, что во дворце путаница не меньше, чем у них самих, приободрились. Решено было воспользоваться теперь уже не маневрами, а присягой Николаю. Солдатам было рассказано, что Константин вовсе не отрекся, а его отстраняют от престола за то, что он хочет дать России конституцию. Под рукой распустили слух, что есть завещание Александра, скрытое Николаем, которое солдатам убавило срок службы (тогда служили 25 лет), а крестьянам дало волю. Солдаты слушали с жадностью. У заговорщиков, однако, и в эту минуту не было ясного и твердого решения довести дело до вооруженной схватки с Николаем и теми войсками, которые остались на его стороне, 14 декабря (день присяги) вожди заговора вывели своих солдат на Сенатскую площадь, где стоит памятник Петру, построили их там в каре (квадратная колонна) и стали стоять, ожидая, что к ним присоединятся другие полки. Между тем весь простонародный Петербург поднялся на ноги. Необозримая толпа народа залила Сенатскую площадь и прилегающие улицы. В николаевских генералов бросали камнями и снежками, срывали с них эполеты. Когда Николай со свитой осмелился показаться на площади, рабочие строившегося тогда Исаакиевского собора прогнали его поленьями; это сам Николай засвидетельствовал в своем дневнике. Начиналось то, к чему заговорщики были готовы менее всего: народная революция.

Между тем у каре, на Сенатской площади, не было даже и начальника. Рылеев показался на несколько минут, но потом ушел домой. Ему это было простительно: он был плохой военный (отставной мелкий офицер), вдобавок болен в эти дни. Но заговорщиками был назначен специальный «диктатор», гвардейский полковник князь Трубецкой,—этот совсем не осмелился показаться на площади и прятался у родственников. Сам Николай Палкин, правда, был растерян не менее, но среди его свиты нашлись опытные, боевые генералы, не потерявшие голову. На площадь привели артиллерию и конницу, которых у заговорщиков не было. Когда атаку конницы отбили (не декабристы, а те же рабочие своими поленьями), артиллерия открыла огонь картечью по каре и окружавшему народу. В несколько минут все было кончено.

Затем начались массовые аресты. Николай, после удачного подавления вооруженного восстания вновь ободрившийся, сам вел следствие и обнаружил большие жандармские способности. С первого же допроса он успел вытянуть массу имен и подробностей заговора от его участников, после неудачи растерявшихся еще более. Им ловко подавали надежду, что все кончится пустяками, что виновных, самое большее, отставят от службы или пошлют на житье в их деревни. А когда все выведали, учинили самую свирепую расправу: пятеро вождей заговора — Пестель, Рылеев, Сергей Муравьев-Апостол, безуспешно старавшийся поднять восстание на юге, Бестужев-Рюмин и Каховский были повешены (еще и это была «милость» Николая: суд приговорил сначала их к четвертованию). Более сотни человек было сослано в Сибирь, многие на каторгу, остальные на поселение. Батенков 20 лет просидел в каземате Петропавловской крепости, что было, конечно, хуже всякой каторги. Тысячи солдат, участвовавших в движении, были сосланы на Кавказ, где почти все погибли, если не от пуль горцев, так от болезней.

Почему же декабристы потерпели такое поражение? В первую минуту они были гораздо сильнее Николая, у которого был сначала только один батальон пехоты. Конница и артиллерия слушались его очень неохотно: конница отступала при малейшем сопротивлении, артиллеристы долго не могли найти снарядов. Единственный популярный генерал, который у него был, Милорадович, герой «Отечественной» войны, был убит (Каховским) в самом начале, остальных солдаты так же ненавидели, как и самого Николая. Почему же декабристы всем этим не воспользовались? Ответ дали они сами: *они боялись всенародного восстания, начинавшегося на их глазах.* «В России республика невозможна, — говорил Рылееву декабрист Штейнгель, — и революция с этим намерением будет гибельна; в одной Москве (Штейнгель был очень близок к московской промышленной буржуазии) 90 тысяч одних *дворовых, готовых взяться за нож*, и первыми жертвами будут наши бабушки, тетушки и сестры». Декабристов победил на Сенатской площади не столько Николай со своей картечью, сколько *призрак пугачевщины.* Ужас перед этим призраком сковал их руки в самую решительную минуту и навсегда погубил буржуазную революцию в России.

В самом деле, 14 декабря 1825 года было первым и последним *революционным* выступлением буржуазии в России. Мечтать о конституции буржуазия не переставала все время, но надежды она возлагала исключительно на царское снисхождение. Она подавала царям (особенно Александру II) адреса (просьбы) насчет конституции не один раз, но когда она видела попытку революции со стороны социалистов, она в ужасе шарахалась от этих смутьянов и начинала уверять царя в своей преданности, предлагая свои услуги для борьбы с «крамолой». Для буржуазии символом веры стало то, что написал один из самых видных

представителей буржуазной мысли в России профессор Кавелин: «Всякие ограничения верховной власти в России, кроме идущих от нее самой (т.-е. власти, а не России), были бы невозможны, и потому, как иллюзия и самообольщение, положительно вредны».

Почему же это так было? Просто ли потому, что буржуазия, чем дальше к востоку Европы, тем подлее и трусливее, как написано в первом манифесте русской рабочей партии? Конечно, и у этой подлости буржуазии есть свое «материальное основание». Промышленному капитализму в период его образования нужен пролетариат, т.-е. нужно обезземеление крестьянства, нужно «покровительство отечественной промышленности», т.-е. высокие таможенные пошлины, всей тяжестью падающие на народную массу, наконец, нужны внешние рынки, т.-е. «потрясающая Стамбул и Тегеран десница». А для всего этого нужна *сильная центральная власть*, нужна монархия. А если припомнить еще, что у нас промышленный капитал никогда не правил единодержавно (как это было, например, в XIX веке в Англии и Соединенных Штатах), а все время должен был делиться с торговым, — а тому была нужна не только монархия, а и прямо самодержавие, — то политическая трусость русской буржуазии становится более, чем понятна.

Народническая революция.

Неудача декабристов разно подействовала на разные поколения современной этому событию русской интеллигенции. Старшее поколение или впало в совершенное холопство, как Сперанский, участием в суде над декабристами спешивший искупить свою «вину»: то, что его (без его ведома) заговорщики включили в состав членов «временного правительства», — или предалось мрачному отчаянию, как друг Пушкина, Чаадаев, написавший свое знаменитое «Философическое письмо», где он доказывал, что у России нет будущего, что она откололась от Западной Европы и осуждена на невежество и одичание. За это письмо Николай велел объявить Чаадаева сумасшедшим. Иначе отнеслось к событию младшее поколение, те, кто были детьми или подростками в тот год, когда Николай начал свое царствование пятью виселицами. Первым их чувством была ненависть к этим висельным порядкам и к царю-вешателю.

По мере того, как шло это царствование, ненависть должна была увеличиваться. Мы уже видели отчасти, в какое положение поставил Николай интеллигенцию (см. выше, стр. 98—99). И раньше был полицейский сыск, и раньше были всякие тайные приказы, канцелярии и экспедиции, но до Николая всего этого цари и их свита как бы слегка стыдились. Один Петр «работал» лично в застенке; но то была, по-своему, революционная эпоха, да Петр и за все брался лично: сам и корабли строил, и зубы

рвал, «сам ружьем солдатским правил, сам и пушку заряжал», как поется в известной песне. Николай «сам» занимался только двумя вещами: муштровкой солдат (умел делать ружейные приемы «как лучший ефрейтор», по отзыву одного почитателя) и полицейским сыском. Тайная экспедиция сделалась при нем третьим отделением собственной его величества канцелярии. Его начальник, шеф жандармов, т.-е. главный начальник всех политических шпионов, был одним из первых лиц в государстве: на этот пост назначались самые близкие царю лица. Во всех больших городах были офицеры «корпуса жандармов», тщательно наблюдавшие за всей общественной жизнью. Чтобы возвысить этих шпионов в глазах общества, им дали военные чины и военный мундир. Это было хорошо в том отношении, что та «страсть к мундиру», о которой говорит Чацкий в «Горе от ума», и которая развилась под влиянием войны 1812 года, когда в каждом, носившем мундир, видели «защитника отечества», быстро погасла, и у молодежи 60-х, например, годов сменилась совсем противоположным чувством, так что люди очень почтенные терпели от молодежи только за то, что на них был военный мундир. Но какова была наглость самодержавия и приниженность так называемого образованного общества, если царские шпионы могли разгуливать среди этого общества совершенно явно, в особом, отличавшем их ото всех мундире, и не рисковать, что их выгонят из собрания, побьют, заплюют и т. п.?

Предметом наблюдения «корпуса жандармов» была, конечно, все та же интеллигенция: с купцами или с помещиками жандармам нечего было делать. До купцов, впрочем, они иногда добирались, но исключительно со стороны их кармана. В глазах же интеллигенции жандармский мундир как бы воплотил собою все николаевское царствование. Это хорошо выразилось в известном стихотворении Лермонтова: «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ. И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ». (Жандармский мундир только позже стал синим, сначала он был голубым, еще ярче). А Лермонтов еще вовсе и не был революционером, и если попал на Кавказ (уезжая туда, он и написал это стихотворение), то просто за слишком «вольные» стихи, касавшиеся, впрочем, смерти Пушкина: при известных вам нравах Николая, это был сюжет щекотливый. Понятно, что люди, стоявшие левее Лермонтова, гораздо сильнее чувствовали на себе тяжесть николаевщины. И чем дальше, тем она была тяжелее.

С особой яркостью это сказалось на деле петрашевцев, разыгравшемся в последнее десятилетие николаевского царствования, в конце 40-х годов. Буташевич-Петрашевский был молодой литератор, очень образованный и живой, квартира которого сделалась чем-то вроде клуба, где собиралось все, что было поживее среди петербургской молодежи. На «пятницах» Петрашевского говорили о всевозможных общественных вопросах, между

прочим, об освобождении крестьян, о чем все время бесплодно толковали в николаевских «секретных комитетах», и о судебной реформе (проекты которой как раз в это время вырабатывались и министрами Николая). Но больше всего гости Петрашевского увлекались модным тогда учением Фурье, французского утописта, т.-е. мирного, не революционного социалиста, надеявшегося доказать миру пользу социализма путем убеждения и примера. Николаевские шпионы (конечно, без мундиров) бывали на этих «пятницах», но, при всем старании, никакого бунта или приготовлений к бунту усмотреть не могли. Тем не менее, в одну прекрасную ночь все посетители «пятниц» были арестованы и отданы под суд. Казалось бы, что тут-то уж с полным разумным основанием можно было ожидать какой-нибудь мягкой «меры взыскания»: увольнения «неблагонадежных» от службы или высылки из Петербурга, чтобы «зараза» не распространялась в столице. Николай велел приговорить их к *смертной казни*; их вывели на площадь, надели на них саваны, привязали к столбам и потом «помиловали», заменив смерть каторгой. Каторга за простые разговоры — это было слишком даже для привыкшего ко всему николаевского общества. После дела петрашевцев Николая возненавидело даже среди буржуазии все, не поглощенное исключительно жаждой наживы или стремлением приобрести милость начальства.

Со смертью Николая у всех, как камень с души свалился. Буржуазия была совершенно удовлетворена скромными «великими реформами». Самые смелые в буржуазной среде решались лишь *просить* об «увенчании здания», т.-е. о конституции, но не пришли в отчаяние, когда крепостническое государство на эту уступку не пошло. Иное было положение интеллигенции. Ей, после смерти Николая, немногим стало лучше. Цензура существовала, правда, старые русские образцы были заменены усовершенствованными французскими приемами, вместо простого красного карандаша цензора газеты и журналы гвоздили «предостережениями» и «приостановками», кое о чем стало можно писать, о чем при Николае и помянуть было нельзя, но, благодаря именно «реформам», на свет божий выплыло столько новых и интересных вопросов, что полууступок было мало и стеснение чувствовалось чуть ли не еще больше, чем прежде. Аресты шли за арестами, крупнейший публицист того времени, Чернышевский, сидел в тюрьме и скоро отправился на каторгу; самый популярный писатель тех дней, Герцен, не смел показаться в России и жил в Лондоне, ссылали за одно знакомство с ним; другой, начинающий, знаменитый публицист и критик Писарев писал свои статьи в Петропавловской крепости. Все это создавало озлобление и ожесточение, до которого далеко было и большинству декабристов. Свержение самодержавия было для всех самым насущным вопросом, а уступки, на которое пошло крепостническое государство, волнения, которыми ответило крестьянство на «осво-

бождение», ободряли, давали надежду, что цель близка. Под каким бы знаменем ни выступала тогдашняя революционная интеллигенция, — демократическим, социалистическим, анархическим,— задача у ней в сущности была одна: повалить царизм.

Но это была по составу уже *не та* интеллигенция, какая выступала в 1825 году. Та была по профессии почти сплошь военная, по происхождению почти сплошь дворянская. В этой были и военные, и дворяне, но и те и другие тонули в массе новых людей, которых в тогдашней литературе называли «разночинцами». Впервые этот новый слой дал себя почувствовать в деле Петрошевского, о котором мы выше упоминали. Здесь по донесению николаевских шпионов, «с гвардейскими офицерами и с чиновниками министерства иностранных дел рядом находились не кончившие курс студенты, мелкие художники, купцы, мещане, даже лавочники, торгующие табаком». В другом месте шпионское донесение упоминает дворян, мещан, ремесленников, солдат, преимущественно же «учителей, студентов и учеников разных званий». Это потом повторялось и в процессах 60 — 70-х годов. Если мы присмотримся к происхождению этой пестрой массы, мы чаще всего найдем детей духовенства, попов и дьяконов, чиновничества, особенно провинциального, низших офицеров, небогатых помещиков и т. п. Сельский поп, владеющий участком земли, уездный чиновник, у которого свой домик в уездном городе, помещик, владелец десятков десятин,—все это *собственники*, буржуазия, но *буржуазия мелкая*. Правильно, научно выражаясь, «разночинец» есть мелкий буржуа или выходец из рядов мелкой буржуазии.

Революционное движение 60—70-х годов есть таким образом движение мелкобуржуазной интеллигенции. Именно интеллигентность и делала его революционным. Мелкая буржуазия, по мере развития капитализма разоряющаяся, превращающаяся в пролетариат (реформа 19 февраля разорила, между прочим, как раз мелких помещиков, владельцев десятков душ, которым выкупная сумма не дала капитала на заведение нового хозяйства, и только их), обыкновенно недовольна, раздражена, брюзжит, ворчит, но ее раздражение не всегда направляется по надлежащему пути. Ее можно натравить и на еврея, выдав его за виновника бедствий мелкой буржуазии,—так делают у нас в южной России; и на немца,—так с успехом делала капиталистическая буржуазия во Франции. Тогда она будет не революционной, а реакционной силой. Но когда мелкий буржуа достаточно образован, ему не так легко отвести глаза, и он хорошо видит, по крайней мере, своего *ближайшего* врага, от которого он, вот этот именно мелкий буржуа, страдает всего более. Для мелкобуржуазной интеллигенции в России времен «великих реформ» таким ближайшим врагом было крепостническое государство.

Во Франции конца XVIII века такая же мелкая буржуазия потребовала прежде всего «*политического*» переворота. С про-

возглашением республики она стала раскалываться, и люди, мечтавшие итти дальше политической свободы и гражданского равенства, погибли от руки революционных мелких буржуа, расчистивших тем дорогу реакционной крупной буржуазии. У нас, в России, было иначе. Мелкобуржуазные демократы, пожелания которых не шли дальше учредительного собрания, были и у нас. Их идеи выразились в листке «Великорусс», выходившем (тайно, нелегально, разумеется) в Петербурге в 1861 г. Около «Великорусса» группировалась более зажиточная часть мелкобуржуазной интеллигенции, близкая к настоящей буржуазии. «Великорусс» грозился вооруженным восстанием, но, в сущности, с гораздо бо́льшим удовольствием обошелся бы более мирными средствами, подав, например, адрес царю о созыве народных представителей. На молодежь и более бедных «разночинцев» это имело мало влияния, и настоящая политическая мелкобуржуазная революция разразилась в начале 60-х годов не в самой России, а в Польше.

В Польше возмущение гнетом самодержавия усиливалось всею силой национальной ненависти угнетенного народа к угнетавшему его иноземному правительству. Польша, как каторжник, прикованный цепью к другому каторжнику, поневоле разделяла все судьбы России, вплоть до империалистской войны 1914 г., когда она пострадала больше всех. Разгром декабристов коснулся и ее: у поляков были свои тайные общества, связанные с русскими. Но в Польше тогда была еще конституция, и Николай не мог расправляться в Варшаве так свободно, как в Петербурге. В Польше не удалось вырвать офицерскую революцию до корня, кое-что осталось, и в благоприятную минуту образовался новый заговор. Наместник Николая, цесаревич Константин, больше всего занятый дикой муштровкой солдат, этот заговор проглядел. В ноябре 1830 г. и он, и русский гарнизон Варшавы оказались окруженными восставшей польской армией (мы помним, что Польша еще была особым государством, со своей армией). Константин должен был сдаться на капитуляцию. Поляки позволили ему и его войскам удалиться в Россию. В Варшаве было провозглашено низложение Романовых, Польша снова стала свободной страной. Николай, конечно, не помирился с этим и сейчас же двинул против поляков все военные силы, какие нашлись у него под рукой. Но небольшая польская армия, охваченная революционным энтузиазмом, под начальством офицеров, вышедших из школы Наполеона I, оказалась опасным противником. Первое наступление русских войск на Варшаву кончилось неудачей. Только с помощью пруссаков, снабжавших русскую армию порохом, провизией, перевозочными средствами, удалось Николаю справиться с польской революцией после восьмимесячной борьбы.

Завладев Варшавой (в августе 1831 г.), Николай уничтожил польскую конституцию; наместником с неограниченными полномочиями стал новый завоеватель Польши, фельдмаршал Паскевич.

9*

В Польше начали насаждать православие, самодержавие и народность (конечно, русскую). Для этого раздавали конфискованные у поляков имения русским офицерам, насильно обращали в православие униатов, еще уцелевших в Польше от XVII века (см. выше, стр. 66), насильно обучали в школах русскому языку и т. д. Всей тяжестью это обрушилось именно на мелкую буржуазию: крупные паны-землевладельцы или выехали за границу, пользуясь тем, что Польша была поделена между тремя государствами и у многих богатых помещиков были имения сразу и в России, и в Австрии, и в Пруссии; или сделались раболепными придворными Николая, заняв в Петербурге важные места на царской службе. Но мелкой «шляхте», мелким помещикам, небогатым горожанам некуда было деваться от Паскевича и его казаков и жандармов. В то же время экономически Польша быстро развивалась, благодаря именно связи с Россией, точнее, с теми западно-русскими губерниями, которые создались из обломков бывшего Польско-Литовского государства; эти губернии представляли великолепный рынок для фабрик «царства Польского». И как ни старался Паскевич положить непереходимый рубеж между русской Польшей и окружавшими ее западно-европейскими странами, это было невозможно просто по географическим условиям: «царство» клином врезывалось между Пруссией и Австрией, пограничные области которых были населены отчасти теми же поляками. При таких условиях сношения через границу были ежедневные, и польские «эмиссары» из-за границы постоянно проникали в пределы «царства». Замершее в России революционное брожение в Польше не прекращалось ни на минуту.

Севастопольское поражение Николая, которому даже в России, как мы помним, многие втайне радовались, полякам должно было показаться зарею освобождения. В Польше знали, что победитель России, французский император Наполеон III, мечтал о восстановлении империи своего дяди, Наполеона I. Но в эту империю входило когда-то и «герцогство Варшавское». Оно было в неменьшем порабощении Наполеона I, чем позже «конституционная» Польша у Александра I. Но это уже все забылось, после Николая и Паскевича эпоха Наполеона казалась золотым веком. Если прибавить, что Наполеон III действительно обнаруживал интерес к полякам, заговаривал о них и во время переговоров о парижском мире (см. стр. 86), и при личных свиданиях с Александром II, что в это самое время происходило сильное национальное движение в соседней Германии и в Италии, где в это время из нескольких мелких государств складывалось единое итальянское королевство, притом с помощью именно Наполеона III, то надежды мелкобуржуазной польской массы с помощью Франции добиться свержения русского гнета будут совершенно понятны.

Александр II отнюдь не думал уступать полякам. Видя, как восстановил против себя Николай всех своим палочным упра-

влением, своей грубостью, его сын, человек не глупый, сообразил, как некогда Александр I после Павла I, что надобно подольститься к обществу. Он старался быть ласковым и приветливым в обращении, всем старался сказать что-нибудь приятное, старался показать, что все в России идет от него. Так, освобождение крестьян изображалось, как дело исключительно царской милости, хотя сам же Александр отлично понимал, что крестьянам дают не то, что им нужно, что их обманывают, и, подготовляя всемилостивейший манифест, одновременно подготовлял все на случай усмирения неизбежного, по его собственному мнению, бунта обманутых крестьян. Так же точно вел он себя и по отношению к полякам. Режим Паскевича был смягчен, власть наместника несколько обуздана (Паскевич уже умер к этому времени и наместником был другой генерал, Горчаков), в то же время Александр и мысли не допускал, что *его* власть в Польше или в России может быть ограничена. На почтительные просьбы русской буржуазии о конституции он отвечал довольно вежливым отказом, иногда, однако, ссылая слишком назойливых просителей. Но когда польская мелкая буржуазия начала революционные манифестации, его ответ был короток: первая же манифестация была расстреляна. Это случилось почти одновременно с изданием манифеста 19 февраля 1861 г. и, как обухом по лбу, ударило тех наивных людей, которые верили в доброту Александра II. В их числе был и Герцен, искренно веривший до тех пор, что Александр может стать настоящим, а не в кавычках, освободителем России, и обращавшийся к нему с соответствующими письмами. Можно себе представить, что сказал бы Герцен, если бы знал секретный приказ «доброго» царя бомбардировать Варшаву в случае повторения «беспорядков». Усмирять восстание при помощи сплошной бомбардировки городов, не разбирая правого и виноватого, этот прием изобретен вовсе не московским генерал-губернатором Дубасовым, в 1905 г. бомбардировавшим Пресню, а самим «царем-освободителем»; только последний не имел случая осуществить угрозу.

При нежелании царя ослаблять самодержавие в Польше и ослабленной в то же время власти его агента, наместника, получалось что-то вроде сплошной провокации: польское общество волновалось все более и более и то там, то сям натыкалось на русские штыки и нагайки. Александр, конечно, и самому себе не признавался, что он провоцирует поляков фальшивыми уступками. Ему польское движение казалось делом исключительно злонамеренных агитаторов. Чтобы выловить этих последних, он и удумал, вместе со своим братом Константином Николаевичем, которого он назначил наместником на место Горчакова, меру уже совсем провокационную. Тогда не было еще всеобщей воинской повинности, а время от времени производились рекрутские наборы. Так вот, на 1 января 1863 г. в Польше был объявлен рекрутский набор, при чем заранее было решено «забрить лоб»

всем молодым людям, выделившимся своим революционным настроением. К счастью этих молодых людей, планы «доброго» царя разгласились прежде времени. Революционная молодежь, поставленная перед выбором—или быть замурованной в русские казармы, или взяться за оружие в качестве польских солдат, выбрала последнее. Намеченные к рекрутчине молодые люди бежали в леса и образовали там вооруженные отряды. Так началась вторая польская революция.

На первый взгляд она была еще безнадежнее первой. Теперь у поляков не было своей регулярной армии,—вся страна была занята русскими войсками. Польские отряды, разрозненные, плохо вооруженные, могли вести только партизанскую борьбу. Но, во-первых, сами русские войска оказывались не так уже безусловно надежными: целый ряд офицеров, возмущенных двуличной политикой Александра, выказывали сочувствие полякам, некоторых из них расстреляли для поддержания дисциплины, зато другие, особенно из поляков по происхождению, бежали в отряды восставших и стали их командирами. А затем поведение Наполеона III, который, формально, был в это время в союзе с Александром, становилось все подозрительнее. Он продолжал хлопотать за поляков и подбивал к тому же своих прежних союзников—Англию и Австрию. Царское правительство начинало трусить, ему уже мерещилось воскресение той коалиции, которая заставила его положить оружие под Севастополем, и оно готовилось пойти на уступки. Никогда еще русская буржуазия не была так близка к вожделенной конституции, как в эту минуту. Министру Валуеву было приказано разработать план привлечения к работам государственного совета гласных только что введенных тогда земских собраний.

Страх оказался преждевременным. В русской армии «революционная зараза» (на которую сильно рассчитывали и поляки) не пошла дальше некоторой части офицерства. Солдаты смотрели на поляков, как на всякого другого неприятеля, и добросовестно принялись истреблять «хищников», как называли они польские партизанские отряды. Англия и Австрия очень плохо поддавались увещаниям Наполеона III и дальше «дипломатического», т.-е. бумажного и словесного, вмешательства не шли. Напротив, Пруссия, по-прежнему заинтересованная в том, чтобы Польша не воскресла, стала на сторону Александра еще решительнее, чем это было в 1831 г. Она предложила теперь России уже не косвенную помощь припасами и т. п., как тогда, а совершенно прямую и непосредственную,—предложила свою армию для усмирения польской революции. Это прежде всего так напугало Австрию, что та совсем отказалась от содействия Наполеона III. Александра же это так ободрило, что он бросил всякую мысль об уступках. «Мятеж» решено было подавить самыми свирепыми мерами. После не менее фальшивой, чем все предыдущие милости, амнистии, к восставшим стали беспощадно применять смертную казнь. В

Вильну был послан один из реакционнейших помощников Николая I — Муравьев, еще до этого прозванный «вешателем». Он вполне оправдал это данное ему в кредит прозвище, но и в Варшаве, где командовал генерал не со столь громкой репутацией, вешали не меньше. Польша и соседние с нею, бывшие польские губернии были наводнены русскими войсками, и скоро на каждого «мятежника», вооруженного охотничьим ружьем, приходилось три русских солдата с отличными винтовками. Если при этом с восстанием возились все же больше года, в этом виновата была «ненадежность» русского командного состава, но теперь уже совсем по иным мотивам: многим было соблазнительно сделать себе карьеру в этой легкой войне, и они намеренно не «добивали» польских партизанов, оставляя сотню, другую на развод; те являлись кадром для нового отряда, и игра начиналась сызнова.

Вторая польская революция была, в конце-концов, раздавлена, и в Польше началась дикая реакция. Управление Паскевича казалось полякам раем сравнительно с тем, что наступило теперь. Прежде польских детей насильно учили русскому языку, теперь польским детям в школе запрещали говорить между собою по-польски. Польской школы быть не могло, была только русская школа, а в русском казенном здании нельзя было говорить на крамольном польском языке. Тысячи чиновников-взяточников, прогнанных из России, появились теперь в Польше и занялись «обрусением». Поляки, и раньше ненавидевшие русских, теперь стали их еще и презирать, им начинало казаться, что все русские — продажные твари, готовые на все, ради денег. Но обуржуазившееся правительство Александра II все-таки и поумнело, сравнительно с николаевскими временами. Николай полагался исключительно на нагайку и штык, его сын повел более тонкую политику. Он попытался расколоть польскую народную массу, подкупив «милостями» крестьянство. В «царстве» крестьяне были свободны еще со времен Наполеона I, но земли они тогда не получили; теперь им была дана земля, отобранная у помещиков, при чем расходы по «выкупу» взяло на себя государство. В западных губерниях, затронутых революцией, где крестьяне были освобождены в 1861 г., но по обще-русскому способу, т.-е. с большим их ограблением, «уставные грамоты» были пересмотрены и сильно изменены в пользу крестьян. Надежды Александра сделать таким путем польского холопа благонадежным холопом русского царя успехом не увенчались, переход значительной части земли в руки крестьян только дал лишний толчок экономическому развитию Польши, и она все же осталась самой революционной окраиной империи царей. Но вся попытка показала, что Александр с легкой руки 19 февраля все более и более входил во вкус демагогии, и в самой России эта царская демагогия имела больше успеха.

В самой России широкая публика не была, конечно, посвящена в переговоры царской дипломатии с Францией, Австрией,

Пруссией и т. д. Эта публика читала в газетах грозные, как ей казалось, ноты Наполеона III, английского министра Росселя и других, видела военные приготовления, от себя присочиняла тысячу небывальщин; как всех обывателей, ее легко можно было убедить, что па Россию готовится новое нашествие «двунадесяти языков», как в 1812 году, и когда нашествие не состоялось, а польское восстание было раздавлено, ее легко было уверить, что всему этому причиной мудрость и твердость царя Александра и его министров. Борьбу с несчастными польскими партизанами изображали, как войну с какой-нибудь великой державой. В газетах ежедневно печатались военные сводки, где важно сообщалось о сражениях, в которых с русской стороны был убит один казак и т. п. У мелкой буржуазии очень сильно развит оборонческий патриотизм, и это понятно: мелкий собственник сильно страдает от неприятельского нашествия, война гонит его из его маленького угла, неприятель сожжет дом, зарежет корову, разорит, одним словом. В мелкобуржуазных странах оборончество всегда процветает, пример — Франция; и на эту удочку мелкого буржуа всего легче поймать. Царские публицисты (теперь и самодержавные публицисты понадобились) отлично умели играть на этой струнке русского мелкого буржуа. Особенно отличился Катков, редактор и издатель «Московских Ведомостей», тогда только что начинавший свою карьеру первого черносотенного публициста в России. В 1863 г. он умел еще сочетать патриотизм и либерализм, что особенно привлекало тогдашнего читателя, еще мечтавшего втайне о конституции и гордившегося «великими реформами», и в то же время хорохорившегося, что мы не дадим себя полякам в обиду: понадобится, всю Европу шапками закидаем! И вот, Герцен потерял три четверти своей популярности из-за того, что заступался за поляков, а Катков эту популярность приобрел. Тот, кто увлекался только политическим движением,—публика «Великорусса»,—в патриотическом угаре забыл на время даже и о конституции, вспомнил лишь позже. А на революционных позициях осталась лишь та часть мелкой буржуазии, которая уже тогда усвоила себе идеал *социализма.*

Мелкобуржуазный социализм родится на той почве угнетения и разорения мелкого собственника крупным капиталом, о которой упоминалось выше и которая лежит в основе всей мелкобуржуазной революционности. Мелкий буржуа ненавидит капитал и капиталиста иногда не меньше, чем рабочий, но ненавидит поиному. Рабочий стремится создать общественный строй, который соответствовал бы крупному производству, созданному капитализмом. Работают все сообща, и собственность должна быть общая; но о возвращении к мелкому производству, к тем временам, когда каждый работал в одиночку, рабочий не мечтает. Мелкий буржуа мечтает именно об этом — о тех блаженных временах, когда у каждого был свой домок, своя корова, свои курочки и уточки; для него выгодно уничтожить капитализм, а под капи-

тализмом он смутно понимает именно крупное производство. То, на чем рабочий надеется основать социализм, для мелкого буржуа пугало; эту беду—крупное капиталистическое производство—он надеется как-нибудь избыть; мелкобуржуазная социалистическая литература в России наполнена смешными спорами о том, будет у нас капитализм или нет. И всякий добрый мелкобуржуазный социалист должен был верить, что у нас капитализма быть не может. Фабрика — очаг пролетарского социализма—казалась ему ужасным местом, губящим здоровье и жизнь населения. А идеалом его была в России *сельская община*.

Сельская община существовала всюду в Европе в средние века, т.-е. лет 500—600 тому назад, и является остатком первобытного, бродячего, лесного земледелия. Пашню «выдирали» из-под леса сообща. естественно, что вся «деревня» и владела очищенной землей сообща. Так как удобрения, плодопеременной системы и т. п. не существовало, все обрабатывали землю одинаково, сеяли одно и то же, жали в одно и то же время, то первобытную деревню легко было разделить на равные жеребьи. Потом переходили на новую «деревню», там повторялось то же самое. С установлением феодального строя (см. стр. 29 и след.) помещик выжимал прибавочный продукт сразу изо всей деревни; это ему было удобно, и он продолжал поддерживать общинные порядки уже искусственно и после того, как бродячее земледелие сменилось мало-по-малу оседлым. Впоследствии помещикам казалось, что это они и выдумали общинное земледелие, и эта точка зрения проникла в науку. В 60-х годах профессора из помещиков доказывали что сельская община в России возникла в XVI—XVII веках под давлением начальства. Это, конечно, вздор, община у нас, как и в Западной Европе (Англии, Германии, Швейцарии; в последней остатки ее дожили тоже до наших дней),—остаток глубокой старины. Но с социализмом или коммунизмом она не имеет ничего общего,—это видно с первого взгляда. Коммунизм организует *производство*. В сельской общине никакого общего производства нет и никогда не было. Всякий крестьянин работает на своей полоске самостоятельно, то, что он соберет, принадлежит ему, а не идет в общий котел. Даже равенство наделов не обязательно, в руках у одной крестьянской семьи могло скопиться несколько полосок. Но эти полоски не принадлежали ей навсегда: землю могли *переделить*, и ее полоски могли достаться другим, а она получит новые.

Вот это отсутствие личной и частной прочной собственности на землю, эти *переделы* земли в глазах мелкобуржуазной интеллигенции и были ручательством, что из общины может развиться социализм. В своем понимании социализма интеллигенция шла не от *производства*, а от *распределения собственности*. Но распределение собственности есть вторичный признак, это распределение зависит от организации производства. Мы сейчас видели, что и общинное земледелие возникло на основе лесного,

подсечного земледелия (остатки древнейшей, до-феодальной общины и найдены были у нас там, где это земледелие удержалось до наших дней, в Архангельской губ. и в Сибири), т.-е. на основе определенного производства. Социалисты 60—70-х годов, конечно, не мечтали о воскрешении подсечного земледелия, это было бы слишком странно. Просто, они не понимали, что между общиной и первобытными формами земледелия может быть какая-нибудь связь.

На существование общинного земледелия в России, как на факт очень важный, отличающий Россию от других европейских стран, обратили внимание впервые в 40-х годах, под влиянием отчасти западно-европейских исследователей: мелкобуржуазный социализм и в Западной Европе хватался за сохранившиеся еще там кое-где остатки общины, видя в них залог какого-то великого будущего. Одна европейская страна хвасталась этими остатками перед другими. В германских странах их было больше, чем во Франции, родине социализма, и вот немцы с гордостью смотрели на французов: те, мол, только болтать умеют о социализме, а у нас-то он уж есть. Но когда один немецкий путешественник, Гакстгаузен, заехал в Россию, он увидал, что здесь не только остатки общины сохранились, но она попросту господствует во всей Великороссии. Он обратил на это внимание своих московских знакомых. Те пришли в восторг: вот она где, обетованная земля социализма-то! России и суждено обновить мир. Одних это преисполнило необыкновенной национальной гордостью, они стали смотреть на Россию и на славянские страны вообще (там везде остатков общины было больше, потому что они пережили период бродячего земледелия, сравнительно, менее давно), как на каких-то избранников, от которых пойдет спасение «сгнившего» Запада (к числу «язв» последнего они причисляли и «пролетариатство»). При чем в этом свете Россия показалась им великолепной со всех сторон, и русская простонародная одежда, и то, что русский крестьянин не бреет бороды, и т. д. Словом, все, кроме самодержавия Николая, а иные мирились даже и с ним. И во всяком случае все мирились с царской властью вообще. Это направление в русской литературе получило название *славянофильства* («славянолюбства»). Эти были уверены, что России и революции никакой не нужно,—она и так хороша. Но для других, более революционно настроенных, община служила доказательством, что в России социалистическая революция более возможна и более близка, чем где бы то ни было. К этому направлению принадлежал прежде всего Герцен.

Герцен, как на Западе Маркс и Энгельс, а у нас позже Плеханов, служит доказательством, что вовсе не нужно по происхождению принадлежать к тому или другому общественному классу, чтобы стать выразителем стремлений и надежд этого класса. И Маркс, и Энгельс родились в буржуазных семьях, что не помешало им стать основателями пролетарского социализма.

Плеханов был сын помещика, что не помешало ему стать родоначальником рабочего социализма в России. Для распространения какой-нибудь идеи важно, в какой среде она распространяется, кто является ее последователем, а не то, в чьей голове она зародилась. И Маркс, и Энгельс, и Плеханов не были рабочими, но влияние-то имели только на рабочих, буржуазия их учения не приняла. Герцен был сын богатого помещика и сам богатый человек; это сказывалось на многих его взглядах, объясняет многие его ошибки. Во время крестьянской реформы, например, он, как упоминалось, наивно верил в добросовестность Александра II и его сотрудников, верил, что те действительно хотят освободить крестьян, не в кавычках. Он писал Александру и его жене письма по этому поводу и воображал, что эти письма имеют какое-то действие. Но он был живой и чуткий человек. В 1848 году он был в Париже; картина борьбы французского пролетариата с капиталом, особенно расстрел парижских рабочих в июне этого года, произвели на него неизгладимое впечатление. «За такие минуты ненавидят десять лет, мстят всю жизнь,— писал Герцен об июньских расстрелах.—*Горе тем, кто прощает такие минуты*». Эти минуты и сделали его социалистом. Но социализм пролетариата, революционный коммунизм был слишком далек и чужд для этого богатого барина. Мелкобуржуазный социализм был все-таки ближе и понятнее. Герцен и сделался провозвестником мелкобуржуазного социализма в России.

«Жизнь русского народа до сих пор ограничивалась общиной; только в отношении к общине и ее членам признает он за собою права и обязанности, — писал Герцен французскому историку Мишле в 1851 г. — Вне общины все ему (русскому народу) кажется основанным на насилии». «Общинная организация, хотя и сильно потрясенная, устояла против вмешательства власти; она благополучно дожила *до развития социализма в Европе*. Это обстоятельство бесконечно важно для России». «Из всего этого вы видите, какое счастье для России, что сельская община не погибла, что личная собственность не раздробила собственности общинной; какое это счастье для русского народа, что он остался вне всяких политических движений, вне европейской цивилизации, которая, без сомнения, подкопала бы общину и которая ныне сама дошла в социализме до самоотрицания. Мы, русские, прошедшие через западную цивилизацию (т.-е. русская интеллигенция, хочет сказать Герцен), мы не больше, как средство, как закваска, как посредники между русским народом и революционной Европой. Человек будущего в России — *мужик*, точно так же, как во Франции — работник».

Эта мысль, впервые высказанная Герценом, что русская община есть не гарантия от революции в России, как думали славянофилы, а, наоборот, доказательство того, что именно в России должна начаться социалистическая революция, прочно вошла в сознание русской интеллигенции 60—80-х годов. Знаменитый пу-

блицист следующего за Герценом поколения, Чернышевский, сам принадлежавший уже к мелкобуржуазной интеллигенции (он был сын священника в г. Саратове), пытался доказать ее научными и философскими доводами. Начало развития и конец, говорил он, всегда бывают похожи друг на друга: человеческое общество началось коммунизмом и должно к коммунизму прийти. В России это начало, по медленности ее развития, застряло до XIX века, но это вовсе не значит, что нам не суждено увидеть конца. Наоборот, мы его увидим скорее: «история, как бабушка, очень любит младших внучат». Это ничего, что мы не пережили промежуточного периода между первобытной общиной и социалистической коммуной, что у нас не было капитализма, как в Западной Европе. (Чернышевский и его современники смешивали капитализм с промышленным капитализмом, т.-е. часть принимали за целое; так как промышленный капитализм в середине XIX века был еще не очень у нас заметен, то им и казалось, что период капитализма для России еще не наступил, а что у нас уже 200 лет существует капитализм торговый, этого они не замечали). Страны, которые позднее других начинают свое экономическое развитие, пробегают зато весь путь развития гораздо быстрее, прыгая, так сказать, через целые периоды. Так и Россия может перепрыгнуть капиталистический период и попасть сразу в социалистический.

Чернышевский представлял себе эту социалистическую революцию в России довольно еще отдаленной. На практике, а не в теории, он тяготел более к политической демократии,—он стоял в центре «великорусцев», а «Великорусс» обращался к «образованным классам» и мечтал об учредительном собрании. После крестьянских волнений 1861 г. сам Чернышевский находил возможным обращаться и к крестьянам; он составил для последних прокламацию (одну из первых в России, если не считать пугачевских манифестов), которую ему не удалось распространить. Несмотря на это, за эту прокламацию Чернышевского сослали на каторгу. При этом, так как на суде доказательств, что прокламацию написал именно Чернышевский, было мало, прибегли к подлогам и лжесвидетелям. Александр II обо всем этом прекрасно знал и, тем не менее, приговор утвердил. В этой прокламации Чернышевский не призывал крестьянство к немедленному бунту: что хорошего, писал он, в одном селе бунт поднять, когда в других еще готовности нет? Он советовал крестьянам только *организоваться*, готовясь к восстанию в будущем, в благоприятную минуту. Но среди его последователей нашлись люди, которые не могли и не хотели ждать; они выпустили воззвание, гораздо более революционное, чем «К крестьянам» Чернышевского, и шедшее притом в своих лозунгах гораздо дальше.

Это были авторы прокламации «К молодой России», вышедшие из рядов тогдашнего студенчества. Тогдашнее студенчество было не такого состава, как теперешнее. Буржуазных сынков в нем

было мало, ибо купцы еще не видели потребности отдавать детей в университет, а дворянские дети еще предпочитали военную службу. Главную массу студенчества составляли дети второстепенного чиновничества, а самой дельной и работоспособной частью были семинаристы, дети сельских попов, дьяконов, иногда и дьячков, прошедшие духовную школу, семинарию, но вместо того, чтобы самим стать попами и дьяконами, повернувшие в университет. Это была молодежь почти нищая,—многие семинаристы приходили в Москву держать экзамены пешком за сотни верст,—энергичная, трудолюбивая и сильно озлобленная. Боясь результатов собственных «реформ», боясь того, что они чересчур демократизируют общество, смешают все сословия, правительство Александра II искусственно старалось закрепить университет за привилегированными классами, не ниже среднего чиновничества, для этого оно повысило плату за учение и уменьшило число стипендий, которые прежде именно беднякам и давали возможность учиться. На этой почве начались в Москве, а особенно в Петербурге, студенческие беспорядки, кончившиеся арестами и ссылками. Это довершило образование в студенческой среде революционного настроения.

Из студенческого кружка и вышла прокламация «Молодая Россия». Ее основной чертой, которая больше всего напугала современников, даже таких, как Герцен, было требование «немедленной революции, революции кровавой и неумолимой, революции, которая должна изменить радикально все, все, без исключения, основы современного общества и погубить сторонников нынешнего порядка». Прокламация заканчивалась восклицанием: «Да здравствует социальная и демократическая республика русская». Герцен утешал своих читателей, что, услыхав эти слова, русский народ и не подумает «схватиться за топор». Что через 50 лет народ схватится при этом лозунге за винтовку и пулемет и произведет со сторонниками «нынешнего порядка», т.-е. буржуазного строя, именно ту расправу, которой грозилась «Молодая Россия», этого Герцен не предвидел. Но, помимо пророческого предвещания *формы* будущего переворота и его *цели,* прокламация любопытна еще тем, что она также правильно предугадывает и многие отдельные меры Р. С. Ф. С. Р. Так, «Молодая Россия» требует дарового обучения в школах всех ступеней, полного и безусловного равноправия женщин, социализации земли, уничтожения частной торговли, «этого узаконенного воровства», и заведения общественных лавок. Все это, вплоть до признания торговли противообщественной спекуляцией, угадано очень верно; о национализации промышленности прокламация не говорит, потому что ее авторы, по всей вероятности, разделяли общее тогда заблуждение, что у нас нет еще крупной капиталистической промышленности. Но вообще «Молодая Россия» во многом является замечательным пророчеством, тем более замечательным, что ее авторам, повидимому, совершенно не-

известна была западно-европейская коммунистическая литература тех дней,—даже «Коммунистического манифеста» они не знали.

Но из студенческого кружка вышло не только первое социально-революционное воззвание, из такого же кружка вышел и первый социально-революционный подвиг, первое дело русской революции в 60-х годах. После 14 декабря интеллигенция в России ни разу не бунтовала практически, весь ее бунт был на словах и на бумаге. Бунтовал крестьянин, на этом крестьянском бунте основывались надежды интеллигенции, но как она экономически жила трудом крестьянских рук, так и политически она рассчитывала в борьбе с самодержавием на мужицкий топор. Революционное студенчество 60-х годов первое порвало с этой барской привычкой. Кружок, образовавшийся в Москве около Каракозова, сначала тоже ограничивался непосредственно социалистическими мечтаниями, о заведении общественных фабрик, мастерских и т. п. Но его вождь хотел какого-нибудь подлинного революционного дела. Как и Пестель, он понимал, что низвержение самодержавия неотделимо от гибели самодержца. Только у Пестеля гибель Александра I и всех Романовых составляла часть обширного революционного плана, который он надеялся выполнить с 40 тысячами солдат, Каракозову же пришлось этой частью и ограничиться, так как у него, кроме пары собственных рук, никаких сил в распоряжении не было. 4 апреля 1866 года он стрелял в Александра в Петербурге, в Летнем саду, но неудачно: царь остался цел и невредим. Каракозов был, как говорили тогда, подвергнут пытке, осужден и казнен.

Неудача покушения Каракозова дала роскошную пищу для царской демагогии. Каракозов был дворянин, а человек, хваставшийся, что он остановил руку «цареубийцы», и, во всяком случае, помогший арестовать Каракозова, был крестьянин. Сейчас же всюду затрубили, что господа в отместку за освобождение крестьян хотели убить царя, а освобожденный царем крестьянин его спас. Отовсюду посыпались приветственные адреса, на все лады восторгавшиеся «чудесным спасением». А под шум «народного негодования» начался неистовый *белый террор*. Людей стали арестовывать и ссылать такими массами, как не бывало со времен заговора декабристов. Свирепый «вешатель» Муравьев сделан был петербургским диктатором. То, что оставалось еще от мелкобуржуазного политического движения, было теперь добито, немногие журналы, еще не порвавшие с преданиями Чернышевского, были запрещены; в ссылку отправились люди, не имевшие ничего общего не только с революционным социализмом, но и с «Великоруссом», люди просто порядочные, не кричавшие «ура», когда расстреливали и вешали поляков, и не восторгавшиеся холопски каждой «реформой», милостиво подаренной своему народу Александром II. В числе этих людей был профессор военной академии полковник Лавров, тогда мирно занимавшийся фило-

софией и математикой. Ссылка его встряхнула, заставила задуматься над общественными вопросами и сделала мало-по-малу из мирного математика самого влиятельного русского публициста после Чернышевского, крупнейшего представителя русского мелкобуржуазного социализма, который Лавров, можно сказать, создал, как целую стройную систему. Правда, так как Лаврову очень скоро пришлось перейти на положение Герцена, бежать за границу, его произведения в полном виде стали доступны широкому кругу читателя только после его смерти (в 1900 г.). Но, во-первых, кружки передовой молодежи умели доставать и нелегальную заграничную литературу. А, во-вторых, основные мысли Лаврова, насколько их можно было излагать «цензурно», сумел распространить последователь Лаврова, очень талантливый критик и публицист Михайловский.

Первое свое произведение, однако, Лавров успел издать еще в России. Это были «Исторические письма», статьи, казавшиеся сухими, научными и теоретическими; так как при этом под ними не было подписи Лаврова, цензура их пропустила. Между тем молодежь читала их с жадностью, для нее они сделались своего рода евангелием. Чему же она научилась из этих писем?

Всего легче это понять, сравнив «лавризм» с марксизмом. Для марксиста в основе всей истории лежат, всю историю делают народные массы, трудящиеся массы, рабочие, крестьяне. Делают они историю своим физическим, производительным трудом. Производительный труд и есть тот фундамент, на котором строится все остальное — государство, литература, наука, искусство и т. д. От того, как организовано производство, из чего и как сделан фундамент, зависит вся постройка: у феодального общества, в основе которого лежит мелкое производство,— одна форма государства, одна наука, одно искусство, у промышленно-капиталистического общества—все это другое. Для Лаврова в основе лежит то, что *думают* не массы, а «критически мыслящие личности», т.-е. интеллигенция. История для него сама по себе никакого смысла не имеет. Смысл в нее вносит тот, кто ее изучает,—сам историк. От того, какие цели он себе ставит, каков его идеал, зависит и его понимание истории. «Если мыслитель верит в настоящее или будущее реальное осуществление своего нравственного идеала, то вся история для него группируется около событий, подготовлявших это осуществление», говорит Лавров.

Само собою разумеется, что если этот «мыслитель»—живой человек, а не сухая деревяшка, он не может ограничиться одним размышлением над историей, он постарается внести в нее свой идеал, т.-е. повлиять на ход истории. Вот как представляет себе Лавров это влияние: «Идеал зарождается в мозгу личности, потом переходит из этого мозга в мозги других личностей, разрастается качественно в увеличении умственного и нравственного достоинства этих личностей, количественно в увеличении

их числа, и становится общественной силой, когда эти личности сознают свое единомыслие и решатся на единодушное действие». Итак, ничтожное меньшинство делает историю. А массы, а большинство? «Большинство было обречено на однообразную, утомительную и непрерывную мирную работу для чужой пользы, не имея досуга для работы мысли, и потому оставалось неспособным для употребления своих громадных сил для завоевания себе права на развитие, на истинно-человеческую жизнь».

Не массы делают историю—они лишь удобрение для истории. На этом тучном удобрении вырастает урожай «критически мыслящих личностей». Но это удобрение живое, и «критически мыслящая личность» не может этого не сознавать. «Член небольшой группы меньшинства» должен себе сказать: «Каждое удобство жизни, которым я пользуюсь, каждая мысль, которую я имел досуг приобрести или выработать, куплена кровью, страданиями или трудом миллионов. Прошедшее я исправить не могу, и как ни дорого оплачено мое развитие, я от него отказаться не могу». «Зло надо исправить, насколько можно, а это можно сделать лишь в жизни. Зло надо *зажить*. Я сниму с себя ответственность за кровавую цену своего развития, если употреблю это самое развитие на то, чтобы уменьшить зло в настоящем и в будущем. Если я развитой человек, то я обязан это сделать».

Такое понимание истории получило в нашей литературе название «народничества». На самом деле народу тут отводилось последнее место: он страдает, он трудится, а думают за него и спасают его «критически мыслящие личности». Это понимание истории именно *буржуазное*, и от того буржуазного понимания истории, о котором мы говорили во введении к этой книжке (см. стр. 9), оно отличается лишь тем, что крупная предпринимательская буржуазия нагло пользуется трудом и страданиями масс, находя их совершенно «естественными», а «критически мыслящих личностей» величает «смутьянами» и «злонамеренными агитаторами», тогда как Лавров и народным массам и этим личностям сочувствует. Это показывает, что народничество есть учение, возникшее не среди класса предпринимателей, а среди класса, который чувствует на себе гнет предпринимателей, но от предпринимательского образа мыслей отказаться не может. *Народничество есть общественное мировоззрение мелкобуржуазной интеллигенции*,—мировоззрение «грамотея десятника», не позабывшего мужицкой избы, где он вырос, сознающего свою вину и свой долг перед народом, но все-таки командующего этим народом и смотрящего на народ сверху вниз.

Народническое мировоззрение окрашивает все революционное движение семидесятых—восьмидесятых годов, а в девяностых оно становится основой программы одной из двух больших революционных партий — партии социалистов-революционеров. Понадобился октябрь 1917 года, чтобы все поняли, что социалисты-революционеры — тоже буржуазная партия, несмотря на всю свою

революционность. Но «Исторические письма» Лаврова сказали об этом давным-давно. Вот отчего «народничество» так мало увлекало народ, рабочих и крестьян. А когда оно проникло, наконец, в деревню, то лучше всех понял его там кулак—сельский мелкий буржуа. Все это теперь ясно всем. Но когда вышли «Исторические письма», этого не понимал никто. Марксизма тогда в России не было и в помине. Социалистами люди делались не потому, что им была ясна историческая неизбежность социализма, а потому, что им было стыдно эксплоатировать чужой труд, делались под влиянием *личного* нравственного убеждения. Таким людям теория «критически мыслящих личностей» отлично объясняла все дело.

Но если теории Лаврова легли в основу народнической программы на долгие годы, то тактика народнической революции была выработана не Лавровым. Последний, несмотря на то, что царское правительство нашло его достойным ссылки, запрещало его сочинения и т. д., был в жизни самым мирным и скромным кабинетным ученым. Революционная деятельность рисовалась ему в виде исключительно *пропаганды*. Критически мыслящие личности, плодящие путем поучения и примера других критически мыслящих личностей, во все большем и большем числе, во все более широких кругах народной массы,—вот как понимал Лавров деятельность революционера. Под влиянием его книг и возникают понемногу в Петербурге и провинции кружки пропаганды: кружок Чайковского (недавнего главы архангельского «правительства»), кружок Долгушина и др. Про первый из них его настоящий вождь, знаменитый впоследствии анархист, кн. Кропоткин, говорит, что «вначале этот кружок не имел в себе ничего революционного». Долгушинцы призывали «доказать, что мы искренни, что наша вера горяча и наш пример изменит лицо земли». Все это перед лицом той грубой действительности, какую представляла собою воцарившаяся после 1866 года реакция, походило больше на проповедь первых христиан перед лицом римской империи, нежели на революционное народное движение. Революционной молодежи нужно было не это, и если ее учителями в том, как надо *понимать* жизнь, были Лавров и Михайловский, то учителями того, что нужно *делать*, как действовать, были другие люди, прежде всего был Бакунин.

Бакунин, в молодости артиллерийский офицер, ставший эмигрантом еще задолго до смерти Николая I (раньше Герцена), за границей бывший одним из вождей германской революции 1848 г., попавший затем в австрийскую тюрьму и выданный Австрией России, где Николай посадил его в Шлиссельбург, а Александр II сослал в Сибирь, откуда Бакунину удалось бежать в 1861 г., некоторое время разделял надежды многих тогдашних интеллигентов, что в России свобода может прийти «сверху». Расправа Александра II с поляками в 1863 году вылечила его от этих иллюзий. А участие в западно-европейском рабочем движении — преимущественно итальянском и швейцарском — оконча-

тельно вернуло его на путь революции, где он был уже в 1848 г. По натуре он был, впрочем, революционером всегда, какие бы иллюзии им ни владели. Бакунин был народник в более прямом смысле, чем Лавров: для него народ, народная масса были прямым источником революции. Народу не нужно никаких критически мыслящих личностей. «Учить народ?—спрашивал Бакунин,—это было бы очень глупо. Народ и сам лучше нас знает, что ему надо. Напротив, мы должны у него научиться и понять тайны его жизни и силы,—тайны, не мудреные, правда, но недостижимые для всех, живущих в так называемом образованном обществе».

Итак, пропаганда не нужна. «Не учить мы должны народ, а бунтовать. Но народ бунтовал всегда. Бунтовал плохо, врозь, бесплодно. Надо сделать так, чтобы бунты его удавались. Надо внести в беспорядочное бунтарство план, систему, организацию». Тут критически мыслящие личности, только что выгнанные в дверь, возвращаются в окно. Кто же это будет организовать революцию? Разумеется, интеллигенты, «преданные, энергичные интеллигентные личности, в особенности искренние, не честолюбивые и не тщеславные друзья народа, способные служить посредниками между революционной идеей и народными инстинктами». Эти личности, правда, должны составлять «не армию революции,—армией должен быть всегда народ,—а нечто вроде революционного главного штаба». Но ведь штаб управляет армией. Специалисты революции, профессиональные революционеры и должны были дать «командный состав» революционного народа. Откуда возьмутся эти специалисты? В Западной Европе они существовали уже целыми поколениями, главным образом, в итальянских, отчасти и французских тайных обществах. В России Бакунин больше всего рассчитывал на «грамотный мир беспардонных юношей», т.-е., попросту говоря, на студенчество. И в этом он оказался совершенно прав.

Студенчество продолжало волноваться и после 1866 г.; материальные условия его существования нисколько не изменились. Что ни год, то происходили «университетские беспорядки» из-за устройства общественной кухмистерской, библиотеки, кассы взаимопомощи и т. п. Но революционные центры, подобные каракозовскому кружку, образовывались среди всеобщей запуганности и разброда с большим трудом. Наиболее энергичная часть молодежи уезжала за границу, где дышалось легче, иные и поневоле, например, женщины, которых не пускали в русские университеты. Здесь, в Швейцарии, в Цюрихе, Берне, потом Женеве они не только находили свободно лавристскую и бакунистскую литературу, но могли вступать и в непосредственное общение с вождями, слушать лекции Лаврова, бывать на собраниях, где говорил Бакунин. Между «лавристами» и «бакунистами» происходили ожесточенные споры, раз дошедшие до рукопашной

и побеждали, видимо, бакунисты. Воздух тогдашней Европы был насыщен революцией.

Рабочее движение 60-х годов, послужившее почвой для первого Интернационала, внушало огромные надежды. Во Франции «вторая империя» трещала по всем швам; Наполеон III шел на уступки, но они никого уже не удовлетворяли. Земля везде тряслась, чувствовалось приближение чего-то огромного. События принимали оборот, несколько напоминающий 1914 г. и следующие годы, только в меньших гораздо размерах. Летом 1870 г. дело дошло до войны между Францией и Пруссией, — войны, начатой под разными предлогами, но ведшейся в сущности из-за того самого Саарского угольного бассейна, о котором все теперь знают благодаря версальскому миру. Ни старая промышленность Франции, ни только что начавшаяся развиваться молодая промышленность Германии не могли обойтись без Саарского угля. Франция была разбита, сам Наполеон III попал в плен к немцам, Париж был осажден и взят, и среди парижского населения, истомленного голодом и лишениями, озлобленного подлою жадностью буржуазии, которая начала вымогать с бедняков просроченные долги, квартирную плату и т. д., едва замолкли выстрелы,—вспыхнуло восстание, годовщину которого мы все теперь празднуем (18 марта 1871 г.). Парижская Коммуна прожила только два месяца, но эти два месяца управления подлинного народа, рабочих, ремесленников, мелкой интеллигенции, после слишком двадцатилетней (с 1848 г.) диктатуры буржуазии, были настоящей весной европейского революционного движения.

На русскую революционную молодежь 70-х годов Парижская Коммуна произвела неизгладимое впечатление. Она, эта молодежь, считала себя прямыми наследниками борцов парижских баррикад. «Мы работаем на своей родине для той же великой цели, для достижения которой погибло в 1871 г., на баррикадах Парижа, столько ваших братьев, сестер, отцов, сыновей, дочерей и друзей», — читаем мы в адресе, посланном в 1878 году от имени одесских рабочих рабочим французским.—«Вы правы были, когда в 1871 г. вы говорили, что сражаетесь за *все* человечество». Что парижская революция была разбита, нисколько не пугало: чудовища капитализма сразу не повалишь. Притом революция должна была победить не на Западе Европы, а именно в России: на этот счет у Бакунина давно уже было готово объяснение. Рабочие Европы, по его мнению, слишком обуржуазились благодаря хорошему заработку и кое-какому образованию: здесь «рабочий люд отличается от буржуазного люда только положением, отнюдь не направлением». Что направление определяется именно положением, что рабочий класс делают революционным именно объективные условия его существования, этого Бакунин, как и все мелкобуржуазные социалисты, не видел. Для него, наоборот, русский крестьянин, нищий, темный и невежественный, является прирожденным революционером, при-

рожденным социалистом. Он бунтует постоянно; выражением этого мужицкого бунта служит разбой, который нужно только уметь использовать для революции. «Когда оба бунта, разбойничий и крестьянский, сливаются, порождается народная революция. Таковы были движения Стеньки Разина и Пугачева».

Надежды на возобновление разинщины и пугачевщины и двинули «в народ» массы молодежи, которая накоплялась мало-по-малу в университетских городах и которой не сиделось в пропагандистских кружках. Это огромное, по своему времени, движение «в народ», охватившее тысячи молодых людей, было началом нового революционного подъема отделенного шести-семилетним промежутком от крушения каракозовщины и достигшего своего расцвета в «Земле и Воле» и в «Народной Воле» — двух революционных обществах конца 70-х годов. Во главе шли непосредственные ученики Бакунина, как раз к этому времени вернувшиеся из-за границы: правительство запретило им учиться в Швейцарии, и, насильственно возвратив их на родину, тем самым усилило, разумеется, кадры пропагандистов и «бунтарей».

Бунтарское движение было направлено непосредственно не против правительства, а против буржуазного строя вообще, при чем, нет надобности говорить, строй этот представлялся молодым революционерам не более ясно, нежели Бакунину рабочее движение. Под буржуазией разумелись вообще «эксплоататоры» — всяческое начальство и всяческие хозяева. Представление о социальных врагах революции, как их тогда мыслили, хорошо отразилось в известной песне — «Отречемся от старого мира» (возникшей как раз в конце того периода), где в одну кучу свалены и «царь-вампир», и дворяне, и богатые купцы. Все это «злодеи проклятые». Политикой в собственном смысле эта молодежь занималась менее всего, — возможные политические результаты революции, конституция, парламент и т. п. признавались ею делом прямо вредным. Это ведь приближало Россию к буржуазной Европе, а та была мало революционна, как мы видели, именно вследствие своей буржуазности

«Бунтари» бредили примерами Разина и Пугачева, даже направлялись нарочно в те места, где разразилась разинщина и пугачевщина, но революция, которую они несли в народ, очень отличалась от этих народных революций старого времени. Те были очень узкие по своим задачам, но именно благодаря этой узости очень определенные: они, в особенности пугачевщина, были направлены к одной цели, истреблению помещика. «Бунтари» не сделали ни одной попытки направить движение против какого-нибудь *определенного* врага. Они толковали о несправедливости буржуазного строя вообще, о жадности и жестокости эксплоататоров; народ слушал их с интересом, но ждал, — что дальше? Что нужно делать? На это «бунтари» не давали определенного ответа. Они все ждали «стихийного» движения, не понимая того, что «стихийными», т.-е. слепыми, бессознательными,

как стихия, как вода, как огонь, как ветер, прозвала народные революции буржуазия, чтобы их опорочить. На самом деле, именно народные движения никогда не бывают слепыми, народу нужен ясный, отчетливый, хорошо им понимаемый лозунг. Такого лозунга «бунтари» не сумели найти. Лозунг «земля и воля» мало трогал крестьянина, так как ему казалось, что волю ему в 1861 г. все-таки дали. А землю можно было отнять только у помещика, но напасть на помещиков «бунтари» не решались призвать народ. Не решались, потому что они сами были слишком близки к этому классу: многие из него вышли, другие находили себе убежище в усадьбах либеральных помещиков, и все возлагали на «либералов» смутные надежды, хотя всячески презирали либералов за их нереволюционность.

При таких условиях проповедь «бунтарей» не дала бы больших последствий, даже если бы время было выбрано для нее более благоприятное. На самом деле, теперь даже и пугачевщина не сумела бы раскачать крестьянство, потому что положение крестьянства в эти годы не ухудшилось, а напротив улучшилось. Как ни был ограблен крестьянин при «освобождении», снятие с него барщины очень отразилось на производительности его труда: производство зерна на душу населения в черноземных губерниях увеличилось более, чем в полтора раза (с 2 четвертей до 3½) для губерний степных и поволжских (куда именно и ходили бунтари, влекомые воспоминаниями о Разине и Пугачеве), и даже на выпаханном черноземе Рязанской, Тамбовской и тому подобных губерний до начала 80-х годов производительность земледельческого труда продолжала увеличиваться. А обида, причиненная крестьянам 19 февраля, начала уже забываться, да как раз в многоземельных восточных губерниях, где ждали пугачевщины, была менее чувствительна. Прямым воззванием к нападению на помещиков и кулаков, вероятно, удалось бы вызвать местные бунты («бунтарям» не удалось вызвать ни одного), но не было никакой вероятности, чтобы в 70-х годах эти бунты слились во всероссийскую революцию.

Дав ничтожные результаты в той массе, которая состояла будто бы из «прирожденных социалистов», «революционеров по природе», хождение в народ дало совершенно неожиданный результат, вызвав брожение среди буржуазной интеллигенции. «Хождение в народ» кончилось массовыми арестами и такими грандиозными судебными процессами, каких еще никогда не бывало в России. По самому громкому из них на скамье подсудимых явилось сразу 193 человека. Если бы это были 193 рабочих или крестьянина, на это еще, может-быть, не обратили бы внимания: народ ведь всегда ходит кучами. Но 193 молодых людей, представлявших собою цвет тогдашней молодой интеллигенции, у каждого из которых были товарищи, почитатели, родные, знакомые, это должно было всколыхнуть сверху донизу все образованное общество. А это был не один такой процесс: в Москве

был процесс 50, были и другие. Вдобавок начальство, наивно убежденное, что интеллигенция после 1863—1866 годов окончательно запугана, устроило эти процессы публично, надеясь сразу и щегольнуть своим беспристрастием, и еще раз пугнуть буржуазию теориями «бунтарей». Но оно должно было очень скоро убедиться, что общественное мнение этой буржуазии именно на стороне «бунтарей», а отнюдь не на стороне начальства.

Промышленный капитализм в 1861 году, как мы помним, не одержал полной победы: он должен был пойти на компромисс, на соглашение с крепостническим государством. Он не получил вполне свободного рабочего, не получил полной свободы и для себя. Организация государства, в том числе организация всего государственного хозяйства, оставалась в руках чиновничества — создания и верного друга и союзника торгового капитала. В первую минуту, особенно под влиянием 1863 и 1866 годов, промышленный капитал смирился и, не бунтуя, принялся за накопление. Ему все-таки было теперь куда расти, — николаевская стена была пробита. Но «великие реформы» были очень узкой одеждой, сшитой отнюдь не «на рост», и буржуазное общество скоро снова почувствовало себя тесно. В нем начало распространяться глухое неудовольствие, и когда пред ним, изможденные тюрьмой (некоторые просидели по 4 года), появились люди, в сущности безобидные, несмотря на свои страшные слова, виноватые в сущности лишь в том, что они, не стесняясь, ругали начальство, буржуазное общество с сочувствием смотрело на них и не без злорадства на начальство. Что, мол, допрыгались?

Этот поворот в настроении «общества» начальство давно смутно предчувствовало. Как оно понимало в свое время, что обманывает крестьянина, так догадывалось оно, что промышленная буржуазия и тесно с нею связанная интеллигенция не удовлетворятся полууступками «великих реформ». Но у него готов был подарок для готового раскапризничаться ребенка, этим подарком надеялись сразу осушить его слезы и приручить строптивую буржуазию прочно и надолго. Этому подарку — его вынули еще раз из кармана в 1914 г. — было имя *Константинополь*.

Мы помним, чем руководилась внешняя политика Николая I: не чувствуя себя в силах расширить внутренний рынок для русской промышленности, освободить крестьян, Николай считал посильной для себя задачей завоевание внешнего рынка, прежде всего на Ближнем Востоке. Его сын, освободив крестьян, но не совсем, раздвинув границы внутреннего рынка, но не широко, должен был, хотел он этого или нет, сознавал или не сознавал, все равно, итти по следам Николая. Сначала он выбрал для завоевания области, далекие, казалось, ото всех соперников России,—Туркестан, непосредственными соседями которого были китайцы, афганы да бухарцы. После ряда войн, очень легких в военном отношении для России, к середине 70-х годов туркестанские сарты и узбеки стали русскими подданными. Для при-

личия только оставили двух маленьких местных князьков, хивинского хана да бухарского эмира, от времени до времени ездивших на поклон в Петербург и украшавших своим азиатским великолепием въезды и разные другие церемонии русских царей. Завоевание Туркестана имело громадное значение для развития русской промышленности. Туркестан стал первой русской *колонией*, туркестанский хлопок в 1914 г. покрывал больше половины всей потребности в хлопке русских ситцевых фабрик. Но это значение Туркестана было понято не сразу, сначала добыча казалось мелкой, и правительство Александра II метило выше.

Александр II никогда не мог примириться с тем, что он подписал унизительный для царской России Парижский мир. Он называл это «минутой трусости» и не переставал мечтать, как от этого мира отделаться. Причиной поражения в 1856 г. было то, что русский царизм был тогда одинок, у него не было ни одного союзника. Александр решил этой ошибки не повторять. Сначала он держался союза со своим главным вчерашним грагом — французской империей, Польша их поссорила. Польша же дала нового друга в лице Пруссии; его решено было держаться крепко. Пруссия и Россия были экономически не менее тесно связаны, нежели в начале XIX века Россия и Англия. Пруссия была главной потребительницей русской ржи: ввоз ее в Пруссию за 14 лет, с 1861 по 1875 г.г., увеличился слишком *впятеро;* в то же время по ввозу в Россию Пруссия стояла на первом месте, из нее ввозилось *две пятых* всех заграничных товаров, получавшихся Россией в середине 70-х годов. Выбор союза не был таким образом произвольным делом Александра и его министров, в сторону именно Пруссии их толкала экономическая необходимость. Но от этого союз был только прочнее.

В 1870 г., во время франко-прусской войны, Россия оказала Пруссии огромную услугу: Франция уже совсем столковалась с Австрией, побитой пруссаками в 1866 г. и жаждавшей мести. Но Александр II мобилизовал свою армию, и австрийцы не посмели шевельнуться. Благодаря России французы были разгромлены, а Пруссия превратилась в Германскую империю. Александр оказывал все эти услуги, конечно, не даром, от Германии сейчас же потребовали уплаты по прусскому векселю. Прежде всего при ее помощи Александр добился в 1871 г. отмены унизительного для него Парижского договора 1856 г. Россия снова получила право строить и держать военные корабли на Черном море. Но черноморский флот был лишь средством, целью было подчинение Турции и захват проливов, ведущих из Черного моря в Средиземное, т.-е. захват Константинополя. И вот, два года спустя, в 1873 г. Россия заключила с Германией тайное соглашение, которым Германия обязывалась, в случае нападения кого-либо на Россию, прислать последней на помощь 200-тысячную армию. Соглашение это было чрез-

вычайно секретное, в Берлине и Петербурге о нем знали только шесть человек, включая сюда и самого царя', а с другой стороны, германской, императора Вильгельма. Оно никогда не было напечатано и было открыто лишь после Октябрьской революции 1917 г. Цари умели хранить свои секреты! В то же время русским консулам в Турции было разослано, тоже, разумеется, совершенно секретное, предписание немедленно начать собирать самые подробные сведения о турецкой армии, в каком она состоянии, какая ее численность, как она расположена, как пополняется запасными, — словом, до мельчайших подробностей, до того, что консулы должны были разузнавать, где живут турецкие батальонные и ротные командиры.

С первого раза может показаться, что уж слишком много предосторожностей принималось,—для чего же? Чтобы разгромить какую-то несчастную Турцию. Но дело в том, что Александру, как и его отцу, приходилось иметь дело не с одною Турцией, и, наученный горьким отцовским опытом, он решил обезопасить себя со всех сторон. Во-первых, за спиной Турции стояла опять Англия. Уже движение русских в Туркестан настроило англичан весьма подозрительно: ведь от Туркестана рукой подать до Индии. А прямой путь из Англии в Индию вел, после прорытия Суэцкого канала (1870 г.), через Средиземное море. Попытка России утвердиться на берегах этого моря, на месте смирной и безобидной Турции, должна была довести англичан до белого каления. Правда, на стороне англичан не было теперь Франции,—после разгрома 1870 года она и думать не могла ни о какой войне, и раздавившие Коммуну французские реакционеры готовы были лизать пятки Александру II, помогавшему разгромить Францию. Но на сторону Англии могла встать Австрия. Для ее промышленности Балканский полуостров и Турция были главным рынком, австрийские товары занимали там, после английских, первое место, покушение русского капитализма на турецкий рынок было для капитализма австрийского ударом в лицо.

С Австрией Александр начал переговоры еще в том же 1873 году, и тогда же с нею было заключено соглашение (конвенция), опять-таки, разумеется, совершенно секретное, в общей форме. Но когда дело дошло до подробностей, начались споры, которые тянулись почти 4 года и принимали иногда весьма острый характер. Во время одного из таких столкновений Александр II должен был убедиться, что если Германия и пошлет против кого 200 тысяч войска на помощь России, то не против Австрии. Тогда в Петербурге пошли на уступки, и в марте 1877 г. столковались на таком разделе Европейской Турции (шедшей тогда до Дуная): Австрия занимает Боснию и Герцеговину, Россия—Болгарию от Дуная до Балкан. О видах России на Константинополь от Австрии пришлось скрыть (сама сделка скрывалась от всего мира). Россия призналась только, что желает еще получить Батум в Малой Азии.

Если с Австрией приходилось жульничать, то с Англией совсем разговаривать было нельзя: английские реакционеры (в те дни у власти почти везде в Европе стояли реакционеры) и их лидер Дизраэли приходили в бешенство при одной мысли, что Россия может оказаться на месте Турции. Но, обеспечив себя со стороны Австрии, воевать все-таки можно было: Англия на сухом пути не была страшна, если бы ей вздумалось повторить севастопольскую войну, Россия могла ей теперь ответить ударом из Туркестана на Индию. Худо ли, хорошо ли, «дипломатическая подготовка» похода на Константинополь была закончена. Считалась законченной и военная подготовка. Русская армия имела теперь артиллерию прусского образца—того самого, который обеспечил победу пруссаков над французами в 1870 году. В 1872 году и русская пехота получила новое ружье—действительно одно из лучших в мире в те времена (берданку); правда, его не успели раздать всем полкам, но на такую дрянь, как турки, и старое годилось, думали генералы Александра II. А отборные части, гвардия, гренадеры, те корпуса, что стояли на западной границе, против Австрии (дружи, дружи, а камень за пазухой держи), уже имели берданки. В 1874 году была введена всеобщая воинская повинность, что в несколько раз увеличило число запасных.

Оставалось подготовить общественное мнение русской буржуазии. Тут у Александра был большой опыт. Разумеется, «царь-освободитель» не мог выступить в качестве завоевателя. Русские и в Туркестан шли, во-первых, для того, чтобы оборониться от набегов степных кочевников (которые с оседлыми сартами не имели ничего общего), а во-вторых, для того, чтобы «освободить» местное население от деспотизма туземных ханов: во знамение этого, немедленно же, как только русские войска вступили в Хиву, там было отменено рабство. Русские газеты с умилением это описывали. «Царем-освободителем» должен был вступить Александр II и в Константинополь. Кого «освобождать»—было ясно: европейская Турция была населена славянами православного вероисповедания, значит «единоверными и единокровными» русским, а турки были мусульмане, неверные. Для простого народа этого было бы, вероятно, и достаточно. Но Александр хотел иметь на своей стороне и «образованное общество», — тут дело было сложнее. Нужно было показать яркую картину «угнетения» с одной стороны, «борьбы за свободу» с другой; к тому же и для Европы нужно было иметь хороший предлог к вторжению в Турцию. И вот, на сцену было поставлено, в 1875 году, *герцеговинское восстание*.

В настоящее время не может подлежать сомнению, что восстание в Герцеговине (самая северо-западная область тогдашней Турции, около австрийской границы) было организовано из Австрии и из Сербии—маленького тогда, полусамостоятельного княжества, где полным хозяином распоряжался русский консул,

В поводах для народных волнений недостатка здесь не было; турецкая администрация и турецкие помещики так же изводили крестьян в этих краях, как занималась этим администрация и помещики в России, а по части организации австрийские и сербские агенты были искуснее «бунтарей». Турки принялись «усмирять» восставших с таким же варварством, как делали это войска и полиция Александра II в 1863 году в Польше. Пожар разгорался. Устроили восстание еще в Болгарии,—турки расправились с ним еще свирепее. Наконец, сербский князь не мог уже сдержать негодования своих подданных: Сербия объявила войну Турции. Русское правительство делало самый невинный вид,—оно ни в чем не участвовало. А в России тем временем газеты и славянское благотворительное общество в Москве вели энергичнейшую агитацию. Производились сборы в пользу пострадавших от «турецких зверств», в концертах исполнялись песни и романсы, где трогательно описывались страдания братьев-славян. Когда началась сербско-турецкая война, русское правительство официально «предостерегало» Сербию, а неофициально во дворце наследника престола, будущего царя Александра III, заседал комитет, руководивший организацией сербской армии. Десятки гвардейских офицеров отправились в Сербию в качестве инструкторов и военных специалистов. Во главе их стал завоеватель Туркестана генерал Черняев, которому за это официально было выражено порицание. А в газетах везде красовался его портрет, как героя борьбы за «освобождение славян от турецкого ига». Газетная шумиха подействовала даже и на некоторых «бунтарей», отправившихся добровольцами в Герцеговину и Сербию,—так что, помимо всего прочего, правительство Александра II имело и ту выгоду, что несколько расстроило и ослабило революционное движение.

Гнусность всей этой комедии станет нам ясна, когда мы вспомним, во-первых, что война с Турцией была решена еще в 1873 году, а герцеговинское восстание началось только в 1875, а во-вторых, что Герцеговина была отдана Австрии по секретному договору. Наивной публике самым нахальным образом втирали очки. Отлично знали, что и герцеговинцы, и сербы будут раздавлены турками, но это-то и нужно было, чтобы разжечь общественное мнение в России. Когда сербская армия была разбита, ни один «разумный человек» среди российской буржуазии и интеллигенции не сомневался, что мы должны воевать. Александр II отправился в Кишинев, где были сосредоточены русские войска, предназначенные для действий против турок, и там, в апреле 1877 г., торжественным манифестом объявил войну Турции.

До сих пор все шло, как по нотам. Дальше пошло не так гладко. Русское правительство могло обманывать свою публику, у которой на глазах были цензурные бельма. Но обмануть англичан, у которых, как всегда, шпионская организация была доведена до совершенства, было не так легко. Отлично осведомленные относительно военных приготовлений России, англичане гото-

вились со своей стороны. Когда русские гвардейские офицеры ехали в Сербию, английские офицеры наполняли турецкую армию, организовывали ее, обучали, делали из турок европейских солдат. Особенно важно было, что из Англии турки получали оружие последнего образца и боевые припасы в неограниченном количестве. Новое турецкое ружье было не хуже русской берданки, артиллерия же турок была вооружена стальными дальнобойными пушками, тогда как русские пушки были еще медные, как у пруссаков в 1870 году. Между тем у нас, рассчитывая встретить за Дунаем нестройную, кое-как вооруженную орду, двинули сначала более плохие войска, вооруженные еще старым ружьем,—лучшие береглись, как мы знаем, для «союзницы»—Австрии. Результатом был ряд поражений русской армии, и в Болгарии, и за Кавказом, в Малой Азии, стоивших русским войскам огромных жертв. Пришлось бросить на поле битвы те отборные силы, которые береглись на случай европейской войны—гвардию, гренадеров—и лишь с их помощью, к началу 1878 года, турки были сломлены. Русские войска, действительно, были перед Константинополем, но в каком виде? Оборванные, почти босые, почти без патронов, опустошаемые болезнями,—от сыпного тифа умерло больше народа, чем было убито в сражениях. Последние резервы были истрачены, а между тем европейская война как раз надвигалась. Пушки английского флота защищали Константинополь; в то же время австрийцы, поняв, на что метит Александр II, поняв, что и их он обманул секретным договором, где Россия обещалась не итти дальше Болгарии, круто повернули от России к Англии. Опять, как в 1855 году, Австрия мобилизовала свою армию. А лучшие силы России лежали в тифу или в могиле. Приходилось заключать мир, не достигнув цели.

Игрушка, которой хотели соблазнить капризное дитя—русскую буржуазию,—оказалась сломанной и запачканной. Дитя ее не приняло и еще больше надуло губы. Война окончилась, в сущности, русской победой,—Россия получила Батум, в Азии, ставший скоро очень важной русской гаванью, и фактически заняла Болгарию, номинально (на словах) превратившуюся в самостоятельное княжество, только князем был назначен племянник Александра II, а его министрами были русские офицеры. Но это было так далеко от надежд, возбужденных самим же правительством Александра, что Берлинский конгресс, на котором была ликвидирована война, был принят русской буржуазией, как поражение и позор. Редко когда правительство Александра II было непопулярно так, как в эту минуту.

Для революционного движения, прерванного войной, нашлась почва, благоприятней которой трудно было, казалось, представить,—но совсем не та, на какую оно рассчитывало. Мелкобуржуазный социализм надеялся поднять крестьянство,—оно не шелохнулось. Но правительство стало травить социалистов, и это приобрело социалистам сочувствие буржуазии, той самой буржуазии,

которую социалисты походя ругали. Это было так неожиданно, внушало такие новые надежды, но в то же время требовало перестройки всего фронта.

Перестройка требовалась тем более, что народнический социализм был в тупике. Теперь, когда полиция насторожилась и в тысячу глаз выслеживала «злоумышленников», итти дальше прежним путем пропаганды было невозможно. Нужно было или сложить руки или придумать какие-то новые способы действия. Способы эти подсказывались общим мировоззрением «бунтарей». Если революции делали «критически мыслящие личности», то очевидно, что и сила реакции, сила правительства держалась тоже на личностях, только иного свойства.

И если критически-мыслящие личности нужно было всячески размножать, число реакционных личностей нужно было уменьшать, нужно было их истреблять, по возможности. Перемена тактики у «бунтарей» и выразилась в переходе от пропаганды к *террору*—к истреблению отдельных членов правительства и прежде всего, его главы, Александра II.

Буржуазная литература, которая и сочувствовала «бунтарям», и в то же время до смерти боялась всего революционного, изображала обыкновенно дело так, что террором «бунтари» занялись под влиянием полицейских преследований,—так сказать, полиция «довела» их до того, что они стали стрелять в губернаторов и устраивать подкопы под царские поезда и дворцы. Это объяснение очень естественно для буржуазии, которая смотрит на революцию, как на какую-то болезнь, как на какое-то повальное сумасшествие и хочет себе объяснить: отчего же это люди сошли с ума? Нам не приходится задавать себе этого вопроса, революционный метод борьбы мы считаем совершенно нормальным (естественным), и нам нужно только объяснить, почему же люди выбрали именно тот, а не другой революционный метод. Это объяснение дали сами «бунтари» на том своем съезде, где они решили перейти к террору (в Липецке, летом 1879 года). Партия должна сделать все, что может,—говорил на этом съезде вождь нового направления «бунтарей», Желябов: если у нее есть силы низвергнуть деспота посредством восстания, она должна это сделать, если у нее хватает силы только наказать его лично, она должна это сделать, если у нее не хватило сил и на это, она обязана хоть громко протестовать. Но сил хватит, без сомнения, и силы будут расти тем скорее, чем решительнее мы будем действовать.

Итак, к террору «бунтари» перешли тогда, когда убедились в невозможности поднять массовое народное восстание. Тот же Желябов, в другой раз, в частном разговоре, выразил эту мысль еще и так: «История движется ужасно тихо, надо ее подталкивать, иначе вырождение нации наступит раньше, чем опомнятся либералы и возьмутся за дело». Из этого видно, между прочим, что «народники» считали либералов способными что-то сделать.

только по трусости либералы не решались выступить. Что буржуазия по своему классовому положению не может выступить в пользу народной массы, что «вырождение нации» и есть результат буржуазной эксплоатации, что, словом, революцию нужно делать и против буржуазии, а не только против царя,—этого народники упорно не хотели понять, хотя Михайловский и пытался объяснить им это. Террором надеялись раскачать буржуазию, вывести ее из состояния трусливого оцепения, а правительство надеялись довести до такого оцепенения. И в том и в другом ошиблись.

Внешняя история террористического периода народнической революции была такова. В 1878 году образовалось из остатков, уцелевших от преследования бунтарских кружков, общество «Земли и Воли». Уже образование тайного общества было уступкой новым условиям,—прежде «бунтари» считали совершенно несоциалистическим образование большой заговорщической организации: они должны были действовать в одиночку или небольшими «общинами». Но «Земля и Воля» еще не стала определенно на террористический путь: большинство в ней составляли «деревенщики», которые продолжали стоять за агитацию в народных массах, но только по-иному, не путем «хождения в народ», а путем поселения в народе, с целью длительной планомерной революционной обработки одной какой-нибудь местности. Из поселений опять ничего не выходило, а террор напрашивался сам собой: уже в апреле 1879 года «Земле и Воле» приходилось решать вопрос о покушении на Александра II, при чем сторонники покушения, не скрываясь, заявляли, что оно будет произведено, выскажется за него большинство или нет. «Деревенщики» были так возмущены, что послышались голоса: «надо донести». Но доносить на товарищей никто, конечно, не пошел, покушение на Александра было совершено (Соловьевым) и не удалось, а в «Листке Земли и Воли» стали прямо проводиться террористические идеи. Летом того же года состоялся упоминавшийся нами съезд, при чем террористы собрались сначала отдельно, в Липецке и, столковавшись там, приехали на общепартийный съезд в Воронеж. После воронежского съезда партия «Земли и Воли» распалась: «деревенщики» образовали партию «Черного Передела» (т.-е. общего передела всех земель — лозунг, понятный крестьянству, был, наконец, найден), а террористы—партию «Народной Воли», открыто порвавшую с народническими традициями. «Народная Воля» не восставала против буржуазии и эксплоатации вообще, а ставила себе определенную задачу — путем заговора добиться *политического переворота*, низвержения царской власти и созыва учредительного собрания.

Центром заговора был «Исполнительный Комитет партии Народной Воли», составившийся из нескольких десятков наиболее решительных террористов. Задачу личной, так сказать, борьбы с властью Исполнительный Комитет взял непосредственно на

себя, постановлением 26 августа 1879 г. решив «все силы (террора) сосредоточить на одном лице государя». Исполнение этого смертного приговора Александру II и наполнило собою всю работу «комитета» до 1 марта 1881 года. Александр, нужно сказать, сделал все, чтобы оправдать в глазах всякого разумного человека такой приговор. На «бунтарское» движение этот достойный сын Николая Палкина умел ответить только самыми беспощадными преследованиями. Цари, обыкновенно, «миловали» осужденных,—даже Николай «помиловал» декабристов и петрашевцев,—мы помним, как Александр превзошел отца: он *увеличил* наказания осужденным по делу 193. Прежде ссылали просто в Сибирь — он стал ссылать в самые глухие, почти необитаемые углы Сибири, где только привычные дикари-инородцы могли жить, а горожан-интеллигентов ждало верное вымирание. А на террористические покушения он ответил полевым судом. Стали вешать так, как не вешал и Николай: с августа 1878 года по декабрь 1879 было казнено 17 человек. Вешали безо всяких серьезных доказательств, по простому подозрению, на основании найденной при обыске террористической прокламации, например. Сочувствие интеллигенции и отчасти даже буржуазии было теперь еще больше на стороне революционеров, чем во время больших процессов. А на ряд покушений против Александра общество смотрело с любопытством, как на травлю какого-нибудь зверя. От прежней — в 60-х годах — его популярности теперь уже ничего почти не оставалось.

Но травля, хотя бы и коронованного, зверя—еще не революция. Это прекрасно понимал вождь народовольцев, Желябов. То была самая крупная личность всей народнической революции. Сын крепостного крестьянина, хорошо помнивший крепостное право,—«воля» пришла, когда Желябову было 11 лет, — потом нищий-студент, женитьбой вошедший в богатую буржуазную семью, Желябов в своем лице соединял все элементы движения: народную массу, интеллигенцию и буржуазию. Народник он был, с самого начала, посредственный, в период «движения в народ» большой роли не играл, хотя по делу 193 был привлечен. Но, как организатор заговора, он сразу стал на первое место. Его деятельность, как члена Исполнительного Комитета, всего лучше можно охарактеризовать словами его врагов, жандармов: «он поступал во всем, как учитель, и рассматривал свои обязанности, как призвание, а свою деятельность, как святой долг»,—писал о Желябове один жандармский генерал.—«Он безусловно требовал, чтобы каждый разделял его точку зрения. Когда во время подготовительных работ для Александровского покушения [1]), один из заговорщиков заснул, утомленный ночной работой рытья мины, Желябов собирался убить его из револьвера; он его рассматривал как провинившегося часового... Имя великого организатора стало

1) Под Александровском хотели взорвать царский поезд.

популярным: то был страшный Желябов, великий организатор новых покушений в местностях и условиях самых разнообразных и неслыханных. Он обладал удивительной силой деятельности и не принадлежал к числу дрожащих и молчащих... На следствии и суде он выказал наибольшее присутствие духа и спокойное рассудительное хладнокровие: он входил в малейшие детали и вступал в спор с судьями и прокурором; в тюрьме он чувствовал себя в нормальном состоянии и моментами проявлял веселость».

Один из самых замечательных русских заговорщиков,—в этом отношении рядом с Желябовым можно поставить в прошлом только Пестеля,—Желябов был, однако, гораздо больше, чем просто заговорщик. Он придавал рабочему движению такое значение, как очень немногие народники. В России стачка есть факт политический, говорил Желябов. Его постоянно можно было видеть в рабочих кружках. Он основал «Рабочую Газету» и составил, вместе с некоторыми товарищами, программу рабочих членов партии «Народной Воли». В этой программе определенно говорилось о будущем республиканском строе России («царская власть в России заменяется народоправлением»), чего вообще народовольцы избегали, не желая отпугивать буржуазных либералов, провозглашалась национализация земли («вся земля переходит в руки рабочего народа и считается народной собственностью»). Другой силой, на которую Желябов надеялся опереться, было войско, с которым он пытался заводить связи через офицеров. Тут уже было не без надежды на буржуазию, в других случаях эта надежда проглядывала еще резче. Желябов советовал не писать об аграрном вопросе, чтобы не отпугнуть либеральных помещиков, «левых земцев». Приглядевшись к программе рабочих народовольцев, мы и там найдем то же самое. Классовые противоречия затушевываются, рабочим внушается надежда на «поддержку в отдельных лицах из других сословий, в людях образованных, которым также хотелось бы, чтобы жилось свободнее и лучше»; «рабочий народ не должен отвергать этих людей: выгодно добиться расширения свободы рука об руку с ними».

Промежуточное положение народнической интеллигенции между буржуазией и народными массами портило, таким образом, всю ее тактику. Воззвать прямо и открыто к массам против *всего* старого строя, бросить эту массу на помещика и купца, и народовольцы не могли, не умели, как не умели они представить себе политического переворота без участия «либералов», без содействия буржуазии. Отсюдь не желая быть только пугалом, при помощи которого буржуазия может застращать царя до того, что он «даст конституцию», народовольцы на деле дальше этой роли пугала пойти не могли. В довершение всего оказывалось, что и пугала-то не так уже боятся. Целый ряд покушений на Александра (самым крупным был взрыв Зимнего дворца, 5 февраля 1880 г., устроенный рабочим Халтуриным, о котором нам еще придется говорить, как о создателе одной из первых в России

рабочих организаций) кончился неудачей: царь не получил ни царапины. Он осмелел и принялся за свою любимую методу, за демагогию. Поставленный им во главе борьбы с «крамолой» Лорис-Меликов, вешавший так беспощадно, как еще никто, начал в то же время заигрывать с «образованным обществом», сменил непопулярного министра просвещения Толстого, отпустил на свободу нескольких человек, которых полиция держала зря, и подавал даже смутную надежду на какую-то «конституцию». Никакой конституции Александр, конечно, давать и не думал, если бы даже Лорис-Меликов серьезно мечтал о чем-нибудь подобном. Но «образованное общество» поймалось на удочку, и ждало с разинутым ртом.

Не находя опоры внизу, видя измену «либералов», народовольцы напрягли последние силы. Желябов в последний раз показал свои гениальные организаторские способности. Александр был обложен со всех сторон: на одной улице его ждала бомба, на другой—мина. По царю как будто еще раз повезло. 28 февраля 1881 года он записал в своем дневнике, что накануне арестованы трое самых важных, повидимому, заговорщиков, «в том числе Желябов». И он знал это имя! Вероятно, он считал себя теперь в полной безопасности. Но заговор настолько созрел, что мог итти и без вождя. Страница дневника, помеченная 1 марта, осталась пустой: вечером этого дня царствовал уже Александр III.

Рабочее движение

Казнь Александра II дорого обошлась «Народной Воле». Желябов и Перовская, самые замечательные по силе воли и организаторским талантам члены Исполнительного Комитета, были повешены непосредственно после 1 марта, как «цареубийцы», вместе с главным техником террористической организации, Кибальчичем, и рабочим Тимофеем Михайловым. Другой Михайлов, Александр, как организатор, соперничавший с Желябовым, был арестован еще раньше. Уцелевшие члены партии были слишком слабы, чтобы попытаться повторить 1 марта над Александром III: прошло 6 лет, прежде, чем подобралась для этой цели группа молодых людей, с А. И. Ульяновым во главе, но и им не пришлось пойти дальше попытки, стоившей жизни им всем, а сын Александра II остался цел.

Если дело шло только о том, чтобы напугать Александра III, то это было достигнуто в размерах, каких только можно желать. Новый царь вступил на престол в состоянии полной растерянности,—он плакал, соглашался и с теми, кто говорил, что надо дать конституцию, и с теми, кто уверял, что от конституции Россия погибнет, давал самым разным людям самые разнообразные поручения, так что ближайшие к нему тогда министры решили на время отойти в сторону и подождать, пока царь придет в

себя. Но от царского испуга было так же мало толку, как в свое время, в начале правления Александра II, от царской «доброты».

Александр III был весьма мало готов к тому, чтобы стать во главе империи с 90 миллионами населения. С детства его не готовили в цари,—у него был старший брат, который умер уже взрослым. Унаследовав от этого брата положение «наследника», вместе с его невестой (еще теперь живущей Марьей Федоровной), Александр уже не мог наверстать упущенного по части подготовки к будущему своему званию. Впрочем, при его способностях, едва ли помогла бы и подготовка. От него тоже остался дневник, несколько толстых томов, где он день за днем описывает, что он ел, пил, когда ложился спать, у кого был в гостях, кто у него был в гостях. Если бы его кучер или лакей вели дневники, они, вероятно, были бы в том же роде, только имена были бы другие. Из дневника видно, между прочим, что Александр II глубоко презирал сына и в свою политику отнюдь его не посвящал: ни о договоре с Германией, ни о тайном соглашении с Австрией наследник ничего не знал. Под конец жизни, когда, овдовев, Александр II женился на своей фаворитке, княжне Долгоруковой, отец и сын совсем отдалились друг от друга. Пока отца травила «Народная Воля», мы находим сына ежедневно то в балете, то у цыган, и частенько он признается в своем дневнике, что он лег спать в 3—4 часа утра с тяжелой головой. Привычка пить не оставила Александра III и на престоле, только он стеснялся теперь кутить открыто, в кампании других великих князей и офицерства, как раньше, а напивался в одиночку, «по-фельдфебельски»—или в компании своего главного телохранителя, генерала Черевина. От алкоголизма он и умер, нажив себе хроническую болезнь почек, еще молодым в 1894 г., не дожив и до 50 лет, несмотря на свое богатырское телосложение

Только при Николае II Россия узнала, что на русском престоле может быть еще большое ничтожество, чем Александр III: раньше казалось, что ниже пасть династия «Романовых» уже не может. А между тем царствование этого тупого, ограниченного, пьяного человека «составило эпоху», как говорится: «80-е годы» темной полосой пересекли историю русской интеллигенции и русской культуры вообще. Что-то остановилось, что-то переломилось. Нельзя было бы придумать лучшего доказательства, как мало значит личность в истории, и на каком ложном пути стояли народовольцы, тратя лучшие революционные силы на травлю коронованного зверя. Определенный отпечаток эпохе Александра III дала не его личность, а внешние, объективные условия, в которых находилась тогда Россия.

То была пора *перелома* в русском народном хозяйстве, а вместе с тем и во всей народной жизни. В чем состоял этот перелом? Для понимания этого нужно вернуться немного назад.

Мы видели, что неудачная попытка завоевать заграничные рынки для русской мануфактуры, окончившаяся Севастопольской войной (см. стр. 85—86), не прекратила работы русского народного хозяйства для заграницы. Только на заграничный рынок шли теперь не произведения русских фабрик, а продукты русского земледелия (см. стр. 81—82). Россия стала тем, о чем мечтал русский помещик в первой четверти столетия: житницей Европы. Но это значило, что благосостояние этого помещика, а вместе с ним и торговой буржуазии, то-есть всего, что командовало в крепостническом государстве, зависело от *положения на всемирном хлебном рынке*. Пока были «крепкие» цены на хлеб, помещик и купец чувствовали себя прекрасно; слегка поеживался фабрикант, но промышленная буржуазия пока что могла и потесниться: не ее было время. Но *с начала 70 годов цены на всемирном хлебном рынке начинают «слабеть»*. В 1871 году пуд русской пшеницы, при вывозе за границу, стоил 1 р. 44 коп., а пуд ржи 78 коп., а в 1896 году за пуд пшеницы давали уже только 74 копейки, а за пуд ржи 54.

В этих цифрах—вся «философия истории» эпохи Александра III. В последней трети XIX века повторился тот «аграрный кризис», под знаком которого прошло все царствование Николая I. Но повторился при обстановке, гораздо более тяжелой для русского сельско-хозяйственного предпринимательства, так как в империи Николая I обмен, торговля играли вообще гораздо меньшую роль, чем в империи его внука. В 1840 году Россия не вывезла и 20 миллионов пудов хлеба, а в последнее пятилетие царствования Александра III она вывозила ежегодно 440 миллионов пудов, в 22 раза больше. Весь «баланс»—приток денег из-за границы в страну—держался теперь на вывозе хлеба. Уменьшение цены хлеба вдвое (для самого дорогого вида хлеба, пшеницы) означало, что нужно или вдвое увеличить русский хлебный вывоз, или вдвое сократить потребности тех, в чьи карманы шло заграничное золото, получаемое за хлеб. Легко ли было согласиться на это русскому помещику и его другу купцу,—сообразит всякий. Надо было как-то изворачиваться.

Уже в 70 годах еще правительство Александра II стало принимать энергичные меры, чтобы искусственно увеличить приток золота в страну и задержать его отлив. В 1877 году пошлину за ввозимые в Россию иностранные товары стали брать золотом, а не бумажками, как раньше. Так как курс бумажного рубля был тогда на $1/3$ ниже номинальной цены, то это означало повышение пошлины на $1/3$. Россия вновь возвращалась к «покровительственной системе», которую она отчасти оставила в 1857 году. Покровительство «отечественному» производству достигало двух целей: во-первых, меньше товаров покупалось за границей—туда золото не уходило: Англия в 70 годах ввозила к нам на 10 миллионов фунтов стерлингов (около 100 милл. золотых рублей 1914 года), а в 80 уже только на $7^3/_4$. А, во-вторых,

высокие барыши, обеспеченные, благодаря «покровительству» русским промышленникам, приманивали деньги из-за границы уже в виде капиталов, вкладывавшихся иностранцами в русские предприятия. До конца XIX века русская промышленность получила из-за границы, прямо и косвенно, до *полутора миллиарда золотых рублей*. Но для достижения этой цели пришлось поднять таможенные пошлины на чугун,—берем для примера,—с 5 до 45 копеек золотом. Только тогда русская промышленность была достаточно «ограждена», чтобы французские, бельгийские, английские капиталисты «полюбили» Россию.

Кто уплачивал эти повышенные пошлины? В конечном счете, конечно, крестьянин: в каждой подкове, в каждой косе, в каждом топоре, которые он покупал, была вложена доля этой «покровительственной» (не для крестьянина) пошлины. Но этого мало: крестьянин платил не только за себя, а и за государство, и *за помещика*. Государство давало заказы фабрикам и платило по ним дороже, чем раньше: а деньги брались из податей, из крестьянского кармана. В то же время крестьяне при освобождении получили *меньше* земли, чем было под их наделами при крепостном праве. В черноземных губерниях, где земля была дорога, у крестьян было отрезано до 30% надельной земли—почти треть. На так обрезанном наделе крестьянин хозяйничать, разумеется, не мог: ему приходилось приарендовывать часто свою же бывшую землю у помещика. Последний этими *отрезками* держал в мертвой петле крестьянина, тем более, что отрезаны были, с большим умением, те именно участки, без которых крестьянину никак обойтись было нельзя: пастбище или дорога на пастбище, на водопой, луг, лес и т. под. Словом, крестьянин должен был арендовать свою же бывшую землю у бывшего барина на тех условиях, какие последний захочет поставить. Барин пользовался этим, прежде всего, чтобы доставить себе дешевые рабочие руки: «*отрезки*» отдавались, главным образом, за «*отработки*»,—за каждую десятину арендованного луга крестьянин должен был скосить десятину, а то и две и три, луга барского. Затем, повышая уже денежную арендную плату, помещик вознаграждал себя за ту дороговизну, какую создавала «покровительственная система». Это особенно практиковалось на черноземе, где крестьянин был производителем хлеба и приарендовывал землю для посева: в Саратовской губернии, например, арендные цены поднялись в 8—10 раз в 80 годах по сравнению с 60; даже в Смоленской губернии они увеличились в полтора слишком раза. И это *при уменьшившихся ценах хлеба*: если раньше крестьянин за десятину должен был отдать пуд ржи, теперь он должен был за нее отдать 3 пуда.

Итак, *падение хлебных цен* со всеми своими последствиями означало, прежде всего другого, чрезвычайное *усиление платежного гнета для крестьянина*. То «всероссийское разорение», которое связывали обыкновенно с неурожаем и голодом 1891 года,

на самом деле было подготовлено всем предшествующим десятилетием. Уже в 1884 году из 9 миллионов крестьянских дворов Европейской России $2\frac{1}{2}$ миллиона не имели лошадей; и это обезлошаденье шло дальше, все ускоряясь: крестьяне Орловской губернии за 11 лет (1888—1899) потеряли 20%, пятую часть своего рабочего скота. Крестьянская реформа упрямо хотела задержать пролетаризацию крестьянина и очень кичилась своим «освобождением с землей» (см. стр. 87; аграрный кризис 80 годов стал превращать крестьянина в пролетария с такой быстротой, что всякие законы, которые этому противопоставлялись, разлетались, как паутина. Торговый капитал очень хлопотал о том, чтобы сохранить «самостоятельного» производителя, к которому он привык. И послушное торговому капиталу правительство крепостнического государства,—Александр III в этом отношении ничем не отличался от своих предшественников,—принимало всякие меры, чтобы привязать крестьянина к земле и предупредить превращение его в пролетария: пересмотрели и уменьшили выкупные платежи (1881—1883 г.г.), отменили подушную подать (1882—1883), стеснили до крайности крестьянские разделы (186), наконец, объявили крестьянский надел неотчуждаемым (1893). Ничто не помогало: расслоение деревни на пролетариат и мелкую сельскую буржуазию, на «бедноту» и «кулаков», шло неудержимо, и его должны были признать даже народнические писатели, как ни неприятно им было видеть проникновение трижды проклятого капитализма в сельскую общину. «Я долго стоял у околицы погоста, всматриваясь в наружный вид деревни,—писал один из них еще в 1880 году.—Какое разнообразие, однако! Тут куча изб, очевидно, дряхлых, двуоконных, крытых соломой... Здесь, напротив, новые, трехоконные избы, с большими проулками между ними, крытые тесом, а между ними мелькали даже зеленые железные крыши с флюгерами на трубах».

К концу XIX века Россия имела десятимиллионную армию чистого пролетариата, т.-е. людей, кормившихся только от заработной платы,—не считая вдвое большего количества деревенской бедноты, которая, имея еще кое-какое хозяйство, уже не могла бы существовать, не прирабатывая на стороне. И еще за 10 лет раньше правительство Александра III разочаровалось в попытках сохранить «самостоятельность» жертвы торгового капитала путем разных экономических поблажек. Среди них было, между прочим, и образование «крестьянского банка», которым воспользовалось, в первую голову, конечно, кулачество; банк давал крестьянам ссуду на покупку земли, но не полностью, так что нужно было приплачивать, и за огромные проценты, $7\frac{1}{2}$—$8\frac{1}{2}$—словом, это было, очевидно, не для бедноты; банк очень помог тому расслоению деревни, которое намечалось уже само собою, естественным путем, и ранее. А для крестьянской массы в распоряжении начальства оставалось только одно средство—*внеэкономическое принуждение*. Александр III частично восстановил крепостное право,

подчинив крестьян (в 1889 г.) почти произвольной власти *земского начальника*, назначавшегося по рекомендации местных помещиков из «потомственных дворян». У крестьянина теперь опять был «барин», во многих местах «земского» так прямо и стали звать. Новый барин, как и старый, мог сажать крестьян в холодную по своему усмотрению, а пороть через волостной суд, который был подчинен земскому начальнику. Некоторые стали пороть так усердно, что вызвали крестьянские беспорядки и угодили, в конце концов, под суд. Но в общем сопротивление новому крепостному праву шло не из деревни.

Либеральная буржуазия, сильно струхнувшая после 1 марта 1881 года (она помнила последствия каракозовского выстрела и ждала теперь в десять раз худшего), делала вид, что это восстановление крепостного права было каким-то насилием и над ней, буржуазией. Это было, конечно, одно лицемерие: мысль о земском начальнике была подсказана правительству именно земством, тогдашним средоточием всяческого либерализма, любимым дитятком «Русских Ведомостей», «Вестника Европы» и прочих буржуазно-либеральных органов. Когда Александр III, хотя и издавший (29 апреля 1881 года) манифест о незыблемости самодержавия, но в начале своего царствования все время бродивший вокруг да около чего-то вроде «куцой конституции», предоставил земствам высказаться о реформе местного управления, земства единогласно отвергли мысль о «всесословной волости» (т.-е. об уничтожении в местном управлении всяких привилегий для помещиков) и весьма единодушно поддержали другую мысль: о необходимости «во главе волостного управления поставить лицо, облеченное значительною властью, независимое по своему положению, представляющее гарантию необходимых нравственных и умственных качеств, способное дать защиту сельскому населению от обид и притеснений и принять на себя ответственность за порядок и спокойствие в волости». Министр внутренних дел Александра III, знаменитый граф Толстой (тот самый непопулярный министр народного просвещения, которого Лорис-Меликов в свое время уволил, чтобы подольститься к «обществу»), предложив земского начальника, шел навстречу земству, радетели которого напрасно проливали потом крокодиловы слезы.

Таким же лицемерием было и негодование «земских либералов» по поводу реформы самого земства, проведенной в 1890 году по почину того же Толстого (сам он не дожил до издания нового «положения»). Мы видели, что земство и раньше было помещичьим, что выборы в него и раньше были основаны на сословном цензе, только замаскированном в имущественный, так что дворяне-помещики в земстве решительно преобладали (см. стр. 109—110). В 1890 году эту маскировку сняли, так что дворяне получили право голоса в земстве, как дворяне, а не под прикрытием «личного землевладения», и перевес их над другими сословиями был еще несколько усилен, главным образом,

насчет крестьян. Примером может служить Богородский уезд, Московской губернии: по «положению 1864 г.» там было 44 гласных, в том числе 19 от сельских обществ, а по «положению 1890 г.» осталось 16, в том числе от «сельских обществ» всего 4 (позже помещики добились 24 гласных, но пропорция осталась та же, от «сельских обществ» только 6).

Рядом с этим огромным увеличением власти помещика в земстве, ограничения прав самого земства, на которые имеют привычку плакаться буржуазные либералы, говоря о реакции Александра III, не имеют никакого значения. Что, в самом деле, значит, если губернатор имел чуть-чуть больше власти над определением земских служащих, чем до 1890 года, когда крестьяне в действительности совсем потеряли представительство в земских учреждениях: ибо их «представители», избранные под огромным давлением земского начальника, само собою разумеется, избирались в качестве только *кандидатов*, а утверждал их гласными (в количестве одного из 3) тот же губернатор. Вот это была, действительно, реакция. Из буржуазных кругов реакция захватила, в сущности, только крайнее левое крыло, непосредственно связанное с революционным движением — и очень, конечно, немногочисленное. Сюда относится закрытие журнала «Отечественные Записки», где писал Михайловский и, под псевдонимами, некоторые «нелегальные», да увольнение двух-трех университетских профессоров, полевее, настолько, впрочем, далеких от революции, что виднейшие из них (Муромцев, например) стали впоследствии украшением кадетской партии. Да и те пострадали, главным образом, на профессиональной почве — из-за попыток борьбы с новыми университетскими веяниями, воплотившимися в университетском уставе 1884 года.

Но острием своим этот устав был направлен вовсе не против профессуры, а против студенчества. Студенты, и раньше лишенные всяких прав, теперь окончательно были уподоблены гимназистам, начиная с мундира, в который их облекли (чтобы удобнее было следить за ними в публичных местах,—начальство сообразило, что иметь две пары одежды, форменную и неформенную, будет для студента-бедняка не по карману, да последнюю и прямо запрещено было носить), и продолжая надзором за ними инспектора, субъинспекторов и педелей, вмешивавшихся до мельчайших подробностей во всю студенческую жизнь, протекавшую, кроме того, под бдительным контролем полиции, без разрешения которой студентом и нельзя было сделаться. В результате, переходя из гимназии в университет, студент часто не без удивления замечал, что в гимназии было куда свободнее и «либеральнее». Замечательно, что профессора, в наши дни отказавшиеся принять от Советской власти самый демократический устав высшей школы, какой только бывал когда-нибудь в мире, полицейщину Александра III приняли безо всякого сопротивления: из приличия поварчивали в частных разговорах там,

где нужно было похвастаться либерализмом, но, за полудюжиной исключений, со студентами сами начали обращаться, как с гимназистами.

Студенчество и было единственным отрядом буржуазии, крупной и мелкой, со стороны которого правительство Александра III, под конец, начало натыкаться на сопротивление. Из студенческой среды вышла единственная террористическая попытка, не связанная с «Народной Волей», покушение А. И. Ульянова и других (сплошь студентов) на Александра III 1 марта 1887 года. А осень этого года видела первые крупные «студенческие беспорядки», начавшиеся в Москве из-за совершенно нелепой травли студентов инспектором Брызгаловым, но захватившие целый ряд городов. Не только педели и субы оказались бессильны в борьбе с московскими «беспорядками», но и городовых не хватило на это дело, — и впервые на улицах Москвы начались настоящие бои студентов с казаками, вызванными для «усмирения», бои, отличавшиеся от будущих, следующего десятилетия, рабочих забастовок только тем, что в студентов еще не стреляли, казаки действовали больше нагайками, но пускали иногда в ход и пики, и шашки. Расправа не испугала студентов, и «беспорядки» с тех пор повторялись, в Москве и других городах, примерно, каждые два года — до конца 90-х годов, когда они стали ежегодными.

Интеллигентская молодежь, восстававшая против Александра III и его режима, видела в последнем, разумеется, только его политическую сторону. Она видела реакцию и деспотизм, видела, что одиночные попытки сопротивляться деспотизму кончались гибелью сопротивляющихся, — и приходила в отчаяние. От этого «80-ые годы» и остались в памяти русской интеллигенции такой темной полосой, как мы уже упоминали. «Восьмидесятник» — это человек разочарованный, уныло опустивший руки, погрузившийся в тину обывательского существования. Это настроение в литературе нашло себе выражение в драмах Чехова: Иванов, доктор Астров, дядя Ваня — это все различные типы «восьмидесятников». Между тем, как раз эпоха Александра III заложила прочный фундамент для русского революционного движения. Опиравшееся раньше только на тонкий слой мелкобуржуазной интеллигенции, тщетно искавшее себе опоры в крестьянстве, с 80-х—90-х годов это движение начинает впервые чувствовать за собою широкие народные массы в лице *промышленного пролетариата*.

Развитие промышленности в России при Александре III, внешним образом, связано с тем поворотом к «покровительственной системе», который мы уже видели и в основе которого лежал *аграрный кризис*, падение хлебных цен на мировом рынке в последней четверти XIX столетия. На самом деле, связь промышленного подъема и аграрного кризиса 80-х—90-х годов более глубокая. Тут можно проследить, как одна и та же причина различно действует на различном уровне экономического

развития. При Николае I аграрный кризис *задерживал* проникновение буржуазных отношений в деревню, *мешал* ликвидации крепостного права, потому что падение хлебных цен попросту *сокращало* русский хлебный вывоз, *уменьшало* работу для рынка помещичьего имения. Теперь, когда крестьянство было «освобождено», кризис хлебных цен заставлял его все больше и больше выбрасывать хлеба на продажу, т.-е. *увеличивал* производство для рынка. В пятилетие 1871—1875 г.г. Россия вывозила ежегодно 193 миллиона пудов хлеба, а в 1896 году она вывезла 516 миллионов пудов. Но, отдавая рынку часто необходимое для себя, крестьянин должен был и больше *покупать* на этом рынке: продав весь свой урожай осенью, он вынужден был покупать хлеб весной. *Крестьянское хозяйство все более становилось денежным*, и то разложение деревни, то расслоение крестьянства, о котором мы говорили выше, еще усиливало это стремление крестьянского хозяйства стать денежным. Изучая крестьянские бюджеты, т.-е. доходы и расходы каждого крестьянина, статистика 80-х годов заметила, что как раз у самых *бедных* крестьян, безлошадных, и у самых *богатых*, имевших более 4 штук рабочего скота на семью, *большая* часть доходов и расходов была *денежная*, т.-е., что они больше продавали и покупали на стороне, нежели производили и потребляли в собственном хозяйстве.

Разорение крестьянина создавало внутренний рынок: к такому странному для народника положению приводила цепь рассмотренных нами явлений. И этот рост внутреннего рынка шел так быстро в последнее 20-летие XIX века, что русская промышленность могла вырасти почти *вчетверо*, не нуждаясь во *внешних* рынках: в 1877 году все наше производство оценивалось в 541 милл. металл. рублей, а в 1897 году в 1816 миллионов. Даже за одно только десятилетие 1887—1897 гг. производство русских фабрик выросло почти *втрое* для *металлургии* (со 113 милл. руб. до 311 милл. руб.) и *слишком вдвое* для текстильной промышленности (463 и 946 милл. руб.).

А одновременно с промышленностью рос, хотя и медленнее, как и нужно было ожидать, *промышленный пролетариат*: в металлургии в 1887 году было занято 103 тысячи рабочих, а в 1897 году—153; в текстильном деле—309 тысяч в 1887 году и 642 тысячи в 1897 году.

Откуда набиралась эта армия? Общий ответ мы уже дали—из разорявшегося крестьянства. Как в XVIII веке в Англии, так в конце XIX века в России, фабрика была магнитом, притягивавшим к себе деревенскую бедноту, притягивавшим иногда издалека; уже около 1880 года на текстильных фабриках города Москвы только меньшинство рабочих, около двух пятых, были уроженцы Московской губернии (при чем из Московского уезда всего 29 человек на тысячу): большинство, почти три пятых, были из соседних губерний—Калужской, Смоленской и т. под.

Большая их часть еще не раскрестьянилась окончательно,—сохранили свое хозяйство в деревне, куда и уходили на летние работы; но уже значительная часть, более четверти (29%), работали на фабриках круглый год. Совершенно естественно, что среди этих «неотлучающихся» первое место занимали наиболее квалифицированные рабочие: среди слесарей «неотлучающихся» было 60%, среди самоткачей 43%, среди граверов 41%; наоборот, ручной ткач был всего ближе к крестьянину: из шерстяных ткачей круглый год работало на фабрике только 9%, среди бумажных даже всего только 4%. Совершенно естественно также, что эти «неотлучающиеся» были и самой образованной частью фабричного пролетариата; средний процент грамотных был для них выше 50 (51,2),—большая половина их были грамотные, тогда как вообще грамотных среди рабочих было немного более трети (36,3), а среди бумажных ткачей, наименее еще «раскрестьянившихся», даже только одна пятая (21,3). Грамотность—первая ступень к сознательности: грамота—техническое средство для того, чтобы стать сознательным. Больше трети рабочих мужчин этим средством уже обладали,—могли прочесть газету, книжку, могли прочесть и прокламацию. Около фабрики складывался уже у нас тот слой городского грамотного населения, который был опорой демократического движения в Западной Европе. К «грамотному миру беспардонных юношей», о котором мечтал когда-то Бакунин, развитие русского промышленного капитализма сделало большую прибавку.

Остается сказать, что этот слой был и довольно устойчивым: почти у *половины* всех московских текстильных рабочих начала 80 годов (у 42,8%) и отцы уже работали на фабриках. Это были, так сказать, «наследственные пролетарии». Открывший это наблюдатель, всецело находившийся, вероятно, под впечатлением обычного народнического предрассудка, что в России «капитализма быть не может», а стало-быть, она застрахована и от «язвы пролетариата»,—собрав все вышеприведенные нами факты, не мог не заключить, что «фабричный пролетариат у нас не за горами». На самом деле, фабричный пролетариат был уже налицо.

В каких условиях жил этот новый для народнической России общественный слой? Да в таких же, в каких всегда живут рабочие в периоды «первого расцвета» промышленного капитализма, когда промышленная буржуазия празднует свою «весну». Весной в России мокро и холодно,—грязь и слякоть русской промышленной «весны» доставались, конечно, прежде всего на долю пролетария. Только наиболее ценные для хозяина, наиболее квалифицированные рабочие имели, в начале 80 годов, особые помещения для жилья; серая рабочая масса спала там же, где работала. На московских ткацких фабриках ткачи «почти всегда» спали в мастерских, на своих ткацких станках. На таком стане, $2\frac{1}{2}$ аршина в длину и 2—в ширину, спала целая семья. Подстилкой служила собственная одежда или же «какой-то гряз-

тый и рваный хлам», кошмы, рогожи и т. под. Хозяева уверяли доктора, который все это описал, что рабочие так «любят» жить, что в отдельную спальню рабочего будто бы и не заманишь [1]. Но, благодаря пыли, в ткацких было столько блох, что даже терпеливый русский рабочий не выдерживал и летом убегал спать просто на двор. В других местах, спасаясь от блох, рабочие устраивали себе нечто вроде гнезд—ящики под потолком, на 3 аршина от полу, которые они сами называли «скворешницами».

Так жила масса. Но и рабочая «аристократия», имевшая для жилья не только отдельную казарму, но и отдельную каморку в казарме для каждой семьи, была весьма далека от буржуазного существования. В большей части фабрик Владимирской губернии,—писал два года спустя тот же доктор, которому мы обязаны сведениями о жизни московских текстилей 1880 годов (он стал теперь фабричным инспектором,—и это сказалось на тоне его описаний), «грязь и дурной спертый воздух составляет необходимую принадлежность» рабочих спален. А вот как он же описывает рабочую «каморку» тех дней — одну двухоконную, а иногда и однооконную комнату, обитавшуюся *двумя* семьями; получить целую комнату на семью не могли мечтать даже «аристократы» [2]. «При входе, по обеим сторонам двери, в простенках стоят кровати, прикрытые занавесками и принадлежащие двум семьям; далее, вдоль стены устроены спальные места для малолетних каждой семьи, при чем иногда и у последних имеются также кровати, но большею частью они спят на полу. В этих же местах обыкновенно висят и зыбки с грудными детьми; наконец, в простенках, по обеим сторонам окна, у каждой семьи имеется свой стол, за которым она обедает. В углах, у окон, висят обыкновенно несколько образов, непременно с лампадкой у каждого; а по стенам—лубочные картинки, с изображением почти всегда членов царской фамилии; между этими картинками висят иногда дешевые стенные часы. В некоторых каморках есть даже и цветы на окнах и занавески».

Когда мы будем потом читать, как рабочие 9 января 1905 года шли к Зимнему Дворцу с хоругвями и иконами разговаривать с царем, нам полезно будет припомнить эту обстановку русского рабочего жилища старого времени, с иконами и царскими портретами. Этот набожный и верноподданный пролетариат и ел, конечно, так же плохо, как жил. Везде в кухнях отме-

[1]) Чтобы читатель не подумал дурно про московских фабрикантов 80-х годов, напомним, что еще в 1919 году профессора московского университета, когда их спрашивали, отчего низшие служащие ютятся в сырых, темных подвалах, а сами они, профессора, живут в просторных, светлых и сухих квартирах, отвечали, что низшие служащие „сами не идут“ из подвала.

[2]) Можно понять негодование московской буржуазии наших дней, которую „уплотняли“ до одного *человека* на одну комнату. Подумайте, ведь это всего в 5 раз просторнее, чем жил русский рабочий 40 лет назад.

чается «невообразимая грязь». В рабочих столовых была такая теснота (иногда обедали в два ряда—у самого стола, сидя, взрослые, а сзади них, стоя, дети) и стоял такой густой пар и от кушанья и от самих обедающих, что нельзя было «даже разобрать сразу, что тут делается». В такой обстановке рабочий, в те времена, когда жизнь была вчетверо дешевле, нежели даже в 1914 году, до войны, питался не лучше, нежели сейчас, после империалистской войны, среди войны междоусобной и блокады. Обычную его пищу составляли вяленая вобла, солонина, часто с душком, а если свежее мясо, то в виде «гусака»,—т.-е. вырезанных из убитого быка внутренностей. Это в те дни, когда фунт хорошей черкасской говядины стоил в Москве 10 копеек. При том все эти рабочие должны были покупать не на «вольном рынке», а в фабричной лавке. Как видим, буржуазия, теперь так горячо негодующая на «нелепую хлебную монополию», на стеснения «свободы торговли», в свое время, в своих интересах, умела устраивать монополию на съестные припасы—для своих рабочих. Только теперь монополизованные продукты продаются населению по твердым ценам много дешевле, нежели на вольном рынке—на Сухаревке: а тогда фабричная монополия доставляла рабочему съестные припасы по цене, много дороже тогдашней Сухаревки. Так, в Коломне, на фабриках ржаную муку продавали по 1 р. 10 к.—1 р. 20 к. пуд, а в лавке, в той же Коломне, она стоила всего 95 коп. пуд; соль по 60—80 коп. пуд, а в колониальных лавках соль продавалась за 45 коп., сахар по 28 коп. фунт, а в лавке он стоил 22. При этом, так как рабочие столовались артелями, а во главе каждой артели был староста, который, по отзыву фабричных инспекторов, «являлся ростовщиком», то добрая часть рабочих грошей, 10—15% со всего закупаемого, доставалась еще и этому старосте.

Плохо питаясь, живя в ужасных условиях, рабочий страдал, конечно, всяческими болезнями: на московских текстильных фабриках туберкулез у женщин-работниц доходил до 134 на тысячу. Но к этим болезням бедности присоединялась еще одна «эпидемия», исключительно пролетарская—«травматическая эпидемия», как называли ее иногда, мрачно шутя, врачи, повальная болезнь ран и увечий. Вот, со слов фабричного инспектора (уж, конечно, не старавшегося «обидеть» фабриканта), картинка быта тогдашней фабрики, объясняющая нам эту «эпидемию». На Даниловской мануфактуре «в опальне или палильне, между двумя машинами со множеством зубчатых колес, вращающихся в разных направлениях, существует проход всего, примерно, в три четверти аршина, через который в течение суток проходят, нет сомнения, сотни рабочих, и в том числе малолетние; малейшая неосторожность, особенно при господствующем шуме и жаре в этом отделении, один нетвердый шаг или толчок,—и человек в этом проходе легко может зацепиться за ту или другую шестерню и быть изуродованным». Всего лучше, что футляры для прикрытия опас-

ных механизмов были на фабрике, но они «лежали сложенные на полу без употребления».

Для «травматической эпидемии» были, таким образом, самые роскошные условия. В каких размерах свирепствовала эта «эпидемия», покажут немногие цифры, которые мы берем из отчета другого фабричного инспектора, не московского, а владимирского. На Соколовской мануфактуре за два года среди ткачей было 67 изувеченных на 1000 человек, среди чесальщиков—250, среди слесарей—535, среди токарей—625 на тысячу. А среди котельщиков число это доходило до 750; за два года только один рабочий из 4 уцелел от поранений. В среднем «наиболее тяжелым повреждениям—переломам—подверглись 4 человека из 100 рабочих», «разорванные и колотые раны» получали 5 на сотню, повреждение глаз—9 на 100 и т. д. Но далеко не на всех фабриках легко было добраться до таких точных цифр. Хозяева не любили, когда им напоминали об этой оборотной стороне «блестящего развития русской промышленности», и в больничных ведомостях многих предприятий нельзя было найти ни одного случая профессионального, фабричного увечья,—зато странным образом среди полного мира (а революцией еще и не пахло) оказывались десятки «ран от огнестрельного и холодного оружия». На Коломенском машиностроительном заводе таких «раненых» в мирное время за год нашлось 677 человек

Но эти «мирные раненые» свидетельствуют не только о нежной чувствительности фабрикантских нервов, а и кое о чем другом. Как это, в самом деле, изувеченного хозяйской машиной рабочего можно записать в «раненые огнестрельным оружием»? Ведь он пожалуется на это в суд и убытков потребует? Ведь он же свободный человек, не крепостной? Русские пролетарии 80 годов не были уже крепостными, это верно, но и свободными они были весьма относительно, во всяком случае не в том смысле, в каком свободны были западно-европейские рабочие.

Тот наблюдатель, который описывал московские текстильные фабрики в самом начале 80 годов, когда он не был еще фабричным инспектором, указывает на очень своеобразное отношение московских мировых судей (мы помним, что они были сплошь из буржуазии) к искам фабричных на их хозяев. Иски эти в 4 случаях из 5 встречали отказ—и это, несмотря на то, что «большинство рабочих боялось всяких судов, а потому почти безответно подчинялись произволу своих хозяев», так что до суда доходили, конечно, только самые вопиющие дела. Это, конечно, блестяще рисует деятельность мирового суда, перед которым тоже умилялись российские буржуазные либералы: но в то же время это показывает, что собственно злоупотребления буржуазных судей лишь в малой степени отягчали участь рабочего: в основе эта участь объясняется именно тем, что рабочие должны были «безответно подчиняться произволу» фабрикантов. А это объясняется, в свою очередь, тем, что *экономически* рабочий

всецело зависел от милости или немилости своего хозяина. Прежде всего, хозяин *платил рабочему его заработную плату, когда хотел.* Из осмотренных в 1882—83 году московским фабричным инспектором 181 промышленного заведения только на 71 фабрике существовали какие-нибудь правила насчет расплаты с рабочими; «таким образом, — говорит этот фабричный инспектор, — остается более 100 фабрик, т.-е. значительное большинство, на которых расплата совершенно неопределенна и зависит вполне от воли и от кармана хозяина». А другой фабричный инспектор, владимирский, свидетельствовал в то же время: «Очень часто случается, что рабочий, поступая на фабрику, не знает даже, сколько хозяин положит ему за работу».

Он нередко не знал, сколько он получит, даже и окончив эту работу. Ибо, не считая себя обязанным платить рабочему определенную плату в определенные сроки, хозяин требовал от рабочего сверхъестественной аккуратности, немилосердно *штрафуя* его за всякую оплошность. За прогул одного рабочего дня вычиталось два дня, а за одну треть дня — как за целый день. За уход с работы до срока найма вычиталось, при расчете, за 6, 12 дней, и даже за месяц (на подавляющем большинстве фабрик расплата была ежемесячная — из 181 московской фабрики, упоминавшейся выше, только на *трех* существовала утвердившаяся впоследствии всюду двухнедельная расплата). «Поводы к штрафованию весьма многочисленны и значительны, и, следовательно, попасть под эту крупную неустойку (речь идет о 10 рублях — на теперешние деньги это составило бы тысяч 80) для каждого рабочего — дело весьма возможное», писал московский инспектор в своем отчете. «Так, например, одним рублем штрафа наказывали тех из рабочих, которые почему-либо явились в контору не в одиночку, а несколько человек разом, а во второй раз такие нарушители удаляются даже совсем с фабрики, с уплатой упомянутой неустойки (т.-е. по 10 р.). На фабрике Михеева (суконной) до сих пор, повидимому, сохранился вполне взгляд на рабочих, как на крепостных людей: так, деньги на обеих фабриках (Войта и Михеева) выдаются лишь два раза в год, но и при этом лишь те, которые нужны для податей (а остальные потребности удовлетворяются фабричной лавкой); выдаются они, кроме того, рабочим отнюдь не на руки, а посылаются по почте сельским старостам и волостным правлениям. Таким образом, рабочие круглый год остаются без денег, уплачивая, между тем, по расчетным книжкам крупные штрафы на своей фабрике, которые будут у них вычтены при окончательном расчете в конце года». «Не существует, повидимому, границ для разнообразных поводов, по которым на той или иной фабрике взимаются штрафы», говорит тот же инспектор в другом месте, и приводит такие примеры: на фабрике Пешкова можно было видеть два объявления; одно гласило: «кто поступил на фабрику, тот не имеет права выхода за ворота, за нарушение правила

штраф 1 рубль»; другое: «так как фабричные дозволяют себе беспокоить хозяина — просить денег, то предупреждаю, выдача денег ближе 20 ноября не будет (а обычный срок прошел 22 октября), осмелившийся спросить раньше будет разочтен совсем». «*Единственный,* может быть, *предел* заключается в слишком *сильном неудовольствии рабочих,* которое выражается там и сям *столкновениями, вызывающими необходимость вмешательства местной администрации».* Где был бессилен буржуазный суд, всегда находивший иски рабочих «недостаточно обоснованными», там решала дело *стачка.*

Стачка была кошмаром царского правительства с тех самых пор, как появилась в России крупная фабричная промышленность. Уже в 30 годах (мы помним, что это было как раз начало развития в России промышленного капитализма, см. стр. 83—87) главный друг и защитник фабрикантов, министр финансов Канкрин, должен был успокаивать царя Николая I, доказывая ему, что в России невозможно рабочее движение, которое тогда широко развернулось в Англии и во Франции. Там, писал Канкрин, рабочие люди совершенно бездомные, ничего у них кроме заработной платы нет, поэтому, когда наступает промышленный кризис и начинается безработица, им ничего не остается, как выйти на улицу — бастовать: у нас же рабочие — те же крестьяне, у каждого свой клочек земли, нет работы на фабрике или фабрикант очень уменьшит плату, рабочий просто уйдет к себе в деревню и превратится из фабричного в земледельца. Несмотря на эти рассуждения, стачки были знакомы и фабрикам николаевского времени. Правда, причины рабочих «беспорядков» у нас были мало похожи на то, что вызывало рабочее движение в Западной Европе. Так, в 1844 году произошли большие волнения на бумагопрядильне Лепешкина, в Дмитровском уезде, Московской губернии. Толпа рабочих в несколько сот человек двинулась к Москве, и понадобился значительный отряд войска, пехоты и казаков, чтобы ее остановить в 12 верстах от московской заставы. Но расследование дела показало, что рабочие, сплошь *крепостные* одного и того же помещика Дубровина, который их закабалил Лепешкину на несколько лет, взяв заработную плату вперед себе, восстали, собственно, не против фабриканта, а против своего барина, который, закабалив их, стал отбирать у их семей в деревне наделы.

Это было, таким образом, в сущности, *крестьянское* восстание, но характерно, что вышло оно не из деревни, а из фабрики, и во главе движения стал фабричный Тит Дмитриев. Явно, что мнение Канкрина насчет полной безвредности русского рабочего было преувеличено, и покровительствуемые им фабриканты прекрасно это понимали. Московский табачный фабрикант 1840 годов, Жуков, составил подробную инструкцию для своей фабрики, где у него рабочие были подчинены чисто военной дисциплине, под надзором «украшенного крестами и ме-

далями отставного унтер-офицера». Рабочие должны были шпионить друг за другом и доносить о поступках один другого. Для этого им не разрешалось выходить с фабрики, в праздники, по одиночке, но в то же время не разрешалось ходить и большой толпой, чтобы «не внушить им ни малейшей мысли о превосходстве перед кем бы то ни было в силе физической». Зато по той же причине в контору фабрики рабочие допускались не иначе, как по одному — обычай, потом привившийся, и распространенный, как мы знаем, на некоторых фабриках в 1880 годах.

«Царь освободитель», Александр II, как видим, имел все основания бояться пролетариата не меньше, чем его родитель. Этим страхом перед пролетарием проникнута вся «великая реформа» 19 февраля 1861 года. В одном из первых же распоряжений правительство по крестьянскому делу в 1857 году *секретно* сообщалось губернаторам, что крестьянам должна быть оставлена их усадьба (об «освобождении с землей» тогда еще не решались говорить, боясь раздражить помещиков), «в видах предотвращения вредной подвижности и бродяжничества в сельском населении». Губернаторы должны были даже «принять меры к возможному обеспечению оседлости батраков», т.-е. не только не допускать возникновения *новых* пролетариев, но и по возможности посадить опять на землю тех, кто уже раньше успел стать пролетарием. Когда позднее, под давлением интересов торгового капитала, взял верх проект «освобождения с землей», созданные для проведения этого проекта «редакционные комиссии» били своих противников, не по разуму жадных до земли помещиков именно этими «высочайше указанными началами», не допускавшими «образования класса свободных, но бездомных, безземельных работников». Образование такого класса, учили жадных землевладельцев «редакционные комиссии», приведет к «ничем несдержанной борьбе между двумя сословиями»: «правительство, имея в виду историю (читай: пугачевщину), и настоящее положение вещей в других государствах (т.-е. рабочее движение в Западной Европе), без сомнения не может допустить подобных последствий». «Уклонение от указанного высочайшею волею пути» может «довести до результатов самых гибельных».

Но законы экономического развития были сильнее «высочайшей воли». Несмотря на все старания правительства Александра II предупредить возникновение пролетариата, уже к концу 60 годов этому же самому правительству пришлось иметь дело с рабочим движением в самом Петербурге. «В начале текущего лета, — писал в 1870 году министр внутренних дел губернатору, — вольнонаемные фабричные люди, занимающиеся работами на одной из самых обширных фабрик близ Петербурга, устроили между собою стачку для того, чтобы вынудить хозяев фабрики увеличить заработную плату. По этому поводу было назначено

следствие, и затем дело обращено было к судебному разбирательству, исход коего в свое время был опубликован в столичных газетах. Стачка рабочих Невской бумагопрядильной фабрики, как явление совершенно новое, до сего времени не появлявшееся в среде нашего рабочего населения, обратило на себя высочайшее внимание, и государю императору благоугодно было повелеть поручить мне г.г. губернаторам, чтобы они имели самое строгое и неослабное наблюдение за фабричным и заводским населением, и в особенности за всеми теми неблагонадежными личностями, которые могут иметь вредное влияние на толпу, так как, без сомнения, возникновение стачек между рабочими должно быть положительно приписано влиянию лиц, стремящихся перенести эту, чуждую русскому народу, форму выражения неудовольствия на нашу почву, с целью посеять смуту и производить беспорядок и волнения». Но министерство ошибалось как относительно «новизны» «чуждой русскому народу формы выражения неудовольствия» на русской почве, так и относительно причин этого явления. Еще раньше этого министерского циркуляра[1]) московский губернатор доносил московскому генерал-губернатору (т.-е. царскому наместнику в Москве), что рабочие «беспорядки» имели место еще в 1869 году на фабрике Коншина, в Серпухове, и что причинами были неаккуратные расчеты, произвольные штрафы, чрезмерно длинный рабочий день и «обязательный для рабочих забор съестных припасов из амбаров самих фабрикантов, с повышением притом цен против рыночных на забираемые припасы». Царские чиновники, таким образом, за 25 лет до возникновения массового рабочего движения в России отлично знали, чем это последнее может быть вызвано. Но *они были бессильны перед буржуазией*. Для устранения всех, прекрасно замечавшихся им, злоупотреблений и вымогательств предпринимателей московский губернатор не находил другого средства, как увещевать этих предпринимателей через городских голов (которые были всегда сами из буржуазии, конечно). А Васька слушал, да ел.

В первой половине 70 годов стачки встречаются нам все чаще и чаще, во всех концах России — и на Кренгольмской мануфактуре около Нарвы, и в Костроме, и в Москве, и на юге России, и в Виленской губернии. Основная причина была одна и та же всюду — борьба из-за заработной платы, при чем рабочие добивались не столько увеличения этой платы, сколько чтобы им вообще платили за их работу, что некоторые предприниматели делали, как мы знаем, весьма неаккуратно, да еще забирая себе добрую долю заработанного их рабочими в виде штрафов. Протест против штрафов и встречается нам поэтому неизменно при всех забастовках до средины 80 годов. Всего по газе-

[1]) Циркуляром (буквально „окружное послание“) называется какое-нибудь распоряжение центральной власти, рассылаемое всем местным властям.

там можно насчитать за время с 1865 по 1875 год до 20.000 бастовавших рабочих, — на деле их было, конечно, гораздо больше, потому что в провинции газеты не смели писать о забастовках, а столичная печать еще не освоилась с мыслью, что «в России стачка есть факт политический». Но тяжелое положение рабочих было хорошо известно в среде тогдашних революционеров-народников, и, несмотря на то, что им еще не приходила в голову мысль о *рабочей* революции, как таковой, рабочий был для них одной из главных надежд общенародного революционного движения. Конечно, главной опорой революции будет крестьянин, думали народники, но рабочего легче поднять, легче раскачать. И мы постоянно находим тогдашних «пропагандистов» и «бунтарей» среди рабочих. У «чайковцев» и у «долгушинцев» были рабочие кружки — у первых среди ткачей и металлистов Петербурга. Особенно энергично работал там П. А. Кропоткин. В 1875 году целая группа молодых интеллигентных девушек, раньше учившихся в швейцарских университетах (Бардина, Любатович, сестры Фигнер, Каминская и др.) поступили на московские фабрики в качестве работниц и повели там деятельную пропаганду между ткачами. Как и большинство революционеров этой поры, они были скоро арестованы и отданы под суд вместе с рабочими, которых им удалось распропагандировать (так называемое «дело пятидесяти», разбиравшееся в «особом присутствии сената» в 1877 году). Здесь-то один из рабочих, ткач Петр Алексеев, и произнес свои знаменитые слова, ставшие почти пословицей: «Подымется мускулистая рука миллионов рабочего люда, и ярмо деспотизма, огражденное солдатскими штыками, разлетится впрах».

Когда царское самодержавие услыхало эту угрозу из уст рабочего, а не революционера-интеллигента, — первая политическая рабочая *манифестация* уже была налицо. В Петербурге революционеров-рабочих было так много, что они решили выйти на улицу устроить как бы смотр своим силам. Так получилась демонстрация у Казанского собора 6 декабря 1876 года. Рабочие — а вместе с ними петербургские «бунтари» — рассчитывали собрать до 2.000 человек: на деле сошлось не более 200—250 рабочих (с одного завода пришла целая мастерская, в 40—45 человек). Плеханов, тогда молодой студент, произнес речь, было развернуто красное знамя, но тут подоспела полиция, и маленькая кучка революционеров была рассеяна. О сопротивлении никто, конечно, и не думал,—да и не 200 человекам было низвергнуть царскую власть: первые рабочие революционеры не были так наивны, чтобы об этом думать. Восстание «миллионов рабочего люда» было еще далеко впереди. Но то, о чем революционеры-интеллигенты 60 годов только *говорили* (в «Молодой России», см. стр. 140—141), в руках петербургских рабочих следующего десятилетия стало *делом:* красное знамя социалистической республики было развернуто на улицах русской столицы.

Революционные настроения среди рабочих были не только в Москве и Петербурге. В том же 1877 году харьковский губернатор доказывал царю, что «низший класс городского населения», «подкапываемый социальными учениями» (губернатор хотел сказать «учением социализма») во многом утратил «прежнюю неприкосновенность религиозных верований и патриархальность семейных отношений». «Класс фабричных рабочих... требует усиленного надзора и не представляет залогов устойчивости против распространения новых учений, — писал губернатор. — В среде этого населения революционная пропаганда встречает постоянное сочувствие, и в случае какого-либо движения в смысле перехода от теории к действию, класс харьковских рабочих, в огромном большинстве своем, не представит отпора возмутителям. В этом отношении заслуживают особого внимания подслушанные агентом полиции в среде фабричного населения разговоры об обременительности податей, о неизвестности, куда и на что тратятся деньги, забираемые с народа, о бесконтрольности правительства и тому подобные суждения, неслыханные в простом народе еще несколько лет тому назад».

Такие «суждения» были общи всем тогдашним революционерам,—тут еще ничего нового не было. Но рабочие уже в 70 годах умели внести в движение нечто новое, свое.

С 1878 года стачечное движение в Петербурге разрослось особенно широко. Бастовал целый ряд фабрик и заводов [1]), особенно много шума наделала стачка на Новой бумагопрядильне (той самой, что уже в 1870 году так напугало начальство), очень большой, особенно по тогдашнему времени, фабрике— с 2.000 рабочих. Это были все люди, недавно пришедшие из деревни, полу-крестьяне, мало сознательные: тем не менее, и на этой фабрике был уже революционный кружок. Каков был уровень той массы, к которой этим революционерам приходилось обращаться, видно из заключительного акта забастовки: она кончилась тем, что бастовавшие ходили с прошением к «наследнику» — будущему императору Александру Александровичу. Ходили безрезультатно, конечно, — будущий Александр III не захотел вмешиваться в «деликатный» вопрос об отношениях рабочих к их хозяевам: но все же, нужно сказать, челобитчиков и не расстреляли, как это случилось позже, 9 января 1905 года, с другими такими же челобитчиками. Николай и тут сумел превзойти своего папашу. Но если забастовка не оказала видимого влияния на правительство (мы скоро увидим, что под шумок оно очень и очень учитывало требования рабочих), она не прошла даром для русского рабочего движения: под влиянием петербургской волны забастовок 1878—1879 г.г. возни-

---

[1]) Всего за 1878—1880 годы историки рабочего движения насчитывают по России 29 стачек, в которых участвовало 30—35 тысяч рабочих.

кает в России первая революционная пролетарская организация — *Северно-русский рабочий союз*

Политические объединения рабочих встречаются нам и ранее; одной из самых заметных был «Южно-Российский Союз Рабочих», в Одессе, Ростове и Керчи, в половине 1870 годов. И уже в его целях и задачах мы встречаем кое-что новое: союз ставил себе целью «а) пропаганду идеи освобождения рабочих из-под гнета капитала и привилегированных классов и б) объединение рабочих южно-российского края для будущей борьбы с установившимся экономическим и политическим порядком». Союз, таким образом, соединял *пропаганду* и *организацию* — две стороны дела, которые у революционеров-народников стояли особняком. Пропагандой они занимались ради распространения своих идей, а организовывали они заговоры. Попыток организовать массы мы у них почти не встречаем, и это потому, что они, как мы знаем, приписывали массе стихийную революционную силу, которую надо только пробудить, а потом уже само пойдет. К заговору же они прибегали, только разочаровавшись в этой силе, и тогда масса становилась для них лишь запасным складом, откуда они черпали человеческие силы для заговора. Что орудием переворота должна стать *организованная масса*, это для 70 годов было весьма свежей мыслью, навеянной, несомненно, работой *среди* пролетариата, но вышла эта мысль из интеллигентской головы: устав написан дворянином Заславским (которого за участие в образовании союза сослали на каторгу).

Северный Союз Русских Рабочих (1878 — 1879 г.г.) ценен именно тем, что его программа и его устав вышли целиком из пролетарских кругов — при явно отрицательном к ним отношении тогдашней петербургской революционной интеллигенции. Основатель союза, столяр Степан Халтурин, из вятских крестьян, в свою очередь долгое время явно иронически относился к работе этой интеллигенции, которая только «своего брата, чинарей (т.-е. чиновников) жарит» и тем мешает рабочим организоваться. «Чистая беда, — говорил Халтурин, только что наладится у нас дело — хлоп, шарахнула кого-нибудь интеллигенция, и опять провалы. Хоть немного бы дали вы нам укрепиться». Это вовсе не значило, что Халтурин был «мирным просветителем», хотя о просвещении он отнюдь не забывал: одной из главных его забот было собирание книг и распространение их между рабочими; между прочим, «Северному союзу» принадлежит честь открытия первой в России *библиотечной сети*, по плану, о котором теперь так много говорят. Районные библиотечки «Союза» (само собою разумеется нелегальные) *обменивались книгами:* какой нехватало в одном районе, доставляли из другого. Но эти просветительные заботы отнюдь не мешали Халтурину мечтать о революционном перевороте. Только он представлял себе этот переворот не так, как рисовали себе его ин-

теллигенты-народовольцы, в виде «стихийного взрыва» после какого-нибудь особенно эффектного террористического акта, а в форме *всеобщей забастовки*, то-есть в той именно форме, в какой переворот действительно произошел в октябре месяце 1905 года. Халтурин в своих представлениях о революции шел на четверть столетия впереди своего времени.

Но к еще большей чести Халтурина он прекрасно понимал, что для его времени, для 1870 годов, всеобщая стачка была еще мечтой. И то, чего он действительно добивался в ближайшее время, была еще не всеобщая забастовка всех рабочих, а только объединение, организация наиболее передового слоя. К этой цели и стремился «Северный союз». Цели этой организации были политически-революционные: в этом была связь Халтурина с революционно-интеллигентскими кругами, очень его ценившими. У этой же интеллигенции «Союз» взял и определение ближайшей задачи на другой день *после* переворота: «учреждение свободной народной федерации общин, основанной на полной политической равноправности и с полным внутренним самоуправлением на началах русского обычного права». Но это все, что осталось в программе союза «от Бакунина». И к этой бакунинской голове довольно плохо приложен длинный хвост, всецело составленный Халтуриным и его товарищами, ибо обо всем этом революционеры-интеллигенты не только не говорили, но и говорить считали неприличным. Тут были и «свобода слова, печати, права собраний и сходок», и замена армии народным вооружением, и отмена косвенных налогов, и установление прямого сообразно доходу и наследству, и фабричное законодательство,— словом, в грубых чертах набросок того, что впоследствии у социал-демократов получило название «программы-минимум». Для составления этого наброска Халтурин занимался делом, совершенно праздным в глазах тогдашней революционной интеллигенции, — изучением европейских конституций. Сам Халтурин, в свою очередь, считал праздным занятием споры о судьбах русской поземельной общины, которым усиленно предавалась тогда эта интеллигенция. «Неужели это действительно так важно?» спрашивал он Плеханова.

Но «Северному союзу» пришлось испытать на себе и оборотную сторону массовой работы в условиях тогдашней России. Союз насчитывал своих членов еще только сотнями, а уже в его среду пробрались провокаторы, и через несколько месяцев после возникновения союза последовал провал. Халтурин не был им захвачен, он уцелел от арестов, но крушение любимого дела произвело на него огромное впечатление. Он пережил разочарование, очень похожее на разочарование, какое вынесли интеллигенты из своего «хождения в народ». И, как и те, под влиянием этого разочарования он стал сам террористом. Ему принадлежит одно из крупнейших дел Народной Воли — попытка взрыва Зимнего дворца 5 февраля 1880 г. Благодаря своему

«рабочему званию», он проник во дворец в качестве столяра и прожил там несколько месяцев, по горстям нося к себе в комнату динамит, который он хранил в своей постели. Полиция коечто пронюхала, и опасение, что все раскроется, заставило ускорить взрыв, когда, по мнению Халтурина, далеко не все еще было готово. Узнав, что Александр II остался цел, Халтурин заболел с горя, но это новое разочарование не заставило его оставить террора. Как террорист, он и погиб на виселице, в 1882 году, после убийства киевского прокурора Стрельникова — одной из главных царских ищеек на юге России.

Но полиция могла сколько угодно задерживать образование рабочих организаций (после гибели «Северного союза» на юге возникла еще одна, анархистская, имевшая бурный, но очень кратковременный успех; ее, впрочем, трудно назвать «организацией»; главным средством борьбы для нее был фабричный террор), стихийное забастовочное движение полиция тем менее могла остановить, что обострившийся после короткой передышки (1878—1879 года — благодаря военным заказам) *промышленный кризис* давал фабрикантам возможность так прижимать рабочего, как это они не могли делать ранее даже в России. Сокращение производства под влиянием кризиса делало предпринимателя самодержцем над жизнью тысяч людей: «не хочешь работать на моих условиях, — ступай, куда знаешь, у меня рабочих и так больше, чем нужно». *Безработица* как всегда шла вслед за кризисом. «Первым делом зайдешь на какой-нибудь завод, либо фабрику, всюду только и слышишь, что рассчитывают, — писала «Рабочая Газета» народовольцев в конце 1880 года. — Например, у Голубева, у Лесснера рассчитали четвертую часть всех рабочих; у Путилова, у Нобеля, на Балтийском — третью часть; у Растеряева, на Патронном, у Петрова — половину; завод Берда совсем стал, а было в нем 1.500 рабочих. То же и на фабриках. Выходит, значит, что и постоянным питерским рабочим некуда деться, а тут на несчастье неурожай пагнал из провинции немало рабочего люда. Как теперь поглядишь на все это, так тебе и видно станет, почему на некоторых улицах проходу нет от нищих, почему полиция, хоть и высылает нищих тысячами из города, все же не может очистить улицу от них».

Кризис захватил всю первую половину 1880 годов, и за шесть лет (1881 — 1886) историки русского рабочего движения насчитывают 48 крупных стачек, в которых участвовало более 80.000 рабочих. Самой памятной из них осталась знаменитая «Морозовская стачка» — забастовка в январе 1885 года на фабрике Тимофея Морозова в Орехове-Зуеве, фактический *первый успех* русского рабочего движения, как увидим ниже, хотя окончилась она кажущейся победой фабриканта. У Морозова, как и всюду, пользуясь кризисом, резко уменьшили заработную плату (сразу на 25%); в то же время администрация фабрики получила от хозяина приказ так немилосердно штрафовать рабочих, что из

каждого рубля еще 25% оставалось в хозяйской кассе уже в виде штрафа. Штрафовали за все: за курение был положен штраф от 3 до 5 рублей, за один прогульный день вычитали 3-дневный заработок и т. д. Для сдельной работы поставили такие условия, что, по признанию самого хозяина на суде, иной ткач зарабатывал не более 2 р. 50 к. в месяц. Сверх того еще вычитали за все: и за баню, и за освещение каморок, и за уголья для самовара; с обитателей каморок брали плату поголовно, так что за каждого ребенка в семье приходилось платить.

При таких условиях забастовка должна была вспыхнуть стихийно, сама собой—тем более, что у Т. Морозова, свирепого эксплоататора, рабочие, можно сказать, привыкли бастовать: первая забастовка у него на фабрике была еще в 1865 году. Но отличительной особенностью морозовской стачки 1885 года было именно то, что она не была стихийной. Во главе ее стояли сознательные рабочие, Мосеенок и Волков; первый был старым борцом петербургского рабочего движения конца 70 годов и за участие в петербургских стачках побывал в ссылке, в Восточной Сибири. Волков, как увидим ниже, сумел так осмысленно передать требования рабочих, что из волковской «тетради» коечто прямо перешло в русские фабричные законы 1880 годов. Стачка была проведена с большой выдержанностью и настойчивостью, начавшие забастовку ткачи сумели «снять» с работы сначала ткачих, потом прядильщиков, потом красильщиков; все предприятие стало. Мосеенок и Волков уговаривали товарищей не делать никаких насилий, но раздражение пролетарской массы против администрации было слишком сильно, и квартиры главных подручных Морозова порядочно пострадали. Движение было настолько грозно, что владимирский губернатор вызвал на место два батальона пехоты и полк казаков (рабочих бастовало до 8.000 человек). Но рабочие и перед лицом войска не пошли на условия фабриканта (Морозов начал сдаваться, увидав дружный натиск рабочих). 11 января (забастовка началась 7) они устроили шествие с красным знаменем, а когда уполномоченные рабочих после этого были арестованы, отбили их из-под ареста. Только после ряда побоищ с казаками и пехотой и ареста 600 человек, геройское сопротивление стачечников было сломлено. Работы возобновились с 14 января, но к ним приступило только 800 человек из 8.000.

От таких событий слишком пахло рабочей революцией, чтобы правительство Александра III, вообще бравшее не столько храбростью, сколько хитростью, не забеспокоилось. В феврале того же 1885 года, т.-е. под непосредственным впечатлением именно морозовской стачки, министерство внутренних дел писало министру финансов (который ведал тогда и фабрики: министерство торговли и промышленности открыто было гораздо позже этого времени): «Исследование местными властями причин стачек рабочих обнаружило, что они (стачки) грозили принять размер серьезных вол-

ний и произошли, главным образом, вследствие отсутствия в нашем законодательстве общих постановлений, на основании коих могли бы определяться взаимные отношения фабрикантов и рабочих». Далее шли разговоры о вещах, хорошо нам знакомых: о «несоразмерно высоких штрафах», которые «часто служили в руках фабрикантов способом искусственного понижения заработной платы» (тут только имени Тимофея Морозова нехватало), и «высоких ценах в фабричных лавках», и «недостатке точности при составлении условий» и т. д.,—все, отлично знакомое не только нам, но и царскому правительству еще с 1870 года, как мы видели. Теперь, после волны забастовок конца 1870 и начала 1880 годов, бесправие рабочих начинало быть опасно для самого правительства; чтобы Александр III чувствовал себя безопасно на престоле, нужно было дать какие-то «права» рабочим.

На путь фабричного законодательства правительство Александра III вступило еще в 1882 году, но первый шаг его был настолько робкий, что со стороны фабрикантов он ничего не встретил, кроме презрения. Законом 1 июля этого года была ограничена эксплоатация малолетних на фабриках, и для надзора за исполнением закона учреждена была инспекция. Но, во-первых, закон решились ввести в действие только *через два года*, с 1 мая 1884 г. Во-вторых, фабричному инспектору никакой власти дано не было, он мог только ездить, смотреть да составлять протоколы, из которых ничего не выходило (мы помним, что мировые судьи были на стороне фабрикантов). Немудрено, что, когда являлся инспектор, на иных фабриках ему небрежно отвечали, что ни о каком законе ничего не знают. А один московский фабрикант не стал даже слушать инспектора, прервав его словами: «Вы меня извините, господин, мне пора в город в амбар ехать, а вы расскажите свое какому-нибудь молодцу в конторе; они мне потом все передадут, будьте спокойны». Страх за собственную шкуру заставил Александра III и его министров подойти к фабрикантам смелее: впервые посягнули на отношения хозяев не к детям (там начальственную опеку можно было объяснить малолетством опекаемых), а к взрослым рабочим. Закон 3 июня 1885 года запретил ночную работу для *женщин*, а ровно год спустя охрана коснулась труда *всех* рабочих, всякого пола и возраста. Главная суть закона заключалась в ограничении хозяйского произвола по части расплат, штрафов и т. д., т.-е. того, на что неизменно жаловались рабочие при всякой забастовке, обращавшей на них внимание начальства. Сравнивая отдельные статьи закона с требованиями морозовских рабочих в январе 1885 г., мы еще раз убеждаемся, как сильно эта стачка подействовала на начальство: целый ряд требований целиком перешел в закон: расплата каждые две недели, предупреждение о расчете за две недели, удовлетворение рабочего «особым вознаграждением» за неправильный и несвоевременный расчет, сокращение штрафов до такого размера, чтобы они никак

не брали более 5% заработной платы (вместо 25, практиковавшихся у Морозова) и т. д.

Но если фабриканты в первую минуту и встревожились от похода на их «права», они скоро должны были успокоиться. Во-первых, инспектора были назначены в таком количестве (в Московской, например, губернии двое, инспектор с помощником, на 2.000 фабрик), что наблюдать за фабрикантами всерьез они, разумеется, не могли. Затем над инспектором были поставлены фабричные присутствия, где были представлены фабриканты, а «рабочие, разумеется, отсутствовали» (точные слова инспектора Московской губернии Янжула) и где решающее значение имели голоса обер-полицеймейстера и жандармского генерала. Еще спасибо, что последнему от министерства внутренних дел (мы помним, что почин фабричного законодательства Александра III принадлежал именно этому министерству) было предписано поддерживать рабочих,—так в лице жандарма фабричный инспектор находил кое-какую опору. Но зато скоро, с назначением министром финансов биржевика Вышнеградского, инспектора перестало поддерживать его собственное ведомство: Вышнеградский прямо обещал фабрикантам, что он превратит фабричных инспекторов в «становых приставов», т.-е. мелких полицейских чиновников, обязанных помогать хозяину смотреть на фабрике за «порядком».

При этом положении рабочего по отношению к *государству* оставалось прежнее: рабочий по-прежнему оставался бесправным, как и все подданные Александра III, по-прежнему он лишен был права коалиции, не мог образовывать союзов, по-прежнему стачка оставалась преступлением, за которое по суду сажали в тюрьму, а в административном порядке ссылали в Сибирь. Даже скромное право иметь своих представителей, рабочих «старост», — на чем настаивали, между прочим, забастовщики 80 годов, — было «даровано» после того уже, как рабочее движение давно переросло подобные скромные требования: в 1880 годах даже и об этом рабочие в России «не смели и думать». Правительство Александра III обнаруживало крайне наивный «экономический материализм», воображая, что если оно чуть-чуть (и то на бумаге) улучшило чисто материальное положение рабочего, в самом узком понимании этого слова, то никакие «социальные учения» уже больше рабочего не соблазнят. Оно должно было очень скоро разочароваться: к началу 90 годов стачечное движение не только не ослабело, а, наоборот, стало гораздо шире и ярче.

К этому времени как раз в полной мере сказались последствия той *таможенной* политики правительства, о которой говорилось в начале этой главы (см. стр. 162). Огражденная чудовищными пошлинами от иностранной конкуренции, наша промышленность обнаружила чудовищную способность роста. В 1885 году в России было выплавлено только 31 милл. пудов чугуна, в 1895 г. уже 87 миллионов, а в 1898 г. уже 136 миллионов. Потребление хлопка русскими фабриками составляло 8 милл. пу-

дов в 1888 году и 17 миллионов в 1898 г. В начале 1880 годов старые петербургские металлические заводы не знали, что делать, и распускали рабочих, а с конца того же десятилетия была совсем иная картина. «До 1887 года на юге России работало только два железоделательных завода—Юза и Пастухова. *С этого года заводы начинают расти, как грибы.* За короткое время возник целый ряд чудовищных чугуноплавильных заводов: Александровский, Каменский, Гданцевский, Дружковский, Петровский, Мариупольский, Донецко-Юрьевский, Таганрогский и др. Число рабочих на чугуноплавильном заводе Юза около 10 тыс., на прочих немного меньше. В 1899 году на юге было 17 больших чугуноплавильных заводов с 29 действующими доменными печами и 12 вновь строящимися». Так изображает дело один современный наблюдатель.

С прекращением кризиса прекратилась, конечно, и безработица. Но мы очень ошиблись бы, если бы вообразили, что предприниматели, начав снова «зарабатывать» хорошие деньги, сразу смягчились и подняли, по собственной доброте, заработную плату своих рабочих. Ничего подобного. Заработная плата, правда, поднялась ко второй половине 1890 годов, значительно: на московской фабрике Ципделя средний годовой заработок рабочего-мужчины в 1886 г. составлял 235 р., а в 1896 г.—270 р. (при понизившейся цене хлеба, т.-е., значит, *реальная,* действительная, заработная плата поднялась выше, чем *номинальная:* за то же количество рублей теперь можно было купить больше). На Юзовском заводе, Екатеринославской губ., наименьшая заработная плата (для чернорабочего) была в 1884—1885 г.г. 40 копеек в день, а в 1897 г.—70 коп. Наибольшая плата в 80-х годах составляла 3 р. 70 к. в день, а в 1897 г.—6 рублей. Но этот успех был достигнут только благодаря чрезвычайно энергичной стачечной борьбе, которую вели рабочие в течение всего последнего десятилетия XIX века; если в начале 80-годов за 5 лет можно было насчитать 80.000 забастовщиков, то в одном 1895 году бастовало 48.000 человек, а за 5 лет, 1895—1899 года, их число достигло почти полумиллиона (434 тысячи человек).

А параллельно с экономическим, забастовочным развивалось и революционное движение среди рабочего класса, развивалось медленнее, чем экономическое: массовые *политические* забастовки увидал только XX век, но все же гораздо живее, чем когда бы то ни было за все предшествующие периоды революционного движения в России. В первой половине 70-годов были отдельные рабочие-революционеры и отдельные революционные рабочие кружки; во второй половине этого десятилетия были уже рабочие *организации,* ставившие себе политические задачи. В 90 годах кружки кишели во всех промышленных центрах России, а организации складывались в *политическую партию пролетариата.* Об образовании этой партии придется подробнее гово-

рить в следующей главе настоящего «Очерка»—по поводу подготовки первой рабочей революции в России, 1905—1907 г.г. Но очерк рабочего движения *до* этого момента был бы не полон, если бы мы не сказали, что к 90-годам рабочий класс не только вел борьбу во много раз более энергично, чем раньше, но и что он мог ее вести теперь не вслепую, а вполне сознательно: к 90-м годам у нас уже была выработана и разработана теория классовой борьбы пролетариата, существовал *русский марксизм*.

Имя Маркса давно и хорошо было знакомо в России. I том «Капитала» был переведен на русский язык раньше, чем на какой-нибудь другой. Многие революционеры-народовольцы знали Маркса лично, переписывались с ним; но его идеи, ими очень ценившиеся и уважавшиеся, были для них чистой «теорией», т.-е. чем-то таким, что к русской действительности не приложимо, к нам, русским, отношения не имеет. В самом деле, ведь у нас нет капитализма. У нас социализм пойдет не от фабрики, а от сельской общины. И народники повторяли это так настойчиво, что сам Маркс на минуту поколебался, и если и не признал, что из русской общины выйдет социализм (как уверяли народники, пристрастно толкуя одно письмо Маркса), то все же недостаточно решительно высказал свое осуждение этой нелепости. Правда, что русской общины Маркс совсем не знал иначе, как в изображении народников, а тут она походила на что угодно, только не на действительную русскую общину.

Меж тем народническое движение попало в совершенный тупик. До середины 70 годов оно все надежды возлагало на крестьянина, — тот их не оправдал. Переход к террору, в сущности, предполагал надежды на буржуазию, которая должна была поддерживать террористов. Но буржуазия попряталась в кусты почти поголовно после 1 марта. Никакого общественного класса, способного поддержать революцию, народники, с их точки зрения, больше не видели. Правда, Халтурина и его товарищей нельзя было не видеть, — но что же из этого? Капитализма в России нет, пролетариата быть не может, — что может дать революции рабочий?

Очевидно, что нужно было взять быка за рога и пересмотреть вопрос—действительно ли в России капитализма нет и пролетариата быть не может? Смелым человеком, который взялся за этот краеугольный камень народничества и попробовал его перевернуть, был Георгий Валентинович Плеханов (1857—1918).

Знакомый нам оратор на Казанской площади 6 декабря 1876 года, потом редактор органа революционного народничества — «Земли и Воли», Плеханов не пошел за террористическим меньшинством землевольцев, и после воронежского съезда организовал «Черный Передел» (см. стр. 157). Пропагандист уже тогда был в нем сильнее революционера-бойца, позже, во время революции 1905 года, это обнаружилось еще ярче. Но пропагандист Плеханов был исключительной силы: это был самый умный, са-

мый образованный и самый талантливый русский публицист конца XIX века. Неудача «Черного Передела», — пропаганда которого среди крестьянства имела еще меньше успеха, нежели «хождение в народ» десятью годами раньше, — привела к тому, что Плеханов уехал за границу. Здесь он лицом к лицу увидал европейское рабочее движение. Вот она где, та масса, на которую может опереться политическая революция! Но, говорят, у нас ничего подобного нет и быть не может. Так ли это? Воспоминания,—Плеханов был один из самых деятельных работников среди петербургского пролетариата середины 70 годов,—подсказывали как будто иное. И уже тогда, как он сам рассказывает в своих воспоминаниях о петербургском рабочем движении, у него зародились сомнения насчет общины. Близкое знакомство с марксистской литературой в подлиннике, на месте, еще больше укрепило эти сомнения. Плеханов собрал весь статистический материал, какой был тогда, подошел к нему с настоящим, научным марксистским методом—и пришел к убеждению, что «капитализм может стать и становится полновластным хозяином России». Подверг такому же исследованию общину—и нашел, что «надеяться на ее дальнейшее самостоятельное развитие так же странно, как странно надеяться на долговечность и дальнейшее размножение вытащенной на берег рыбы. Дело не в том, на какой крюк насажена рыба, а в том, приспособлены ли ее дыхательные органы к окружающей атмосфере. Атмосфера же современного денежного хозяйства убивает нашу архаическую (устаревшую) форму землевладения, подкапывает ее в самом корне».

Вывод был ясен. Россия—такая же страна, как другие европейские страны, только более отсталая, но быстро догоняющая опередивших ее соседок. «Злобой нынешнего дня является у нас капиталистическое производство». Но «фабрикант немыслим без рабочего... Развитие буржуазии предполагает развитие рабочего класса; исторический рост капитализма представляет собою двухсторонний процесс, при чем на каждой из его сторон группируется соответствующий общественный класс». Чем больше в России фабрик, тем больше в ней пролетариев: и на этот-то класс, класс русского *будущего*, и должна опереться русская революция. «Одна лишь рабочая партия способна разрешить все те противоречия, которые осуждают теперь нашу интеллигенцию на теоретическое и практическое бессилие». «Пока у нас нет рабочей партии, городские революционеры поневоле обращаются к «обществу», так что фактически являются его революционными представителями. Народ отодвигается на задний план»... От этого рознь и раздоры между «сельскими» и «городскими» революционерами, т.-е. между «деревенщиками» и террористами (см. стр. 156—157). «Не то было бы, если бы политическая борьба в городах приняла, главным образом, рабочий характер. Тогда городские и сельские революционеры различались бы между собою лишь *по месту*, а вовсе не *по сущности* своей деятельности, и те

и другие были бы представителями *народного* движения, в различных его видах, и социалистам не было бы необходимости жертвовать своею жизнью в интересах чуждого их взглядам «общества» (т.-е. буржуазии).

Таковы в самой, конечно, сжатой форме те взгляды, которые развил Плеханов в своей книге «Наши разногласия» (вышедшей за границей в 1884 г.), подводя итоги своим спорам как с пропагандистами народниками, так и с террористами из Народной Воли. Действительно, он был теперь по ту сторону водораздела между Народной Волей и Черным Переделом, на совершенно новой почве, на которую еще не вступала нога русского революционера, но по которой потом русская революция дошла до октября 1917 года. В «Наших разногласиях» даны уже все почти основные идеи, которыми питалась русская марксистская литература до самого конца XIX века: Струве, Булгаков, Туган-Барановский и другие, в которых наивная молодежь 90 годов видела апостолов марксизма, на самом деле только пересказывали и пережевывали Плеханова, недоступного для этой молодежи в оригинале («Разногласия» были изданы легально в России только в 1905 г.). Лишь «Искра», уже в XX веке, пошла дальше.

Еще годом раньше выхода в свет «Разногласий», в 1883 году около Плеханова сплотилась небольшая кучка эмигрантов-революционеров, по большей части литераторов, образовавшая на основе плехановских идей «Группу Освобождения Труда», первую марксистскую революционную организацию русских людей, хотя и не в России. К «Группе», кроме самого Плеханова, принадлежали Дейч, Аксельрод и Вера Засулич (пятый член «Группы» Игнатов скоро умер). Но издания «Группы Освобождения Труда», — она могла действовать, из-за границы, только литературно, — почти не проникали в Россию. За попытку провезти эти издания в сколько-нибудь большой массе Дейч был сослан в Сибирь. На родину попадали отдельные экземпляры, не особенно дружелюбно встречавшиеся старыми народовольцами, с геройским упрямством пытавшимися раздуть еле-еле тлевшие остатки движения, пошедшего на убыль уже сразу после 1 марта. («Три слишком года, протекшие со времени дела 1 марта, характеризуются упадком революционной энергии в России», писал Плеханов Лаврову в июле 1884 г.) Провал в этом же году последнего состава Исполнительного Комитета окончательно раздробил движение, оставались отдельные кружки народовольцев, дожившие до средины 90 годов, и медленно складывались, на фоне рабочего движения, марксистские кружки, не столько под влиянием «Группы Освобождения Труда» (хотя уже в 1885—1886 г.г. петербургская группа «Рабочий» была в непосредственной связи с Плехановым, участвовавшим в издававшейся группою газете), сколько ощупью набредая на те же идеи под влиянием капиталистической действительности, говорившей громче вся-

кой пропаганды. Только лет через 10 после образования «Группы Освобождения Труда» образуются почти одновременно, в Петербурге, Москве, Нижнем-Новгороде, Одессе и т. д., первые *социал-демократические* организации. Название «социал-демократический», тогда резко подчеркивавшее *марксистский* характер нового движения, — потому что официально из всех социалистических партий мира только германская социал-демократия положила в основу своей программы учение Маркса, — вошло в употребление не сразу. Первое время его сознательно опускали, чтобы не «отпугнуть бессознательную массу». Так глубоко вкоренилось народничество в революционеров даже еще начала 90 годов. Ибо «социал-демократия» обозначала тогда соединение социализма и политической борьбы (на эту тему была написана первая брошюра Плеханова, марксистского периода—«Социализм и политическая борьба»), а социалисты 70 годов считали участие в политической борьбе смертным грехом, достойным только буржуазии. Единственной целью, достойной его, народник-революционер считал немедленную *социалистическую* революцию. Говорить о демократической республике, о всеобщем избирательном праве и т. под., чем наполнена была программа-минимум немецкой социал-демократии, считалось неприличным. Только «Народная Воля» отрешилась от этого предрассудка, но за то «Народная Воля» почти свернула и социалистическое знамя (см. выше стр. 159), как мы видели, лишний раз показывая этим, как несоединимы были социализм и политическая борьба для революционеров народнического периода.

И первые социал-демократы, выступившие среди русского пролетариата, не были вовсе неправы, не выдвигая на первый план свои марксистские лозунги. Ибо даже первые рабочие-марксисты подходили к пропаганде новых идей с чисто-народническими приемами. «Один марксист в Н.-Новгороде говорил, что не может рабочего считать социал-демократом прежде, чем он не изучит всего Маркса», пишет один историк и ближайший участник первых шагов пролетарского движения в центральной России. «На брошюры, а тем более на листки он смотрел с презрением и считал их не только неполезными, но даже вредными; просто все рабочие должны читать «Капитал». Ход развития рабочего движения он представлял так, что постепенно будет увеличиваться число рабочих, изучивших Маркса, они будут привлекать к этому изучению всех новых членов; современем вся Россия покроется такими кружками, и у нас образуется рабочая партия».

Мы видим, как живуча была теория «критически мыслящих личностей»: ведь, наш «марксист» начала 90 годов был попросту «лавристом»! (см. стр. 143—144). К слову сказать, и сам Лавров знал первый том «Капитала» едва ли не наизусть. Рабочие-революционеры, менее начитанные, просто не разбирались на первых порах в споре между народниками и марксистами. «Когда в один и тот же кружок протестантски-настроенных рабочих приходили

представители, члены двух направлений, то рабочие задавали себе вопрос, почему это те и другие, как будто хотят устроить все к лучшему, а между тем у них у самих чувствуется какое-то несогласие», — пишет в своих воспоминаниях один из членов тогдашних кружков. «Для рабочих интеллигент или студент представлялись какой-то неоспоримой истиной. И когда рабочий слышал, что один начинает оспаривать то, что говорит другой, то он становился в какой-то тупик, и некоторые из начинающих рабочих просто отходили прочь, говоря: да они и сами не знают, что нужно делать. Более же определенные рабочие, конечно, не отходили прочь, но под влиянием этих споров стали задаваться вопросом, как бы сделать так, чтобы не было разногласий. С этой целью некоторые отдельные рабочие делали наивные попытки уговорить интеллигентов не спорить между собою, так как это вредит общему делу пробуждения рабочих. Убедившись же, что из этого ничего не выйдет, решили позвать тех и других для того, чтобы выслушать, в чем заключается разница взглядов, как одной группы интеллигенции, так и другой. С этой целью в декабре 1893 года на моей квартире был устроен диспут.... Перед нами были изложены взгляды как народовольцев, так и социал-демократов. Разницу мы усмотрели только в том, что народовольцы хотят немедленно вести агитацию, как нам показалось, за немедленный переворот, а социал-демократы говорили, что нужно сперва вести более глубокую пропаганду». Понадобилось второе собрание, чтобы рабочие поняли разницу. На этом втором собрании выяснилось, что все присутствовавшие рабочие, за исключением одного, соглашались с социал-демократами, «ввиду этого мы пришли к выводу, чтобы народовольцы в кружках вели социал-демократическую пропаганду». Это, на первый взгляд донельзя странное, требование имело совершенно неожиданный результат: лучшие из народовольцев стали писать прокламации, совершенно удовлетворявшие марксистов, а потом и вовсе слились с последними в одну группу. Так объективная сила пролетарского движения (ибо, конечно, тут дело было не в том, что рабочие «приказали», а в том, что интеллигенты желали быть понятными рабочим) выпрямляла все кривизны интеллигентского мышления, прокладывая дорогу пролетарскому миросозерцанию сквозь самую густую чащу народнических предрассудков.

Но понятно, что при таком уровне даже рабочих «протестантов», т.-е. революционеров, к серой массе приходилось подходить чрезвычайно осторожно. Что на стенах жилищ этой серой массы висят иконы и царские портреты, это знали не только фабричные инспектора, — пропагандисты знали это еще лучше. Начинать поэтому приходилось с *экономической агитации*. К такой агитации давал повод каждый случай притеснения рабочих на фабрике; этих случаев не приходилось искать днем с огнем, как мы знаем, а особенно энергично было использовано

первыми русскими социал-демократами то стачечное движение, о котором говорилось выше. В Петербурге каждая крупная забастовка давала повод к появлению листка, грубо отпечатанного при помощи гектографа, написанного нарочно печатными буквами, чтобы даже малограмотный рабочий мог прочесть. Иногда на фабрику попадало всего два экземпляра такого листка, остальные успевали подобрать сторожа и городовые, но и это считалось уже успехом и для фабрики не проходило даром. Листки писались лучшими, впоследствии, публицистами социал-демократической партии; особенный успех имел майский листок 1896 года, написанный Н. Лениным: этому листку многие рабочие приписывали успех огромных, по тогдашнему, забастовок в июне этого года на петербургских текстильных фабриках, когда бастовало до 30.000 рабочих сразу, — после чего правительство должно было пойти на новую уступку, издав закон 1897 года о сокращении рабочего дня.

Но «экономический» характер этой агитации вовсе не означал, что марксисты отказывались от соединения социализма и *политической* борьбы. Напротив, те меры, при помощи которых начальство боролось с забастовочным движением, создавали почву, по которой экономическое движение само собою переходило на политическую почву. За экономические листки сажали в тюрьму и ссылали не хуже, чем за любую народовольческую прокламацию. Н. Ленин сейчас упомянутый майский листок писал в тюрьме, там же он написал молоком целую брошюру о стачках. Рабочих, непосредственно руководивших забастовками, высылали «на родину» под надзор полиции, с волчьим паспортом, а то и ссылали в Сибирь. И забастовочное движение давало великолепный повод объяснить массе, за что борются революционеры с самодержавием. Листок, написанный петербургским рабочим Бабушкиным, так объяснял товарищам-рабочим «что такое социалист и политический преступник»: «Нас грабит хозяин, сторону которого держит правительство. Социалисты, это те люди, которые стремятся к освобождению угнетенного народа из-под ярма капиталистов-хозяев. Называют же их политическими преступниками потому, что они идут против целей нашего варварского правительства, которое защищает интересы фабрикантов». Как свидетельствует цитированный выше историк и участник московского движения, такая «экономическая» агитация приводила не только к тому, что рабочие начинали «высказывать самым резким образом республиканские взгляды», но начинали даже и понимать, почему бога нет...

К половине 90 годов в Петербурге, а затем в Москве и других городах начинают складываться «Союзы борьбы за освобождение рабочего класса», организации интеллигентские по своему основному составу, но прочно спаянные с рабочей массой. Период, когда в революционных кружках были отдельные рабочие, а среди рабочих — отдельные, там и сям разбросанные,

кружки, были назади. Петербургский «союз борьбы», во главе которого тогда рядом стояли Н. Ленин и Л. Мартов, явился зародышем, из которого развилась российская социал-демократическая рабочая партия — и притом скорее большевистская ее половина, ибо Ленин и тогда был большевиком, единственный из нелегальных марксистских публицистов, резко отмежевываясь от «легального» марксизма Струве и К°, чего не находил возможным делать даже Плеханов. Для Ленина и тогда рабочее движение было началом *рабочей революции.* «Теперь русский революционер, опираясь на стихийно пробуждающийся класс, может, наконец, выпрямиться во весь рост и развернуть свои богатырские силы», — писал в те дни Ленин.

Рабочая революция, начавшаяся фактически с первых лет XX века и не окончившаяся доднесь, составит содержание 3-ей и последней части этого очерка.

Конец 2-ой части.

Как и кем писалась русская история до марксистов.

Читателям «Русской истории в самом сжатом очерке» захочется, конечно, пополнить свои знания чтением более обширных сочинений по русской истории. За парою исключений им придется иметь дело с книжками, написанными *буржуазными* учеными. Никак не следует думать, что эта буржуазность выражается только в кое-каких искажениях, в умолчании кое о чем невыгодном для буржуазии и т. д., словом, в таких ухищрениях, которые очень легко раскрыть, и к которым очень легко присмотреться. Нет, *у буржуазии есть собственное историческое миросозерцание,* которым проникнуты все сочинения по истории, написанные буржуазными учеными. Последние были глубоко убеждены в правильности этого миросозерцания и проводили его в своих сочинениях с полной искренностью, просто даже не понимая, нередко, что можно смотреть на историю, можно объяснять исторический процесс иначе. Искренность и убежденность тона многих буржуазных историков может сбить с толку любого неподготовленного начинающего читателя марксиста, а иной раз даже и очень подготовленного, — ниже мы увидим, как, например, *Плеханов,* незаметно для себя самого, усвоил себе буржуазное понимание русского исторического процесса.

Для правильного использования буржуазной литературы по русской истории уяснить себе основные черты буржуазного исторического миросозерцания очень, поэтому, важно.

Буржуазия командовала над рабочими при помощи аппарата, называемого *государством.* При посредстве государства она создавала пролетариат, обезземеливая крестьянство («великая реформа 1861 г.», столыпинский закон 9 ноября 1906 г. и т. п.). При посредстве государства же она заставляла пролетариат себе служить (законы против стачек, закон о найме на сельско-хозяйственные работы и т. д.). Наконец, когда ей приходилось отстаивать свои барыши от покушений буржуазии других стран, тот же государственный аппарат сгонял рабочих в ряды войск, заставлял их во имя выгод «отечественных» эксплоататоров уби-

вать пролетариев, мобилизованных эксплоататорами противной стороны.

Совершенно естественно, что *создание государственного аппарата казалось буржуазии самой главной, основной частью исторического процесса*, — так сказать, *становым хребтом истории*. Все буржуазные книжки по русской истории почти без исключения рассказывали *историю государства*. Немногие исключения отражали собою или точку зрения *мелкой* буржуазии или точку зрения докапиталистического, *феодального* общества. И о той и о другой мы скажем ниже несколько слов: для нас особенно интересны мелко-буржуазные русские историки, потому что никто ближе их не подошел к историческому материализму. Это, если хотите, наши ближайшие предки. Пока достаточно сказать, что ни мелко-буржуазная, ни феодальная точка зрения не получили права гражданства в русской университетской науке. Все русские профессора-историки с их курсами стоят на *буржуазной* точке зрения; а так как изучающему русскую историю прежде всего и чаще всего придется иметь дело с профессорскими курсами и диссертациями, то с этой точкой зрения необходимо познакомиться поближе и пообстоятельнее.

Мы уже знаем, что капитализм в России гораздо старше, чем обыкновенно думают, и что столетию промышленного капитализма предшествовало у нас *два* столетия капитализма торгового. Торговый капитализм создал у нас крепостное право, в том виде, в каком оно существовало в России в XVIII — XIX столетиях. Буржуазные историки, писавшие в эту эпоху развития русского капитализма, были под влиянием тогдашних экономических условий,—на них и их писаниях отразилась идеология, создававшаяся *крепостным хозяйством*. Крепостное право, как показывает самое название, это что-то очень крепкое, прочное, устойчивое. Барин-крепостник был убежден, что его крестьяне, «его люди» ему «крепки на век», «вечные его подданные». Хозяйство свое этот барин вел по старине, по примеру предков: если и находились в крепостное время чудаки, заводившие машины и разные другие сельско-хозяйственные усовершенствования, то их нововведения успеха обычно не имели, и сами они оставались одиночками. А когда стремление поднять производительность труда в русском помещичьем хозяйстве стало массовым явлением, помещикам пришлось ликвидировать крепостное право.

Итак, это последнее должно было внушать людям мысль о крепости, неподвижности всего существующего. Крепостное хозяйство делало русского помещика *консерватором* («охранителем»). Величайший русский историк этого периода Карамзин (род. 1765, ум. 1826 г.) был великим консерватором и в политике: когда Александр I вздумал было ввести в России цензовую конституцию (см. стр. 121) Карамзин яростно против этого восстал; самодержавие в России, казалось ему, должно быть так же «крепко», как и помещичья власть. Он написал «Историю

государства Российского» в уверенности, что государство, подобно империи Александра I, существовало в России испокон веку, со времен Владимиров и Ярославов. Оно только по временам «приходило в упадок», делилось на части, подпадало татарскому игу: причиной были недостатки тех или иных государей, князей,—виноваты были плохие хозяева, но хозяйничали они, управляли государством всегда одним и тем же манером, как одним и тем же манером всегда хозяйничал крепостник помещик и его предки. Разорившиеся любители новшеств были грозным предостережением и для других помещиков, и для их государя.

История государства превращалась таким образом у Карамзина в историю государей,—государство, собственно еще не имело истории. От этого сочинение Карамзина потеряло теперь всякое значение даже для буржуазных историков. Сохранили цену только его примечания, где Карамзин собрал фактический материал, для своего времени, т.-е. для первой четверти XIX столетия, когда писалась его «история», огромный и не вовсе утративший значение даже и теперь. Но определяющее влияние на новейшую русскую историческую литературу сохранили только писатели, стоявшие на почве уже новейшего промышленного капитализма.

Промышленный капитализм с его быстрым, на виду у всех, ростом крупного, машинного производства, с его кризисами и т. п., должен был, наоборот, внушать человеку мысль об изменчивости всего существующего. Стоящая в начале промышленно-капиталистического периода Европы философия Гегеля исходила из понятия, что *все течет*, все непрерывно изменяется. Это было огромным шагом вперед, — шагом, подготовлявшим исторический материализм. Но буржуазные мыслители применили это понятие прежде всего другого к своему богу, государству: для самого Гегеля государство было именно чем-то божественным. К хозяйству это понятие непрерывного изменения, развития было применено ими лишь гораздо позже, под прямым или косвенным влиянием марксизма. На первых порах *все* буржуазное хозяйство *в целом* казалось буржуазному историку таким же «вечным» и «крепким», как историку крепостной эпохи государство.

Вопрос, не встававший перед Карамзиным, как возникла и *развивалась* государственная власть в России, был таким образом поставлен у нас под влиянием гегелевской философии в 1840 годах. Ответ на это был дан в духе гегелевской *социологии,* т.-е. общего учения Гегеля о развитии человеческого общества. А это развитие рисовалось Гегелю в таком виде: древнейшей формой объединения людей была *семья,*—древнейшей властью была власть отца, патриарха, старшего в роде. Человеческая личность тогда совершенно поглощалась семьей, вне семьи человек не имел никакого значения. Когда русским историкам впоследствии приходилось объяснять своим читателям

эти первобытные порядки, им достаточно было указать на то, что все обозначения, какие люди дают друг другу в крестьянском быту, взяты из семейного словаря: обращаясь к равным, крестьянин говорит: «братцы», к старшему «дядя» или «тетка», к совсем старому «дедушка», «бабушка». Или припомнить, что к имени у нас всегда присоединяется отчество—человека зовут по отцу, т.-е. по семье. Принадлежность к семье определяет положение человека в обществе.

Но мало-по-малу семья начинает разлагаться (какие были экономические условия этого разложения, этим вопросом не задавались). Личность выделяется из семьи. Мир семей превращается в хаос отдельных личностей, борющихся или соединяющихся друг с другом во имя своих личных интересов. «Родовой быт» переходит в «гражданское общество». Типом такого *гражданского общества* историкам-гегельянцам (последователям Гегеля) представлялось общество феодальное, где, казалось им, каждый отдельный помещик, «рыцарь», «дворянин», действует на свой страх и риск, вступая от себя лично в те или другие отношения с другими такими же помещиками. Того, что под этой «отдельной личностью» стоит коллектив, сельская община, буржуазный историк не замечал, а когда из феодального лягеря ему указали на этот факт, он стал от него отпихиваться, уверяя, что общины никакой сначала не было, что ее создала «личность»—помещик или помещичье государство. Это обстоятельство, нами уже упоминавшееся (см. стр. 137), — очень выразительный пример того, как общее миросозерцание историка отражается на его взглядах по отдельным вопросам и как, изучая даже какую-нибудь подробность исторического процесса по той или другой книжке, необходимо знать общие взгляды автора этой книжки.

Но мало-по-малу «феодальный хаос» стал невыносимым для самих феодалов. Мир «отдельных личностей» начинает складываться, смыкаться в новое целое, но уже совершенно не похожее на семью—образуется централизованное *государство.*

Это *третий* и, для Гегеля, последний период развития. Государственная власть организует хаос «гражданского общества», делит последнее на сословия, прикрепляя каждого к определенному занятию и т. д. Из хаоса возникает дисциплинированное целое, где личность теряет свою свободу, как личность, приобретая ее вновь, как часть государственного коллектива. Из этого следовало, что конечной целью развития государства должна быть *буржуазная демократия,* потому что в самодержавной монархии личность не только власти, но даже прав не имеет. Но до этого логического вывода изо всей теории не смел договариваться даже Гегель, не говоря о его русских подражателях.

Что «государственный порядок» буржуазии покрывает собой настоящий хаос капиталистической конкуренции, что этот «порядок» стал попросту диктатурой буржуазного меньшинства над

массой крестьян и рабочих, этого тоже «не замечали», как не замечали сельской общины под покрышкой феодализма. Буржуазия видела в истории только то, что ей было выгодно видеть,— на свои отрицательные стороны она не желала обращать внимания.

Первым, кто применил новую точку зрения к русской истории, был не русский, а немецкий профессор, один из тех ученых немцев, которые уже с XVIII века занимались изучением русского прошлого. Их целый ряд—Байер, Миллер, Шлецер, Рейц, Эверс; последний и выпустил в 1826 году книжку под заглавием „Древнейшее право Руссов", где доказывал, что древнее русское право всегда легче понять, если мы примем, что русские жили тогда (в X—XI в.в.) в «родовом быте»,— что все отношения у них строились по типу *семьи*; одним словом, что русские находились тогда в первом периоде развития по гегелевской схеме [1]). Любопытно, что наши буржуазные историки не очень любят вспоминать Эверса, хотя книжку его всякий из них, конечно, знает: но они предпочитают начинать с русских имен Соловьева и Кавелина, хотя, несомненно, что эти ученые были, по существу дела, учениками Эверса. Буржуазному ученому както неловко признаваться, что он учился своей истории у иностранцев, из книжи, писанной на чужом языке. Примеры такого буржуазного национализма мы уже видели (см. стр. 20). Когда пользуешься буржуазной исторической литературой, нужно принимать во внимание и эту слабость почтенных буржуа.

Популярность среди русской учащейся молодежи «теория родового быта» получила, конечно, от двух названных русских ученых, книжку Эверса знали и читали только специалисты. С. М. Соловьев (род. в 1816 г., ум. в 1879 г.) был для этого периода тем же, чем Карамзин был для предшествующего. Он написал «Историю России с древнейших времен», в 29 томах, доведя свое изложение до царствования Екатерины II (Карамзин остановился на Смутном времени). Фактический материал, собранный в этом труде, особенно в последних его томах, еще ценнее, чем примечания к истории Карамзина: Соловьев здесь использовал множество архивных документов, отчасти неопубликованных до сих пор. В Московском архиве иностранных дел (теперь Государственный архив Р. С. Ф. С. Р.) до сих пор можно видеть столик, за которым Соловьев работал, изо дня в день, четверть столетия. Все это время Соловьев был, кроме того, профессором Московского университета (Карамзин профессором не был,—он был богатый помещик и управлял своими имениями) и создал целую школу последователей, самым замечательным из которых был В. О. Ключевский (о нем мы еще будем говорить ниже). Это был, таким образом, самый влиятельный русский историк второй половины XIX столетия.

---

[1]) Схема греч. слово—план, краткое изображение чего-нибудь.

Что касается изложения «Истории России», то последние, самые ценные, томы представляют собою просто пересказ архивных материалов. Основная идея Соловьева развивается в первых томах — до царствования Петра I включительно: нет необходимости говорить, что для Соловьева русская история распадается на «царствования». Эта основная идея — переход России от «родового быта» к «государственному»: промежуточный период «гражданского общества» у него стушевывается. Древние русские князья владели, по Соловьеву, русской землей всем родом: княжескому престолонаследию, с этой точки зрения, Соловьев посвятил особое исследование, доказывая в нем, что все переходы княжеских «столов» от одного князя к другому объясняются родовыми обычаями. А при московских царях стало развиваться «государственное начало»: воплощением его был и Иван Грозный, борьба которого с боярством была борьбой государства с остатками родового быта, а в особенности Петр Великий. Петру Соловьев посвятил целый ряд томов своей истории, рисуя этого царя со всех сторон, как олицетворение *внеклассовой государственности*.

О том, что развитие этой государственности определялось развитием хозяйства, нет и помину. Любопытно, что в отдельных случаях Соловьев обнаруживал правильное понимание влияния экономических условий: он, например, первый указал, какое значение имела Москва, как торговый пункт, для возвышения московского княжества. Но предвзятая мысль, будто историческое развитие есть развитие правовых понятий, развитие законов, а не реальных вещей, которым эти законы служили только отражением,—эта предвзятая мысль мешала Соловьеву видеть действительную историю. *Взгляды Соловьева были взглядами историка-идеалиста, который смотрит на исторический процесс сверху, со стороны командующих классов, а не снизу, от классов угнетенных.*

Но мы видели, что и самые понятия класса, классовой борьбы чужды Соловьеву. Буржуазии невыгодно напоминать, что у нее свои интересы, отличные от интересов народной массы: напоминание об этой борьбе всего больше дразнит буржуазию. Когда появились историки-марксисты, буржуазные профессора яростнее всего напали не на их материализм, а на их утверждение, что классовая борьба есть главный двигатель исторического процесса. В доме повешенного не говорят о веревке, тем более буржуазия не любила, чтобы при ней говорили о веревке, на которой ее, буржуазию, повесят.

И совершенно естественно, что та же буржуазия очень любила подчеркивать то, что ей казалось выражением классовой солидарности. А ей казалось, что эта солидарность различных классов проявляется в борьбе с внешним врагом. Для этой борьбы будто бы объединяются все классы. Это, пожалуй, и правда, что помещик живет трудами крестьян: зато, когда придет татарин, тот

же помещик выступит в поход и будет грудью защищать того же крестьянина. Что помещик защищал не столько крестьянина, сколько свое право эксплоатировать этого крестьянина (а с крестьянином, восставшим против эксплоатации, с самим обращались, как с татарином), что и защита-то велась крестьянскими же руками, а помещики играли роль командиров,—всего этого буржуазия опять-таки старалась не видеть.

И вот развертывается грандиозная картина, как «борьба со степью» создала, выковала русское государство. Степняки, как хищные звери, нападали на Русь: чтобы спастись от этих набегов, все государство было построено по военному: половина, служилые люди (помещики) должны были жить в постоянной готовности для боя; другая половина, тяглые люди (купцы, ремесленники и крестьяне) должны были содержать первую. Все были *прикреплены* к своему занятию: помещик не смел отказаться от службы, а его крестьянин от барщины, оброка и от податей. Так государство, во имя общего интереса, *закрепостило* себе общество: только, когда борьба со степью кончилась победой русского государства, началось раскрепощение: сначала в XVIII веке была снята повинность с дворян, потом в XIX пало крепостное право и для крестьянства.

Эта схема русской истории господствует в буржуазной литературе до сих пор—во всех курсах, до Милюкова, Любавского, Кизеветтера и т. д. вы найдете все те же «закрепощение» и «раскрепощение». Иначе, как от этой печки, танцовать буржуазые профессора не умеют. Сложилась эта схема, главным, образом, в школе Соловьева, сам он так отчетливо не ставил еще вопроса, какие же *внешние, объективные* причины двигали вперед развитие «государственности». Переход к этой схеме, сделанный главным образом, петербургским профессором государственного права Градовским (1841—1889) и московским историком Ключевским (1841—1911), а впереди их крупнейшим русским гегельянцем Чичериным (1828—1904) был, таким образом, крупной, хотя и совершенно бессознательной, уступкой историческому материализму. Этот шаг навстречу марксизму до того соблазнил покойного Г. В. Плеханова, что тот во введении к своей «Истории русской общественной мысли» почти целиком присоединился к схеме Чичерина—Градовского—Ключевского. Эта соблазнительность полуустyпки и заставляет присмотреться к ней особенно внимательно.

В этой грандиозной картине имеется один недостаток: она совершенно не соответствует исторической действительности. Наибольшее напряжение борьбы со степью приходиться на XI—XIII века, когда в конце-концов Русь и была завоевана степняками-татарами, но как раз тогда не образовалось единого государства, князья постоянно дрались друг с другом и никакого запрещения не было, помещики свободно переходили от одного князя к другому, а крестьяне от одного помещика к другому. А в XVI—XVII веках, когда возникло и московское государство и крепостное

право, татары уже настолько ослабели, что и мечтать не могли о завоевании Руси, а могли только ее грабить. И хотя быть ограбленным дело, конечно, неприятное, но кто же поверит, чтобы целая страна сама себя закрепостила исключительно для борьбы с грабителями? Будто не было никаких других средств с ними справиться?

Присматриваясь к господствующей в буржуазной литературе схеме русской истории еще ближе, мы видим, что даже, если принять за основную пружину всего процесса борьбу с татарами, концы с концами не сойдутся. Дело в том, что «закрепощение» дворянства,—если называть таким именем обязательную военную службу, лежавшую в феодальном мире на всех «вассалах» (см. стр. 29—30) не только в России, но и во Франции, в Англии и т. д.,—падает на XV—XVI века, а закрепощение (уже настоящее, без обиняков) крестьянства на XVII—XVIII. Если в первом из этих двух периодов татары были еще довольно грозной силой, хотя чаще и успешнее русские на них наступали (завоевание Казани и Астрахани при Грозном), чем они на Русь, то во втором периоде нельзя отметить ни одного сколько-нибудь крупного татарского набега. Войны, которые велись в это время с Польшей или Швецией, были в сто раз серьезнее. При чем же тут «борьба со степью»?

Наконец, если мы вспомним, что всего ближе к степи сидели как раз наиболее свободные поселения московского государства, сидели казачьи станицы, где не было крепостного права и откуда волны демократической революции докатывались иногда до самой Москвы, а военная служба дворянства и крепостное хозяйство двигались с северо-запада, из новгородской земли (где еще в XV в. была расквартирована целая армия московских помещиков и где тогда же намечались первые примеры крестьянской крепости), т.-е. из того угла России, который всего дальше от степи, мы поймем всю искусственность «общепринятой» схемы.

Немудрено, что эта последняя начала разлагаться уже в руках самого талантливого ее распространителя—Ключевского. Продолжая на своих лекциях придерживаться теории «закрепощения» и «раскрепощения», в своих исследованиях происхождения крепостного права Ключевский блестяще доказал, что крепостное право вовсе не было установлено сверху, государством, а возникло из ежедневной будничной борьбы между собою крестьянина и помещика; в течение многих десятилетий. Марксистам оставалось только подвести под эту юридическую теорию (Ключевский по привычке изучал крепостное *право* как таковое) экономический фундамент.

Зачем же, спрашивается, нужно было целым поколениям буржуазных историков придерживаться теории, которая была в полном разладе с фактами и развалилась, как карточный домик, при первой попытке серьезно исследовать эти факты? Потому, что им нужно было доказать, что государство в России не было созданием

господствующих классов и орудием угнетения всей остальной народной массы, а представляло собою общие интересы всего народа, без различия классов. В основе «научной» теории лежала, таким образом, практическая потребность буржуазии. *Университетская наука была* для этой последней *одним из способов господства над массами.*

Вполне естественно, что ученые, не стоявшие на точке зрения крупной буржуазии, пытались совершенно по иному объяснить ход русского исторического развития. Для одних из этих ученых государство было чуждой, враждебной силой, «насевшей» на русский народ, настоящей, исконной формой объединения которого было не государство, а сельская община. Эту теорию развивали, главным образом, в 1840—1850 годах так называемые *славянофилы* (см. стр. 133 и сл.). Возникновение славянофильского учения объясняется той экономической обстановкой, в которой находилось помещичье хозяйство в первую половину царствования Николая I. Тогда на хлебном рынке был кризис, хлебные цены пали очень низко: аграрный, сельско-хозяйственный капитализм не развивался, помещики более, чем когда-либо, были консерваторами. Правительство же покровительствовало промышленному капиталу (см. стр. 85). Дворянин был зол на правительство и искал утешения в далеком прошлом, когда никаким промышленным капиталом и не пахло. В этом далеком прошлом наиболее интеллигентные из таких помещиков и нашли—опять-таки не без помощи ученого немца (см. стр. 133)—залог светлого будущего России, общину. Какие это надежды у них возбуждало, мы уже видели (см. там же). Здесь для нас интересно их отношение к только что возникавшей тогда «государственной» теории. Славянофилы оказались очень зоркими по отношению к слабым сторонам этой последней. Они извлекли из тьмы прошлого на свет ряд явлений, которые «государственному» объяснению никак не поддавались,—начиная с самой общины и продолжая так наз. «земскими соборами» в XVI—XVII веках (собрания представителей от помещиков и городской буржуазии, первое было в 1566 г., последнее в 1682), местным самоуправлением тех же времен и т. д. Чтобы объяснить такие явления, «государственникам» приходилось пускать в ход самые невероятные предположения—изобретать, например, земский собор, как особую форму круговой поруки (Чичерин, а за ним Ключевский). Но тут они натыкались на целый ряд параллельных явлений западно-европейской истории, где ясно дело шло совсем не о круговой поруке.

На их счастье, как раз параллели с Западом и были самой слабой стороной «славянофилов»; те как раз утверждали, что русский исторический процесс ни на что не похож—совсем своеобразный. С этим у них выпадали из рук самые сильные доводы против «западников»,—как назывались тогда сторонники «государственной» теории, ибо «западников» можно было бить всего чувствительнее именно примерами из западно-европейской истории

(между прочим, древность общинного землевладения в западноевропейской истории никогда не подвергалась серьезному спору). Естественно, что вся молодежь с здоровыми научными и общественными вкусами тяготела к противникам славянофилов: от последних для этой молодежи всегда припахивало реакцией.

Спор решили, в конце-концов, не доводы той или другой стороны,—решила его сама история. Прошел кризис хлебных цен, стало у нас вновь развиваться сельско-хозяйственное предпринимательство,—и помещики перестали быть консерваторами, объединившись на одной платформе: ликвидации барщины и создания батрацкого хозяйства (это, как мы знаем, называлось «освобождением крестьян»). В реформе 1861 года «западники» и «славянофилы» работали рука об руку, а десять, пятнадцать лет спустя эпигоны (последыши) славянофильства стали такими защитниками «государственности», что куда до них было Соловьеву и Чичерину.

Наиболее самостоятельными славянофильскими историками были Константин Аксаков (1817—1860 г.г.) и Юрий Самарин (1819—1876 г.г.), оба помещики. В университетах, как мы уже сказали, славянофилы почти не нашли последователей: одним из исключений был профессор Московского университета Беляев: его «Курс истории русского права» может и теперь попасться под руку читателю, а лет 25 назад по нем учились. Таких блестящих представителей, какими для «западнической» теории были Чичерин, Градовский и Ключевский, у славянофилов никогда не было. Зато, хоть одного, но очень крупного, представителя выдвинуло явившееся на смену славянофильству, в качестве противника «государственников», *мелкобуржуазное* течение. Этим представителем был Аф. Пр. Щапов (1830—1876 г.г.).

Щапов только очень короткое время, в молодости, был на университетской кафедре (в Казани): первое же его публичное выступление стоило ему этой кафедры, и возможности когда бы то ни было занимать какую бы то ни было кафедру, стоило всей его карьеры, как ученого. Очень уж он тогда откровенно высказался о той манере, с какой «царь-освободитель» благодетельствовал своим верным крестьянам. Короткое время продержавшись затем на полулегальном положении «неблагонадежного» журналиста, он быстро попал туда, куда попадали при царях все подобные люди—в ссылку, в Сибирь, и там написал бо́льшую часть крупнейших своих работ. Написал по случайно нашедшимся у него под руками книжкам да по тем выпискам, какие сохранились у него от тех времен, когда он мог работать в архивах и библиотеках. Если славянофилы мало имели успеха в университетах, то Щапов для последних, можно сказать, совсем не существовал. Ни в одном университетском курсе, до «Очерков по истории русской культуры» Милюкова (вышедших, когда Милюков был еще буржуазным демократом), вы не найдете ссылок на Щапова: Милюков был первым, решившимся его

процитировать. И понадобилась первая русская революция, 1905—1907 г.г., чтобы Щапов дожил до полного собрания сочинений; дожил, только, как ученый, разумеется: физически он умер за 30 лет до этой революции.

Писания Щапова, с научной точки зрения, очень устарели—гораздо больше, чем писания Ключевского, например. И тем не менее каким свежим воздухом веет на вас, когда вы возьмете том щаповского «полного собрания»! Щапов — последовательный и убежденный материалист. Не в духе Маркса и Энгельса,—как все наши «шестидесятники» (люди 60 годов XIX века), этих авторов он почти, или совсем не знал (их почти не знал и во много раз более образованный Чернышевский). Его материализм сродни скорее материализму французских «энциклопедистов» XVIII в. Основная мысль Щапова, это—что *человек есть часть природы*, неразрывно связанная с окружающей материальной средой. Никакого таинственного влияния сил, создавших «родовой быт», «гражданское общество», «государство», мы у него не найдем: *историю создают материальные потребности человека*. И Щапов рассказывает подробно и обстоятельно, как погоня за пушным зверем привела русского охотника, шаг за шагом, к завоеванию всей Сибири; как климат положил границы русскому земледелию и тем очертил район древнейших поселений русского племени. Вместо князей и царей с их войнами и законами вы находите таблицы средних температур—средней теплоты лета, среднего холода зимы; расчеты количества калорий (тепловых единиц), какое нужно, чтобы вызрел ячмень, или чтобы могла расти картошка. Все это тоже, разумеется, устарело за пятьдесят лет: теперь есть более точные и свежие исследования по этой части—полагаться на данные Щапова теперь уже нельзя. Но на какую новую и несравненно более торную дорогу вывел бы русскую историческую науку этот человек, если бы он занимал кафедру в Москве или в Петербурге, вместо того, чтобы гнить в сибирской тайге.

И материализм Щапова, как мы уже сказали, довольно старомодный,—он еще не вполне уяснил себе, что природа действует на историю человека только *через хозяйство*. И ему кажется, например, что характер русского народа, его психологический склад (который он изображает довольно верно, забывая только прибавить, что это—характер, собственно, не «народа», а мелкобуржуазной интеллигенции, к которой принадлежал и сам Щапов, сын сельского дьячка) можно, прямо и непосредственно, вывести из *климата*. В этом коренное различие между Щаповым и марксистами: для последних *общественное* бытие определяет сознание человека, для Щапова—просто *бытие*. И тем не менее, родство между ним и нами так велико, что в отдельных своих мыслях он прямо поднимается до положения предшественника исторического материализма. Так, сравнивая существовавшие в

его время основные течения русской исторической литературы Щапов говорит.

«Все юридические теории, без теории строго-реальной и экономической, почти ничего не знают, не имеют основы и почвы для своего осуществления и не могут вести общество прямо к главнейшей его цели—экономическому и умственному развитию и совершенствованию». И, разобрав знакомую нам государственную теорию, Щапов решительно предпочитает ей «экономическую», как называет он учение Чернышевского. В подкрепление последнему он приводит слова знаменитого в те времена немецкого химика Либиха, который, как многие естествоиспытатели, в силу своей префессии был свободнее от идеалистических предрассудков, нежели люди, занимавшиеся общественными науками. «Государственное устройство,—говорил Либих,—социальные и семейные связи, ремесла, промышленность, искусство и наука, одним словом, все, чем в настоящее время отличается человек, обусловливается фактом, что для поддержания своего существования человек нуждается ежедневно в пищи, что он имеет желудок и подчинен закону природы, по которому должен необходимую для него пищу произвести из земли своими трудами и искусством, потому что природа сама собою не дает ему или дает в недостаточном количестве необходимых питательных веществ. Очевидно, что каждое обстоятельство, каким-нибудь образом действующее на этот закон, усиливая или ослабляя его, должно обратно иметь влияние на события человеческой жизни».

Сколько нужно было употребить усилий, чтобы такие простые и ясные вещи сделать спорными! Но не следует думать, что борьба доставалась разным «государственным теориям» только силою словесного звона. Полезно припомнить, что Щапов писал эту, цитируемую нами, статью уже в Сибири, где основатель «экономической теории», Чернышевский, гнил в это время на каторге: тогда как глава «государственной теории», Соловьев, читал лекции наследнику царского престола. Старая власть умела поощрить тех, чьи теории были ей приятны и полезны, и железною рукою сдавить горло тем, кто осмеливался говорить ей «неприятности».

Из других, кроме Щапова, представителей мелкобуржуазного течения в русской исторической литературе приходится упомянуть только о Н. И. Костомарове (1817—1885). Гораздо более известный интеллигентской публике, чем Щапов, Костомаров обязан этим отчасти своему крупному литературному таланту, отчасти именно тому, что у него не было таких острых углов, не было такой неумолимой материалистической последовательности, как у Щапова. Недаром и жизнь его прошла иначе. Испытав в молодости—при Николае I—ссылку (не тяжелую), Костомаров позже был проффессором Петербургского университета и, хотя не удержался на кафедре, остался все же в рядах писателей вполне легальных, уважаемых даже и буржуазным читателем,—он

писал в таких «почтенных» органах, как «Вестник Европы» и т. под. Главная его заслуга—внимание к народным массам, совсем скрывавшемся в тени величественной «государственности» у более академических историков. Благодаря этому, с жизнью вечевых республик древней Руси, со смутным временем, восстанием Разина и т. под. русская молодежь знакомилась, главным образом, по писаниям Костомарова. И по ним же, и тут уже исключительно знакомилась она с историей Украины, который «государственники» не умели вместить в свою схему русской истории. Научная цена всех этих писаний невелика, общие исторические взгляды Костомарова отмечены тем же расплывчатым идеализмом, как вообще все миросозерцание интеллигенции, для которой одно время он был едва ли не самым любимым историком. Но написаны они хорошо, читаются легко, основаны на большом фактическом материале, недоступном рядовому читателю, не историку — оттого, особенно книги по истории Новгорода и Пскова («Северно-русские народоправства») и Украины, могут быть полезны до сих пор.

«Западниками», «славянофилами» и мелкобуржуазными народниками типа Щапова или Костомарова исчерпывается все, что было оригинального в русской исторической литературе до марксистов. Крупнейшим из ближайшего к нам поколения историков—Ключевский, ученик Соловьева, в общем верный «государственной» теории, с теми поправками (или непоследовательностями), о которых мы уже упоминали. А историки следующего поколения—Милюков, Платонов, Любавский, Мякотин, Кизеветтер, принадлежат, с большими или меньшими отступлениями, к «школе Ключевского». Отступления у первых двух—самых крупных—сводятся: у Милюкова, как мы уже упоминали, к легкому (и быстро исчезающему) привкусу щаповского, домарксистского материализма; у Платонова—к некоторому налету уже почти марксистскому (интерес к социальным отношениям, некоторое, хотя не весьма глубокое, понимание классовой борьбы и тому под.) [1]. Для нас все их книги являются, главным образом, собранием материала, у Платонова, например, очень ценного.

Таким же ценным собранием материала, не более, являются работы и последнего крупного историка народнического направления—В. И. Семевского (1848—1915).

Их исключительная ценность состоит в том, что Семеновский с особенной любовью занимался вопросами, бойкотировавшимися казенными историками (сам он, не стоит и прибавлять, удержался на университетской кафедре очень недолго). Лучшие книги Семевского посвящены революционному движению—декабристам, петрашевцам, а его большая, очень важная и до сих пор работа о русском крестьянстве при Екатерине II была собственно обширным

---

[1]) В последних своих писаниях (после Октябрьской революции) Платонов тщательно старается счистить с себя этот налет.

введением к истории пугачевского бунта, которую Семевскому так и не удалось написать. Без этих книг, как справочников и первого пособия, чтобы разобраться в материале, не обойдется пока не только ни один марксист-читатель, но и ни один марксист-историк.

Но это—только справочники. Читать их тяжко, ибо Семевский далеко не обладал литературным дарованием Костомарова. Общее же его миросозерцание гораздо элементарнее, чем даже у последнего. Семевский, в сущности, все исторические движения делил на симпатичные и антипатичные; ни тени понимания классовой подкладки этих движений у него нет, и он очень даже обиделся, когда историки-марксисты приурочили, например, декабристов к определенному классу. Вера во внеклассовый характер русского «освободительного движения»—один из основных догматов Семевского: теоретическое значение его трудов можно оценить по одному этому. Но его искренний, хотя и очень элементарный, упрощенный демократизм выгодно отличает его от буржуазных подделывателей истории. Семевский многого не понимал, но что он понимал, он передавал верно и добросовестно, чего никак нельзя сказать о новейших представителях буржуазной исторической литературы, охотно проходивших мимо и исторических движений, и исторических книжек, если те или другие били в лицо буржуазию. Семевский, например, будучи определенным антимарксистом, никогда не замалчивал марксистской литературы, чем усиленно занимались кадетские историки, особенно в последнее десятилетие перед революцией.

На этом мы останавливаем наш очерк развития русской исторической литературы *до* марксистов. Затем следовало бы сказать несколько слов об этих последних: исторический материализм в России уже имеет свою историю. Но это удобнее сделать, когда читатель получить представление о нашем «легальном марксизме» 1890 годов—другими словами, целесообразнее присоединить обзор марксистской исторической литературы в России к 3 части настоящей «Русской истории в сжатом очерке».

Прилагаем список важнейших сочинений по русской истории, о которых упоминалось выше.

Карамзин — «История Государства Российского» — лучшее издание Эйнерлинга 1843 года, в 3 больших томах, со всеми примечаниями.

Соловьев—«История России с древнейших времен»—лучшее издание «Общественной Пользы» 1890 годов (было повторено) в 6 томах в 2 столбца. Так же «Общественной Пользой» издано и «Собрание сочинений» Соловьева, где собрано главнейшее, написанное им, кроме «Истории России» (к сожалению, не все—нет главнейшей его научной работы «История отношений между князьями Рюрикова дома», где теория Соловьева изложена гораздо отчетливее, нежели в «Истории»).

Чичерин — важнее всего из очень многого, написанного этим автором, для русской истории «Опыты по истории русского права», М. 1861.

Градовский—«История местного управления в России» часть I. «Уезд Московского Государства», особенно важно введение. Перепечатано в собрании сочинений Градовского.

Ключевский — «Боярская Дума древней Руси», «Исследования и статьи» и «Курс русской истории», то и другое перепечатано нашим Государственным Издательством.

Щапов — «Полное собрание сочинений», в 3 томах, изд. Пирожкова, Петербург 1906—1907. Важнейшие статьи: «Естествознание и народная экономия» и «Историко-географические условия расселения русского племени»—во 2 томе.

Костомаров — «Севернорусские народоправства в эпоху удельно-вечевого уклада», «Смутное время Московского государства», «Богдан Хмельницкий», «Разин» и др. работы по истории Украйны, «Бунт Стеньки Разина» и т. д.,—все перепечатано в «Монографиях и исследованиях».

Семевский — «Политические и общественные идеи декабристов». Спб. 1909. «Крестьяне при Екатерине II», 2 тома, новое издание. 1901—1903. «Петрашевцы»—ряд статей в журнале «Голос Минувшего» 1913—1915 (и отдельно небольшая брошюра, 1905).

СИНХРОНИСТИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ.

Столетия [1]) и годы.	Главные события всемирной истории.	Территория, занятая русским племенем.
IV век по Р. Х	*Западная* римская империя (со столицей в Риме) начинает разлагаться; ее провинции занимаются понемногу „варварами" (германцами — предками теперешних немцев, голландцев, англичан, швейцарцев и т. д.). На первое место начинает выдвигаться *восточная* римская империя, со столицей в Константинополе (Византии), на греческой основе.	Первые упоминания об *антах* (славянах) между низовьями Дуная и Доном.
V—VII века.	Расцвет Восточной империи, которая при Юстиниане (527—565) завладевает почти всем бассейном Средиземного моря; на основе рабского и крепостного труда возникает яркая и блестящая *византийская* (греческая) *культура*.	„Бесчисленное множество" *антов* у Азовского моря.
VIII–IX века.	В Западной Европе вновь образуется „Западная империя" из разрозненных ранее германских племен; в нынешней Персии и Азиатской Турции образуется огромная империя арабов (халифат), которая начинает теснить Византийскую империю.	Кочевники оттесняют понемногу славян от Черного и Азовского морей, но славяне распространяются севернее, в бассейне р. Днепра (до верховьев Волги и Оки к северо-востоку).
X век.	Византия в борьбе с арабами начинает искать помощи между прочим и у русских славян; с ними завязываются тесные сношения; византийские миссионеры стараются подчинить их влиянию византийской культуры, сталкиваясь при этом с пропагандой западных миссионеров, из Рима и Западной империи. Славяне принимают азбуку *греческого* образца, чем технически обеспечивается перевес Византии.	Славяне, организуемые норманнами, начинают вести успешную борьбу с кочевниками, вновь пробиваясь к берегам Черного и Азовского морей. С другой стороны, славянская колонизация спускается вниз по Оке и верхней Волге Ростов, Муром, Суздаль), оттесняя *финские* племена и пробиваясь к странам *арабской* культуры (волжские болгары).
XI век.	Западная империя распадается на ряд мелких государств, слабо объединяющихся в группы по *национальному* признаку (королевства: французское, английское, германское и т. д.). Развитие торговых сношений	Славяне все более плотно заселяют междуречье Оки и Волги, где возникает целый ряд новых городов (Владимир и пр.) и княжеств. Движение на юг при-

[1]) Столетия обозначаются *римскими* цифрами I (1), II (2), IV (4), V (5), VI (6), IX (9), X (10).

Главные события внешней истории.	Главные события внутренней истории.
Набеги „антов“ на Восточную империю.	Ничего не известно.
Набеги славян на империю Юстиниана; византийское правительство устраивает против них оборонительную линию по Дунаю.	Рассказы византийских писателей о славянах, как дикарях; бродячее земледелие и лесные промыслы; живут *родами*, т.-е. большими семьями.
Появление на русской равнине *варягов* (норманнов), в качестве разбойников, поставлявших на восточные, византийские и арабские рынки живой товар — невольников, а также предметы роскоши, меха. 862 год условно долго считался годом „основания русского государства“.	Славянские роды смыкаются в племена (славяне, кривичи, дреговичи, древляне, поляне, дулебы и бужане или волыняне, тиверцы и уличи, радимичи, вятичи, северяне, с *князьями* во главе. Племенные *веча*.
Образование варяжских княжеств, смыкающихся — не очень тесно — в большую варяжскую державу, с центром в Киеве. Оживленные дружеские и враждебные соприкосновения киевских князей с Византией. Первые *исторические* князья, известные нам по именам (Олег, Игорь, Святослав, Владимир). Первые *исторические события* русской истории, годы которых нам известны (набег Олега на Константинополь 907 г., первый договор Киевской державы с Византией 911 г. и т. д.	Племенной быт переходит в *городской*; туземные славянские князья сменяются норманнами, которые правят не из старых племенных центров, а из своих стоянок по речному пути „из Варяг в Греки“, превращающихся мало-помалу, в города (Киев, Чернигов, Переяславль, Любеч, Смоленск, Полоцк, Новгород). Над сельским населением вырастает городская рабовладельческая аристократия (бояре и старцы градские), стремящаяся резко отделиться от массы „смердов“ и усваивающая себе, вслед за князьями, византийскую культуру (так называемое „крещение Руси“ при Владимире, в 987—989 годах, с внешней стороны, как результат формального *союза* Византийской империи и киевского князя). Первая запись судебных обычаев (древнейшая редакция „Русской Правды“).
Первая половина века отмечена окончательным разгромом старого кочевого населения южно-русских степей (*печенегов* киевским князем Ярославом, в 1034 г.). Вторая—появлением	Образование в городах многочисленного торгово-ремесленного населения, которое эксплоатируется ростовщическим капиталом в лице городской аристократии. Начало классовой борьбы. Первая киевская революция 1068 го-

14*

Столетия и годы.	Главные события всемирной истории.	Территория, занятая русским племенем.
	и образование *торговых центров* (ранее всего в Италии, потом в западной Германии, Франции и т. д.). Под влиянием торговой буржуазии и главного центра первоначального накопления той эпохи, папского Рима (церковной столицы всего Запада), набеги западных норманнов на Византийскую империю превращаются в *крестовые походы* (Клермонский собор в 1095 г.), на словах—для „освобождения гроба Господня“, на деле—для захвата в руки итальянцев, французов и западных немцев торговли с Востоком, ранее бывшей в руках греков и арабов	остановлено новой волной кочевников (половцы).
II век.	Византийская империя разлагается, все более и более оттесняемая на второй план „крестоносцами“, т.-е. западно-европейским торговым капиталом. Передвижка мировых торговых путей из Восточной Европы в Западную (путь Константинополь—Западная Европа через Днепр сменяется путем Средиземное море — альпийские проходы — Рейн).	Продолжающаяся колонизация северо-восточной (суздальской) Руси, где окончательно складывается *третий* славянский центр на русской равнине, равносильный двум более старым,—киевскому (то, что в то время именно и называлось „Русью“) и новгородскому. Первое упоминание о Москве (1147 г.). Образование в Москве узлового пункта одного из новых княжеств (постройка московского кремля, 1156 г.). Продолжение колонизации на восток: в 1181 г. новгородцы основывают Хлынов (Вятку).

Главные события внешней истории.	Главные события внутренней истории
новой, гораздо более сильной, орды кочевников, *половцев*, в свою очередь разгромивших сыновей Ярослава (1068 г.). Конец века наполнен борьбою с половцами.	да. Сборники судебных обычаев—„Русская Правда"—второй и дальн. редакций, отражающая уже следы классовой борьбы.
Продолжение борьбы с половцами, все менее и менее удачной, по мере постепенного развала киевской державы, под влиянием противоположных интересов различных городов, что выражается рядом междугородских войн (так называемой „усобицы князей"). Старый центр, Киев, опустошив все вокруг себя, падает жертвою нового северо-восточного центра, Владимира (разгром Киева войсками суздальско-владимирского князя Андрея Боголюбского в 1169 г.).	Расцвет городской демократии на юго-западе и начало демократического движения на севере и северо-востоке. Вторая киевская революция (1113 г.). Ограничение произвола ростовщического капитала; князь Владимир Мономах; „Мономахова Правда". Духовенство пытается спасти княжескую власть, идеализируя ее (легенда о призвании князей). Но это не мешает тому, что *киевское вече становится рядом с князем* (1146—1147). Революция на северо-востоке: убийство Андрея Боголюбского и двукратное восстание Владимира против княжеской власти (1175 и 1177). Зарождение новгородской демократии (1126—первый выборный посадник). Расцвет дружинной поэзии и церковно-публицистической литературы („Слово о полку Игореве" и летописные своды).

Столетия и годы.	Главные события всемирной истории.	Территория, занятая русским племенем.
XIII век	В начале столетия во главе стоит еще старое гнездо торгового капитала—Италия. Папа Иннокентий III (1198—1216) организует 4-й крестовый поход, во время которого французские рыцари, руководимые итальянскими (венецианскими) купцами, берут и грабят Константинополь (1204). Византийская империя фактически перестает существовать с этого времени. Одновременно в южной Италии возникает первое *национальное государство* торгового капитала (Неаполитанское королевство Фридриха II Гогенштауфена, около 1230—1250 г.г.). Но очень быстро торговый капитал создает и другие национальные объединения, раньше всего во Франции (крестовый поход короля Людовика „Святого", 1249). К XIV веку всюду, на основе торгового капитала, начинает складываться *централизованная бюрократическая монархия.* (Кроме Англии—„хартия вольностей" 1215, первый парламент 1265.) Церковное ростовщичество начинает вызывать отпор народных масс, особенно более развитых горожан,—отпор, облеченный также в религиозную форму: учения, что церковь „не настоящая" (так называемые „средневековые ереси", катары или „альбигойцы", патарены, тиссераны (ткачи). Церковь душит „еретиков" с зверской жестокостью („крестовые походы на альбигойцев" 1209—1229; *инквизиция*).	Земли вокруг Киева („Русь" в собственном смысле слова) все более пустеют, и после татарского нашествия (см. соседний столбец справа) совсем выходят из русской истории до XV столетия. На сцене остаются северо-западный и северо-восточный центры (Новгород и Суздальская земля, где руководящие городские центры меняются — сначала Владимир, затем Тверь, наконец, Москва). Новгородцы, в погоне за мехами и серебром, все дальше углубляются на восток, в *Заволочье* (страну по ту сторону „волока" — водораздела между бассейном Сев. Двины—с одной стороны, бассейном волжским и Балтийского моря—с другой). Заволочье, это нынешние Архангельская, Северо-двинская, отчасти Вятская и Пермская губернии)

Главные события внешней истории.

Падение Византии окончательно обессмысливает торговый путь „из Варяг в Греки“ и уничтожает последнюю спайку былой Киевской державы. Русь дробится все более и более („удельный период“). И раньше, плохо выдерживая борьбу с половцами, отдельные княжества оказываются совершенно бессильны объединиться для борьбы с новой и еще более страшной степной ордой—*татарами* (битва на Калке 1224, нашествие Батыя 1237—1240). Юго-западная Русь была опустошена более всего и окончательно добита; северо-западная отделалась признанием власти хана и уплатой дани (татарское „число“ в Новгороде 1259). Северо-восточная, сильно опустошенная, была подчинена татарами фактически, сделавшись предметом эксплоатации восточного, „ордынского“ капитала, что клало зерно ее будущего объединения под властью главного ханского приказчика, каким стал, в следующем столетии, князь московский.

С этого времени направление внешней политики северо-западного и северо-восточного центров резко разделяется: Новгород наступает на северо-востоке и отбивается на Западе (разгром шведских „крестоносцев“ на Неве 1240 и немецких на Чудском озере 1242), Москва смотрит на юг и юго-восток.

Главные события внутренней истории.

Однообразное развитие русского города в сторону демократии, наблюдавшееся нами в предшествующем столетии, дробится: юго-западные вечевые города исчезают, в северо-восточной Руси, после ряда неудачных восстаний (в Ростове, Владимире, Суздале и Ярославле, в 1262 и 1289 г.г.), князья, при помощи татар, решительно берут верх над вечем, но, не опираясь более на городскую силу, вынуждены поделиться властью с крупным землевладением: северо-восточная Русь, начиная с XIII века, окончательно *феодализируется*, уподобляясь Зап. Европе X—XI в.в. В Новгороде, наоборот, демократическое развитие продолжается беспрепятственно (1209—новгородская революция, аналогичная киевской 1113 г., 1218—выборные городской общины становятся несменяемыми для князя, 1265 — первая писаная новгородская конституция, грамота, по которой присягал князь Ярослав Ярославич, брат Невского). Попытка Александра Невского (1236—1263), пользуясь затруднительным положением Новгорода в борьбе с западными „крестоносцами“ и опираясь на татарскую помощь провести и здесь суздальские порядки, успеха не имела. Новгород становится фактически *вечевой республикой*: князь опускается до положения наемного главнокомандующего.

Ближайшие соседи русского племени.

Шведы завоевывают Финляндию (осно)вание Выборга 1293 и подходят вплотную к новгородской земле. На восточных берегах Балтийского моря развивается немецкая колонизация (орден „меченосцев“; основание Риги 1201). Пользуясь ослаблением южной Руси, Литва, которая раньше была предметом русских набегов, начинает, отчасти из обломков южной Руси, образовывать самостоятельное государство (князь Миндовг ум. 1263; Витовт 1293—1316).

В средине века образуется союз северо- и западно - германских городов (Любек, Гамбург, Бремен и вестфальские города, так называемая Ганза, 1256 г.), втянувший в сеть своих торговых операций и Новгород, где была одна из ганзейских контор. Для Ганзы Новгород был главным источником *пушного товара* и рынком сбыта зап.-европ. мануфактуры, главным образом, *сукна*.

В 1261 г. греки прогоняют „крестоносцев“ из Константинополя, и Византийская империя возрождается в виде маленького государства; Константинополь сохраняет значение церковной столицы православия; экономически он остается в руках итальянских купцов.

Столетия и годы.	Главные события всемирной истории.	Территория, занятая русским племенем.
XIV век.	В Западной Европе окончательно складывается национальное государство торгового капитала в виде централизованной бюрократической монархии, раньше всего во Франции (Филипп „Красивый“ 1285—1314), поднимающее знамя восстания против старых „накопителей“ (борьба Филиппа с папой Бонифацием VIII; процесс *тамплиеров* — одного из последних рыцарских орденов, образовавшихся в Палестине: истребление остатков „крестоносцев“). Но гнет торгового капитала, выражающийся в неслыханной прежде эксплоатации сельских и городских масс, вызывает в свою очередь восстания против новорожденной бюрократической монархии (восстание парижских горожан под предводительством Этьена Марселя в 1355—1358; „жакерия“—французская пугачевщина—в 1358). В Англии аналогичные явления связаны с царствованием Эдуарда III (1327—1377), но орудием торгового капитала становится там не бюрократическая монархия, а парламент (так называемое „рабочее законодательство Эдуарда III“); массы ответили и на эту форму гнета тем же (восстание Уота Тайлера 1381). Начало *борьбы за рынки*: „столетняя война“ между Англией и Францией из-за Фландрии, мануфактурного центра тогдашней Европы (фландрские сукна; 1337—1453). В этой войне впервые появляется новый род оружия, огнестрельного (артиллерия).	Приблизительно та же, что и в предыдущем столетии: давление татар с юга и юго-востока мешало движению в эту сторону. В Заволочье новгородцы, достигнув, с одной стороны, берегов Ледовитого океана, с другой—бассейна Печоры и Уральского хребта, не имели перед собой пространства, пригодного для колонизации. Далее на восток проникают только экспедиции за пушным товаром, одна из таких новгородских экспедиций, 1364 года, достигла берегов р. Оби; в погоне за мехами, русские впервые вступили в Сибирь.

Главные события внешней истории.

Основной факт—образование московского великого княжества, охватывающего сначала бассейн р. Москвы (Можайск и Коломна), потом Москвы и Клязьмы, т.-е. державшего в руках как связи западной Руси с восточной (Смоленска и Чернигова с Нижним-Новгородом), так Новгорода с тогдашним югом России (Рязань). Узловое положение давало перевес городу Москве и московской буржуазии над остальными городами северо восточного центра: Москва конца XIV в.,—вероятно, уже крупнейший город России после Новгорода и Пскова. Благодаря тому же узловому положению, Москва становится центром *заграничной* торговли с южными странами и Средней Азией, как Новгород—с Западн. Европой (средне-азиатская торговая колония в Москве—улицы „Ордынки"—и русская на низовьях Волги, „сарайская епархия" еще 1265 г.; 1356 „гости-сурожане", генуэзские купцы из Крыма в Москве). Внешним выражением этих торговых связей были политические связи московских князей с Ордою (Юрий Данилович, 1303—1324, женатый на сестре хана; Иван Калита, 1324—1341, главный ханский приказчик; „Симеон Гордый", 1341—1353, которому хан отдал „под руки" всех князей русских; Иван II, 1353—1359). Главным соперником Москвы была Тверь (бассейн верхней Волги,—другая, более кружная, но более удобная дорога с запада на восток и из Новгорода на юг). Но Тверь, непосредственно командуя выходами из новгородской земли, являлась ближайшим соперником новгородской торговой аристократии, последняя была естественным союзником Москвы; только разгромив Тверь, московская буржуазия решает-

Главные события внутренней истории.

Главной прогрессивной силой является *церковь*, роль которой, как представительницы *первоначального накопления*, начинается в России как раз тогда, когда в Западной Европе она заканчивается. Поднимается к этой роли церковь сначала в союзе с Ордою (ордынские „ярлыки" митрополитам Петру, Алексею [1357] и др.). Но уже очень скоро она начинает тяготиться этой зависимостью и подталкивать московского князя, превращенного ею в своего клиента (митрополит Алексей правит московским княжеством в малолетство Дмитрия Донского) на борьбу с татарами (роль игумена Сергия в куликовском походе). Отожествляя свои интересы с интересами Москвы, церковь помогает этой последней громить ее противников (Тверь, Нижний-Новгород) и начинает поддерживать ее в борьбе с Новгородом, где образовалась своя, автономная церковь, связанная с новгородским торговым капитализмом и зреющая еще быстрее московской. Церковные вымогательства и здесь, как в Западной Европе, создают почву для „ересей" того же типа, что и западно-европейские („стригольники" стригали сукна — во Пскове, новгородском пригороде, который в 1348 г. становится самостоятельным). Восстание московской буржуазии в 1382 г. во время набега Тохтамыша

Ближайшие соседи русского племени.

Литовское государство продолжает расти насчет обломков старой „Руси" и все более превращается в „литовско - русское" (Гедимин, 1316—1341, завладевает Минском и Пинском, Ольгерд, 1345 — 1377,—Киевом, Черниговом, Волынью и Подолией, его племянник Витовт в 1395 г. —Смоленском). Общая опасность от немецких „крестоносцев", грабивших Литву и запиравших польской торговле дорогу к морю, повели к „унии" Польши и Литвы в 1386 г. На запад от московского вел. княжества вырастает огромная польско - литовская держава — союзница Твери и Новгорода против Москвы. На востоке орда понемногу разваливается, но выделяющиеся из нее ханства, главным образом, Казанское, Астраханское и Крымское, оказываются еще на первое время довольно сильными для Москвы противниками. Зато всякое политическое влияние утрачивает Византия, духовенство которой старается, по старой памяти, восстановить свое былое влияние на Руси, но безуспешно: русская церковь все более и более *национализируется*.

Столетия и годы.	Главные события всемирной истории.	Территория, занятая русским племенем.
XV век.	На Западе является классическим веком „Возрождения“, а также веком „изобретений и открытий“. И „Возрождение“ (подразумевается, древнего мира), выразившееся в расцвете литературы и искусства, и „открытия и изобретения“, одинаково были дальнейшими последствиями развития капитализма. В самой Европе капитал не довольствуется уже эксплоатацией мелкого производителя, а начинает переходить к организации производства, ранее всего в Италии (флорентийские суконные и шелковые мануфактуры). Появляются первые зачатки кредита и биржи: средневековый „меняла“ превращается в банкира (Медичи во Флоренции, Жак Керв о Франции и т. д.). Торговый капитал, в погоне за прибылью, начинает отправляться в далекие страны, ища прямой, непосредственной связи с Индией и Китаем (в поисках этого пути, теоретически разработанного уже тогдашними географами, Колумб открыл в 1492 г. Америку; а шесть лет спустя португалец Васко де-Гама нашел и самый морской путь в Индию). Промышленное предпринимательство создает почву и для технических изобретений (самым важным был *типографский станок*, 1450, сделавший промышленным предприятием изготовление книг, раньше бывшее в руках кустарей-переписчиков). Одновременно все больше и больше разваливается цитадель старого „первоначального накопления“, сжегши в 1415 г. Яна Гуса, западная церковь празднует свою последнюю победу над „еретиками“, но гусситы, восставшие крестьянские и мещанские массы, держатся целых полстолетия. В то же время попытки пап возобновить крестовые походы против *ти-*	Положение, в общем, прежнее. Распадение Орды дает временно некоторую возможность для движения на восток (московская рать на средней Волге, в „Булгарах“—1431 г.), но образование Казанского церства вновь останавливает движение. В последний год века москвичи переходят Уральский хребет на севере (из бассейна Печоры, 1499), продолжая новгородское движение предыдущих столетий.

Главные события внешней истории.	Главные события внутренней истории.	Ближайшие соседи русского племени.
ся сама выступить соперником Новгорода (первое столкновение Новгорода и Москвы из-за Заволжья, 1397—1398 г.г.). Ранее этого, найдя точку опоры в ранних формах туземного „первоначального накопления“ (церковь—ср. предыдущее столетие западно-европейской истории), Москва пытается стряхнуть власть ордынского капитала (Дмитрий „Донской“, 1362—1389; Куликовская битва 1380), но неудачно (разгром Тохтамышем Москвы, 1382).		
Неудачная попытка сбросить Орду в 1380-х годах возвращает московских князей на привычную колею союза с татарами: Василий I (1389—1425) при их помощи захватывает Нижний-Новгород—узел двух конкурировавших до тех пор торговых путей, тверского и московского. Северо-восточный центр и Московское великое княжество с этих пор почти сливаются. Последний спор двух путей разрешается уже в форме усобицы *внутри* потомства Калиты (войны сына предыдущего, Василия Васильевича „Темного“, 1425—1462, с его дядей Юрием Галицким [Костромским] и сыновьями последнего—Васильем Косым и Дмитрием Шемякой). Спор окончательно решается в пользу Москвы. Только набеги татар (главные в 1408 и 1445, когда был взят в плен сам Василий Темный) напоминают Москве, что она не полная хозяйка. Успешнее идет начавшаяся еще в предыдущем столетия борьба с Новгородом из-за Заволочья. Москва теперь экономически господствовала над Новгородом, она могла не пустить к нему хлеба с „низу“, т.-е. с юга, и в ее же руках был весь рынок сбыта новгородских товаров. Ряд московско - новгородских	В Новгороде торговый капитализм окончательно складывается и переходит к эксплоатации массы населения (подобно тому, как это было в Зап. Европе XIV в.), которое реагирует на это так же, как и на Западе (новгородское восстание 1418 г.). Но на первое время это идет лишь на пользу более отсталой Москве, которая опирается на новгородские раздоры при покорении Новгорода. В самой Москве начинает намечаться расслоение феодального общества: ниже крупного *вотчинного* землевладения старых бояр и бывших князей просвечивает более широкий слой мелкого *поместного* землевладения (будущего дворянства). В раздел между ними идут конфискованные земли новгородского боярства, и оно является уже политической силой (совещание Ивана III со „всеми воями“ в 1471 г., перед походом на Новгород). Усиление влияния московской буржуазии сказывается в разгроме новгородской торговли (1494—закрытие немецкого двора в Новгороде, что означало переселение центра заграничной торговли в Москву). Превращение московского княжества в государство, охватывающее оба старых центра, северо-западный и северо-вос-	Союз Литвы и Польши против Немецкого ордена дает блестящие результаты в начале века (1410 разгром „крестоносцев“ при Танненберге). Но затем Литва быстро подпадает влиянию экономически более развитой Польши, которая вытесняет литовцев из ю.-зап. Руси и полонизирует самое Литву. На место литовско-русского государства *начинает* складываться польско-литовское (соглашение в Городло 1413—общий литовско-польский сейм). Поворот польско-литовской политики на запад и юг ослабляет Литву на востоке, где бывшие черниговские княжества переходят к Москве. Война Литвы против Москвы (1499) кончается поражением литовцев. Одновременно Москва, начиная пробиваться к берегам Финского залива, вступает в борьбу с другим остатком немецких „крестонос-

Столетия и годы.	Главные события всемирной истории.	Территория, занятая русским племенем.
	рок) для спасения Константинополя, в 1439 г., признавшего главенство западной церкви, терпят полное крушение. Константинополь в 1453 г. взят турками, Византийская империя окончательно сходит с исторической сцены.	
XVI век.	Открытие Америки и морского пути в Индию имеет следствием новую передвижку мировых путей, несравненно крупнее той, которую произвели „крестовые походы". „Средиземные" моря (южное, собственно так называемое, и Балтийское, „Средиземное" море Северной Европы), с впадающими в них реками, отступают на второй план и сохраняют лишь местное значение. Настоящей всемирной торговой дорогой становится океан, и руководящее значение сохраняют или приобретают лишь страны, владеющие выходами на океан. Из передовых стран средневековья в таком положении оказывается лишь *Франция*, рядом с нею выдвигаются, не игравшие до тех пор большой международной роли, *Англия* и *Испания*. Напротив, *Германия*, с ее Рейном и Бал-	Образование крупного государства в средней России (московское государство к XVI в. охватывало, приблизительно, теперешние губернии: Московскую, Тверскую, Новгородскую, Череповецкую, Псковскую, восточную часть Смоленской (город Смоленск перешел в московские руки в 1522 г.), северные части Калужской и Тульской, Рязанскую, Владимирскую, Нижегородскую, Иваново-Вознесенскую, Костромскую, Ярославскую, Вологодскую, большую часть Северо-Двинской и Архангельской), дало сильный толчок возобно-

Главные события внешней истории.	Главные события внутренней истории.	Ближайшие соседи русского племени.
войн (1417, 1441, 1456) кончаются формальным подчинением н. республики московскому в. князю (вечевые грамоты действительны лишь с печатью в. князя, который получает право облагать новгородцев податью, „черным бором“). Последний удар Новгороду наносит сын Василия Т., Иван III (1462—1505)—с 1471 г. Новгород становится в вассальные отношения к Москве, а его область оккупируется московской армией. Еще раньше (в 1456 г.) в такие же отношения попадает Рязань, а в 1485—Тверь. Год спустя эта старая соперница Москвы становится частью непосредственных владений московского великого княжества, чем уже с 1463 г. был другой верхне-волжский центр, — Ярославль. Московское княжество превращается в *государство Московское.* Его самодержавность“ закрепляется формальным прекращением отношений к Орде („падение татарского ига“, 1480), что имело мало значения, ибо настоящими противниками были не Орда, а Казань и Крым.	точный (в юго-западном утверждается Литва, см. соседний столбец) создает новую *идеологию:* после „измены“ Константинополя, признавшего в 1439 г. власть папы, московская церковная интеллигенция начинает учить, что центр православия отныне Москва—„третий Рим“; отсюда логически вытекало, что московский великий князь есть наследник византийских императоров (внешнее выражение это нашло себе в женитьбе Ивана III на византийской принцессе Зое—у нас названной Софией—Палеолог, в 1472 г.). Новая идеология осмысливает такие факты, как захват Новгорода, облеченный в форму крестового похода, прекращение подчинения Орде и т. д. Комбинация: московский князь—церковь сохраняется, но приобретает иной смысл: наверху становится князь, а церковь—его служебная сила. Попытки отдельных представителей власти обойтись вовсе без церкви (ересь „жидовствующих“) оказываются преждевременными, но делают церковь еще более смирной и послушной. *Издание Судебника* фиксирует право нового государства (1497).	цев“, Ливонским Орденом (постройка Ивангорода против Нарвы в 1492).
На внешней политике московских государей XVI в. (Василий III 1505—1533, Иван IV „Грозный“, 1533—1584, Федор Иванович, 1534—1598) уже определенно начинают отражаться интересы начинающего концентрироваться в Москве *торгового капитала* (ср. Францию и Англию XIV в.). Московское правительство все более и более сознательно стремится к разршению двух задач: 1) захватить в свое монопольное обладание речной путь из Европы в Азию (Балтийское море—Волга—Каспийское море) и 2) непосредственно связаться с	Основным фактом внутренней истории Московского государства XVI в. является *закрепощение крестьян,* развертывающееся в форме длительного процесса, корни которого уходят еще в XV в. (Псковская судная грамота и *монастырские* документы), а результаты закрепляются лишь в следующем—XVII. В основе процесса лежало начинавшее развиваться, в связи с общим развитием обмена, *торговое земледелие.* Процесс обостряется во второй половине века, благодаря массовому отливу населения, вследствие колонизации, на юг и юго-восток.	1569 — Люблинская Уния; ю.-зап. Русь переходит непосредственно к Польше. 1596 — Брестская церковная уния—отделение „хлопской веры“, православия, от „панской“ — католицизм и униатство „Хлопская“ становится знаменем крестьянско-мещанского движения, опирающегося на *казачество.* 1499—первое упоминание о запорожцах. 1572—попытка подчи-

Столетия и годы.	Главные события всемирной истории.	Территория, занятая русским племенем.
	тийскими портами центр средневекового торгового оборота, падает на второе место. И совсем теряет какую-либо руководящую экономическую роль. *Италия* — колыбель европейского торгового капитализма в XI—XIII в.в., еще в XV в. во многом показывавшая дорогу другим странам (банки и мануфактуры Флоренции, венецианская и генуэзская торговля; Америку открыл итальянец Колумб, действуя по плану итальянского географа Тосканелли; итальянское искусство эпохи „Возрождения“ носит мировой характер и т. д.). Упадок Италии сделал совершенной бессмыслицей господство *римской* церкви над всею Западной Европой. Оттого описанный экономический переворот сопровождается на всем Западе завершением того процесса образования *национальных* церквей, который начался для Франции и Англии еще в XIV в., и продолжался, для центральной Европы, гусситскими войнами XV. При чем для идеологического обоснования своей борьбы с Римом „реформаторы“ (Лютер, 1483—1546, в Германии, Кальвин, 1509—1564, в романских странах и др.) в большей или меньшей степени пользовались идеями „Возрождения“, возникшими в мелко-буржуазной ремесленной среде и сводившимися в основе к *индивидуализму*, требованию свободы личного суждения, критики и т. д. На деле „свобода“ нужна была лишь пока шла борьба со старой церковью: как только возникала новая, национальная, государственная церковная власть (Монархическая в лютеранской Германии и в Англии, по большей части республикантская, но узко-буржуазная, у кальвинистов), она к своим противникам применяла все приемы инквизиции. Наивнее поняли „свободу“ народные массы, которые увидали в *„реформации“* свержение всякого гнета, не только старо-церковного, для массы в это время уже и не очень тяжелого („Крестьянская война“ в Германии 1524—1525, Фома Мюнцер; анабаптисты в зап. Германии, в Мюнстере в 1536; и то и другое восстание были подавлены имущими классами с варварской жестокостью).	влению колонизации в южном и юго-восточном направлении, остановившейся с XIII века. Московское государство начинает наступать, с одной стороны, в Поволжье (постройка Свияжска 1550 г., взятие Казани 1552, Астрахани 1556, постройка Самары, Саратова, Царицына и Уфы в 1580 г.г.), с другой, в южно-русские степи (граница, проходившая в XV в. по Оке, берег которой для москвичей был „берегом“ вообще, и ее верхнему притоку Угре, передвигается на линию Рязань—Тула—Одоев—Мценск, с рядом форпостов еще южнее: Орел, Новосиль, Данков, в 1560г., Ливны, Воронеж, Елец, Кромы в 1580—1590 г.г.; самым южным был Белгород). Вся эта колонизация носит *государственный* характер и руководится из центра; еще южнее захлестывают волны нелегальной, *казацкой* колонизации (первые упоминания о донских, волжских и уральских—„яицких“—казаках в 1540 г.г.). На востоке эта „вольная“ колонизация, под непосредственным руководством торгового капитала (Строгоновы) начинает *завоевание Сибири* (поход Ермака 1581—1582); государственная колонизация здесь идет уже по ее следам (закладка Тюмени 1585, Тобольска 1587, Нарыма 1596 и Томска уже в 1604).

Главные события внешней истории.	Главные события внутренней истории.	Ближайшие соседи русского племени.
„океанскими“ западными странами. Кульминационного пункта эта политика достигает при Грозном в 1550-х годах, когда, с одной стороны, Москва становится хозяйкой всего волжского пути, до самого Каспия, с другой—устанавливаются прямые сношения Москвы с Англией (Ричард Ченслер в Холмогорах и в Москве в 1553 г., посланник Ивана IV, Непея, в Лондоне в 1557). Попытка выпрямить слишком кружный (Волга—Северная Двина—Белое море—Ледовитый океан—Атлантический океан) и полгода запертый льдом путь, захватив один из Балтийских портов (Нарву, в 1558 г.), привела к *Ливонской войне*, сначала с государством, основанным некогда „крестоносцами“ („Ливонский орден“), позже с Швецией и *Польшей*, которая в руках Стефана Батория (1576—1586) и оказалась противником, неодолимым для Московского государства. Нарва была потеряна, и неудача первой попытки пробиться к берегам Балтики закреплена перемириями с Польшей (1582) и Швецией (1583). Возобновление наступления, в 1590 г., несколько сгладило впечатление ливонской неудачи, но не имело дальнейших последствий. Успешнее шла борьба на юге и на востоке, где не было таких противников, как Польша (см. соседний столбец слева). Но и тут крымские татары отвечали на московское наступление довольно жестокими ударами: особенно памятны остались москвичам набеги 1521 и еще более 1571 г., когда крымцы сожгли весь московский „посад“, не успев взять только Кремля. Но закрепить результаты этих набегов татары уже не могли, и не задержали даже ими сколько-нибудь серь-	Обострение выразилось рядом *указав о беглых*, один из которых, 1597 г., послужил основанием для легенды о *государственном* прикреплении крестьян, имевшем место якобы в 1592 г. Отсутствие формальной правительственной меры не мешает, однако, тому, что именно в это время зависимость крестьян от помещика чрезвычайно возрасла (особ. значение имели переписи 1590—1593 г.г.). Другим последствием запустения центральных уездов, на-ряду с погоней помещиков за рабочими руками, была свирепая *борьба из-за земли* между средними и мелкими землевладельцами нового, предпринимательского типа—с одной стороны (дворянство) и старыми феодальными вотчинниками (бояре и монастыри)—с другой. При этом обе борющиеся группы старались иметь на своей стороне нарождающуюся буржуазию, и обе одинаково стремились закрепостить крестьянство. Крупная буржуазия держалась сначала союза с боярами (особенно после московского бунта 1547 г.), и от боярского правительства добивалась льгот (земские уставные грамоты, первая Важская, Арх. губ., 1552, отдача „на веру“ сбора налогов крупным капиталистам с 1551. Губные учреждения — полицейский террор для крестьянства 1539). Но общий реакционный характер боярской политики (стоглавый собор 1550, закрепление наследственных прав знатных боярских семей, составление „родословца“, около того же времени; тогда же сост. *Царский Судебник*), а особенно ливонская неудача отбросили ее к дворянству. Переворот 1564—1565 г.г. (опричнина), дворянство и торговый капитал делают уже вместе. 1566—пер-	нить запорожцев польской администрации; 1595 — 1596 — начало больших казацких восстаний—бунт Наливайки и Лободы.

Столетия и годы.	Главные события всемирной истории.	Территория, занятая русским племенем.
XVII в.	Продолжается эволюция, начавшаяся в предшествовавшем столетии. На первом плане остаются „океанские державы“, Германия падает все более и более, став уже в первой половине века объектом борьбы опередивших ее стран. („Тридцатилетняя война“, 1618—1648). Но в этой борьбе, рядом с Испанией (действующей через посаженную ею в Австрии династию, наследников короля испанского и императора германского Карла V, 1500—1558) и Францией, выступает, как решающая сила, и северная „средиземноморская“, неокеанская держава Швеция (Густав Адольф, 1594—1632); мировые захваты торгового капитализма океанских стран дают новый толчок и балтийской торговле, связывающей „океанские“ государства с Восточной Европой, откуда к ним идет сырье (железо и лес из Швеции, хлеб из Польши и т. д. Здесь до уровня „великих держав“ поднимаются раньше других Польша и Швеция (см. последний столбец справа), позже Пруссия (Фридрих-Вильгельм, „Великий Курфюст“, 1640—1688), составившаяся из остатков немецкого ордена на нижней Висле и колонизованных немцами в средние века славянских областей к востоку от Эльбы, и *Россия*. Но соотношение между самими океанскими странами меняется. Ранее всех выступившая и захватившая обширнейшие колонии Испания, величайшая держава XVI века, господствовавшая до начала XVII и в военном, и в культурном отношении (испанская литература — Сервантес,—испанское искусство приобретают мировое значение), после ряда неудач, начинающихся катастрофой грандиозной испанской экспедиции против Англии (так называемая „непобедимая армада“, 1588), сходит на второй план, а к началу следующего столетия падает до положения Германии, становясь объектом англо-французской борьбы („Война за испанское наследство“, начин. в 1701). Великими океанскими державами становятся Франция и Англия, притом в XVII в. более первая, чем вторая (ей принадлежала большая часть доступной тогда для европейцев Северной	На Востоке, почти не задерживаемый событиями, разыгрывавшимися в это время в центре (см. ближ. столбцы справа), продолжается *захват русскими Сибири* (1618—основание Енисейска, 1628 — Красноярска, 1632—Якутска, в 1646 Поярков достигает берегов Охотского моря, а в 1648 Дежнев проходит будущим Беринговым проливом из Ледовитого океана в Тихий). На юге эти события на четверть века задерживают наступательное движение и даже отодвигают границу назад, сметя наиболее южные форпосты. Но уже в 1636 году вновь закрепляется „Белгородская черта“, в Тамбове (постр. в том же 1636 г.) смыкающаяся с „Симбирской чертой“. К 50-м годам к последней примыкает „Закамская черта“, далее на восток, заканчивающаяся Мензелинском. На западе колонизация идет уже с Украины: украинцы в те же десятилетия заселяют Полтавскую, Харьковскую, южную часть Курской и западную Воронежской губерний. К концу столетия правительственная колонизация *достигает берегов Донца*, за казацкой, вольной, колонизацией остается только среднее и нижнее течение Дона.

Главные события внешней истории.	Главные события внутренней истории.	Ближайшие соседи русского племени.
езно московского наступления (см. соседний столбец слева).	вый земский собор. 1584—стеснение монастырского землевладения (отмена „тарханных грамот“, обеспечивавших за монастырями их имения).	
Фронт русской внешней политики окончательно поворачивает на запад: набеги крымцев, в XVI в. еще серьезно беспокоившие центр, в XVII интересуют только население южного рубежа и становятся местным явлением. Вопросы жизни и смерти русского торгового капитализма решаются на берегах Балтийского моря и на Днепре. Здесь в первой половине столетия продолжается тот „отлив“, который наметился к концу Ливонской войны (см. предыд. таб-цу). Торговый капитал и выдвигаемые им правительства (Борис Годунов 1598—1605; Василий Шуйский 1606—1610; Михаил Романов 1613–1645), схваченные с тыла восстанием эксплоатируемых масс, или связанные необходимостью ликвидировать последствия такого восстания, не только вынуждены отказаться от наступления, но сдают одну позицию за другой. К 1610 году поляки занимают Москву, шведы—Новгород; на московском престоле оказывается на пару лет польский королевич. По Столбовскому миру с Швецией (1617) Московское государство получает обратно Новгород, но оказывается совершенно отрезанным от берегов Балтийского моря. По Деулинскому перемирию с Польшей (1618) Москва теряет Смоленск, с этой стороны государство Романовых возвращается к границам XV века. Первая попытка реванша кончается неудачей (нападение на Смоленск и Поляновский мир 1634 г.). Дела начинают поправляться, когда восстание эксплоатируемой мас-	Отлив населения на восточные и юго-восточные окраины, в связи с хищническим хозяйством первых „предпринимателей“—помещиков, приводит к быстрому истощению земли и колоссальному сокращению пашни в центральной России. Непосредственным результатом были неурожаи и голод 1602—1604 г.г. На их основе развиваются, с одной стороны, безудержная хлебная спекуляция (где в последний раз ярко выступает церковный капитализм) и самые дикие формы закрепощения голодающего населения, с другой—массовый побег более стойких элементов крестьянства на „вольные“ земли. Отношения между московским правительством и вольной казацкой колонизацией обостряются, как никогда раньше. Попытка „взять в руки“ казаков (постройка Царева - Борисова у самой окраины донских поселений) ускорила взрыв. Казацкая революция пошла под знаменем „настоящего царя“ Дмитрия Ивановича (будто бы сына Грозного) против узурпатора Годунова (1604). Смерть Бориса (13—IV 1605) и гибель его династии открывают эру новой политики („крестьянское законодательство“ Димитрия—ограничение кабального холопства и смягчение указов о беглых). Боярско-купеческий заговор обрывает ее (убийство Димитрия 17 мая 1606), но новое правительство Василия Шуйского (реакционное — 15-летний срок для отыскания беглых) оказывается лицом к лицу уже не с одними казаками, а со всею восставшей массой	Попытка польско-литовского правительства прибрать к рукам днепровское казачество, подобно тому, как правительство Бориса Годунова хотело этого относительно донского (1635 постройка Кодака в начале Запорожья, 1638—отмена казацкого самоуправления) приводит в зап. России к тем же результатам (1648—1649—начало крестьянско - мещанско - казацкой революции Хмельницкого). Но восстание здесь идет успешнее благодаря лучшей организованности горожан и казаков, в пользу которых оно и оканчивается, и благоприятным внешним условиям (поддержка Крыма, Швеции, воевавшей с Польшей из-за Балтийского моря и *Москвы*). Украина, в лице гетмана Хмельницкого, становится в вассальное подчинение царю Алексею (1654), скоро прекращающееся в окончательное подданство (но остатки автономии сохраняются до середины следующего XVIII в., как и самостоятельность Запорожья). Крестьяне снова попадают в крепостную зависимость от нового туземного (а не польского, или

Столетия и годы.	Главные события всемирной истории.	Территория, занятая русским племенем.
	Америки, колонии в Индии и т. д., но и в Англии уже с 1602 г. действует Ост-индская компания). Быстрое развитие капитализма в этих двух странах приводит к окончательной ликвидации феодальных отношений и в той и в другой, но в диаметрально противоположных направлениях: в Англии, после „Великого Бунта“, являющегося, одновременно последним взрывом „народной реформации“ (1642—1649, см. предыдущ. таблицу), окончательно утверждается парламентаризм (вторая революция 1688). Во Франции, после ряда неудачных восстаний дворян, и отчасти буржуазии, окончательно складывается централизованная бюрократическая монархия (Людовик XIV, 1643—1715). То же развитие капитализма дает в Англии, во Франции и в следующей за ними на третьем месте Голландии могучий толчок развитию научной и философской мысли (Декарт, 1596—1650, и Спиноза, 1632—1677, наносят смертельные удары средневековому богословию; Ньютон, 1642—1727, устанавливает первый научный закон, начиная тем ряд открытий, которые делают всякое вообще богословие невозможным).	

Главные события внешней истории.	Главные события внутренней истории.	Ближайшие соседи русского племени.
сы охватывает восточные области Польско-Литовского государства (восстание Хмельницкого, см. последний столбец справа). Московские войска быстро завладевают всей Белоруссией и доходят до Вильны (1654 г.); одновременно возобновляется борьба и с Швецией, при чем двух фронтов для Московского государства оказывается слишком много: после неудачной осады принадлежавшей тогда шведам Риги, здесь дело кончается в ничью (Кардисский мир 1661). Зато Польша, в то же время разгромленная Швецией, не только должна была возвратить Смоленск, но и уступить весь левый берег Днепра, и даже Киев (Андрусовское перемирие 1667). Конец века отмечен опять поворотом на юг, но уже более против Турции, чем против Крыма (взятие Азова 1696).	(октябрь 1606—Болотников под Москвой, октябрь 1607—падение Тулы и смерть Болотникова, но уже с 1608 второй Димитрий в Тушине). Ни поддержка городов, охваченных демократической революцией (наивысший подъем во Пскове, авг. 1608), ни союз со шведами (1609) не могут спасти Шуйского, но союз с Швецией втягивает его в войну с Польшей. Имущие классы в безвыходном положении ищут помощи у последней, и низлагают Шуйского в пользу польского королевича (февр.—авг. 1610). Выяснившееся бессилие Польши придает смелости „национальному“ капиталу (нижегородское ополчение 1612), но восстановить „порядок“ удается лишь ценою еще 5 лет войны, приняв нового царя из рук казаков (тушинская кандидатура Романовых). К 1640-м годам удается прикрепить к местам сельское население (отмена сроков для отыскания „беглых“ 1645) и приручить мелкими поблажками казачество, не слишком прочно (1668—1670—восстание Степана Разина). Последние всплески городского движения улегаются также лишь к концу века (новгородские и псковские волнения 1650 г., московские—1648, 1662 [медные рубли], перерождаясь в „стрелецкие бунты“ конца столетия). Тем не менее, уже в середине века второй Романов (Алексей Михайлович, 1645—1676) находит возможным закрепить право окончательно сложившегося крепостнически - бюрократического государства („Уложение царя Алексея“, 1649). Как и в Западной Европе, торговый капитал создает себе националяную, подчиненную государству церковь (суд над патриархом Никоном, 1666), что вызывает резкий отпор со стороны части духовенства, верной традиции XVI в. (раскол).	ополяченного, как раньше) дворянства, вышедшего из рядов *казацкой старшины*. Польша не могла более оправиться от двух ударов, казацкой революции, стоившей ей самых хлебородных провинций, и вторжения шведов, занимавших одно время Варшаву и Краков. С половины XVII в. начинается упадок Польши.

Столетия и годы.	Главные события всемирной истории.	Территория, занятая русским племенем.
XVIII век.	Все столетие наполнено прежде всего продолжением начавшейся еще в предыдущем ожесточенной борьбы между Англией и Францией из-за *колоний*. Война *за испанское* наследство (1701—1713; кончилась тем, что Франции удалось посадить на испанский престол „своего“ короля, внука Людовика XIV, но Англия захватила Гибралтар), затем война за *австрийское* наследство (1741 — 1748, кончилась в ничью), потом *Семилетняя война* (1756—1763; Франция теряет свои лучшие колонии в Северной Америке [Канада] и в Индии), наконец, участие Франции в войне за независимость Америки (1775—1783), которая кончилась образованием Соединенных Штатов, но колониального положения Франции не восстановила. Удар, нанесенный колониальному капитализму Франции, потряс все государство торгового капитала. Его диктатура, отлившаяся в самодержавие Людовиков XIV и XV (1715—1774), стала бессмыслицей. Среди буржуазии начинается движение против нее, идущее от либерализма и увлечения парламентскими порядками побеждавшей Францию Англии (Монтескье 1689—1775; „Дух Законов“) до идеологий последовательно демократических (Руссо 1712 — 1778; „Общественный договор“) и увлечения порядками только что народившейся американской республики. В то же время городские и деревенские низы все нетерпеливее переносят гнет того же торгового капитала, восставая против наиболее к ним близкой и осязательной формы этого гнета, в виде *феодальных привилегий* землевладельцев, в XVIII в. игравших уже только роль пресса, при помощи которого из мелкого самостоятельного производителя выжимался прибавочный продукт. Между тем войны разорили Францию, королевская казна была пуста, и для ее пополнения пришлось воззвать к помощи „общественного мнения“, созвав (1789) собрание представителей имущих классов („государственные чины“). Это совпало с неурожаем и безработицей в городах, явившейся опять-таки следствием неудачной конкуренции с Англией. Для этой последней XVIII в. был не только веком великих колониальных завоеваний, но также и веком быстрого расцвета *обрабатывающей промышленности* (первые шерстяные мануфактуры в Англии еще с XVI в.); „промышленная революция	В первой половине века колонизация продолжается, главным образом, на *восток* (постройка Екатеринбурга, 1723, перенесение „закамской“ линии к Самаре, 1730, и постройка Самаро - Оренбургской линии в 1734—1744; русская колонизация доходит здесь до границ степей, отделяющих Поволжье и Приуралье от Туркестана), во второй—на *юг* и *юго-восток*. В 1731—1735 правительственная колонизация не шла еще дальше линии Верхнеднепровск—Змиев, т.-е. вне границ „империи“ оставалась еще Екатеринославская губерния. 40 лет спустя „днепровская“ линия спускается уже к берегам Азовского моря. После „первой турецкой войны“ (1769—1774, см. столб. справа) вне границ остался только Крым; с его захватом — 1783— границей России на юге стало Черное море. С конца 70-х г.г. начинается колонизация Северного Кавказа („кавказская линия“ по рекам Кубани и Тереку, 1779—1799). Вольная, казацкая колонизация, с окончательным подчинением Дона (Булавинский бунт 1708) и ликвидацией Запорожья (1775), сменилась колонизацией *беглыми* формально уже внутри государственной границы, но с молчаливого согласия местных властей: так была колонизована *Новороссия* при Потемкине, между 1-й и 2-й турецкими войнами Екатерины II (см. столбец справа). Запорожские казаки частью переходят на Кубань, частью выселяются за пределы России, в Турцию („некрасовцы“).

Главные события внешней истории.

Внешняя политика России в XVIII в. отчетливо делится на 2 периода. До 1760-х г.г. она решительнее, чем когда-либо ориентируется на Запад; столкновения с Турцией остаются эпизодами, еще более попытки проникнуть в Среднюю Азию и завязать сношения с Дальним Востоком. С 1760-х г.г., не оставляя западной ориентации, эта политика в то же время не менее решительно поворачивается к югу: борьба за Балтийское море сменяется борьбой за Черное море. Новый „западный" перерыв, до начала XX столетия последний, падает уже на первые годы XIX в. Интересы торгового капитала на всем протяжении XVIII в. остаются господствующими, в этом отношении Россия, с опозданием на столетие, точно повторяет историю „океанских" держав XVII в. Первая война (так называемая „Северная", 1700—1721, в союзе с Данией и Польшей против Швеции) выполняет в пользу русского и насчет шведского торгового капитала шведскую программу 1650-х г.г.: перенесение торговли с Белого моря на Балтийское, что означало увеличение торгового барыша вдвое, если не втрое. Швеция ожесточенно отстаивала свою балтийскую монополию (разгром русской армии под Нарвой 1700), но после Полтавского поражения (27 июня 1709) должна была сдать русским почти все свои позиции на восточных берегах Балтики. По Ништадтскому миру (1721) Россия получила не только Нарву Ревель и Ригу, но и стариннейший шведский форпост на границах Новгородской области, Выборг. За шведами осталась только (до 1809 г.) северо-западная (большая) половина Финляндии. С этого момента начинается политическое падение Швеции, как

Главные события внутренней истории

Во внутренней жизни царствование Петра (1682—1725) было последней и чрезвычайно яркой вспышкой русского торгового капитализма первоначального типа, аналогичного западно-европейскому XIV — XVI в. в. Никогда в России ни раньше, ни после торговые интересы и торговая буржуазия не играли такой роли. Но русский торговый капитал оказался слишком слаб, чтобы выдержать прямую конкуренцию с западно-европейским. Европейский капитал (преимущественно англо-голландский) больше выиграл от „реформы", чем туземный, русский, и оттеснил последний на второй план. На такой почве неизбежна была *реакция*, которая должна была принять *антибуржуазный* характер, поскольку неудачу потерпела диктатура торговой буржуазии. Этой *дворянской* реакцией наполнены все следующие за Петром царствования: Екатерины I (1725—1727), Петра II (1727—1730), Анны (1730—1740), Ивана VI (1740—1741), Елизаветы (1741—1761) и Петра III (1761—1762). Перелом наступает с 1760-х г.г., когда, под влиянием дифференциации населения, развития отхожих промыслов, начинает расширяться *внутренний* рынок, наряду с усилением русского вывоза, главным образом сырьевого, но отчасти и в виде полуфабрикатов (железо) и даже фабрикатов (холст). Обрабатывающая промышленность, которая, несмотря на все „поощрения", чахла в первой половине века, начинает развиваться во второй, сначала как придаток к крепостному имению. Настоящего промышленного капитализма Россия XVIII в. таким образом еще не знала. Тем не менее в 1725 г. в России было всего 195 фабрик и заводов,

Ближайшие соседи русского племени.

В XVIII в. окончательно падает великая держава XVI столетия, Польша. Слегка оправившись от своих неудач середины XVII в. (царствование Яна Собесского 1673—1696), она была вновь расшатана ударами Северной войны, доставшимися более всего на ее долю. Для развития польского *торгового* капитализма было роковым отсутствие выходов к морю: в то время, как Россия складывалась около большого торгового пути, постепенно завладевая всем его протяжением, поляки лишились выходов к Черному морю, не владея вполне и выходами на Балтийское. Политически, уже в 1730 г.г., Польша стала так низко, что вопрос о польском короле решался в Париже, Вене и Петербурге, а не в Варшаве (так называемая „война за польское наследство"). В 1760 годах русский и прусский резиденты в Варшаве распоряжались в Польше, как в своей провинции, держа на своем жалованье группы польских помещиков. Попытка Франции вмешаться в дело (Барская конфедерация 1768) только ускорила первую катастрофу — раздел 1772 г. Лишь под самый конец века буржуазия, крупная (конституция 3 мая 1791) и мелкая (восстание Костюшки 1794),

Столетия и годы.	Главные события всемирной истории.	Территория, занятая русским племенем.
	XVIII в.“ характеризуется 3 моментами: 1) ростом пролетариата под влиянием „первоначального накопления“, 2) обилием ценного колониального сырья (хлопок, краски), 3) применением науки—выше всего стоявшей тогда в Англии — к промышленности (плавка чугуна на каменном угле—раньше плавили на древесном—1735, литая сталь—1750, прядильная машина — 1767, паровая машина Уатта—1769, механический ткацкий станок—1785). Во Франции также начал уже складываться промышленный капитализм (были и свои изобретения — паровой котел Папина еще в 1680 г.), но развитие его шло медленнее. Когда неудачные войны вынудили Францию заключить с Англией торговый договор, открывший французский рынок английскими товарами, это вызвало закрытие во Франции фабрик и массовую безработицу. Столкновения короля Людовика XVI, 1774—1792, с государственными чинами, и развитая на этой почве буржуазией агитация были искрой в порох: летом 1789 в Париже произошло восстание, часть войск перешла на сторону народа, что обеспечило победу последнему (взятие Бастилии, парижской Петропавловки, 14 июля). Следом за парижскими рабочими и ремесленниками восстало крестьянство, начавшее громить помещичьи усадьбы. Испуганная результатами собственной агитации буржуазия быстро справилась с еще более перепугавшейся королевской властью, в первую минуту отменила феодальные привилегии (4 августа), но так как капитал был в них заинтересован, то под разными предлогами уступку взяли назад, заставив крестьян *выкупать* привилегии. Это вызывало все новые и новые восстания в провинции, а в Париже продолжали свирепствовать голод и безработица. Революция продолжалась, несмотря на попытку буржуазии ввести ее в русло (конституция 1791 г.) и даже подавить открытой силой (расстрел парижан на Марсовом поле 17 июня того же года). Наконец, крупнейшее из парижских восстаний (10 августа 1792) сбросило королевскую власть и вместе с нею буржуазное „законодательное собрание“. Но пролетариат во Франции был еще слишком слаб и совершенно не организован. Движением овладела мелкая городская буржуазия, преимущественно парижская. Было созвано второе учредительное собрание. (Конвент,	

Главные события внешней истории.	Главные события внутренней истории.	Ближайшие соседи русского племени.
раньше, с половины XVII в., Польши. За этой последней остается до конца века Курляндия, с дальнейшими уже незамерзающими балтийскими гаванями — Либавой и Виндавой. Ради приобретения этих гаваней Россия вмешивается в семилетнюю войну (см. 1-й столбец слева и последний справа) на стороне Франции, но в конечном счете, несмотря на отдельные победы русских войск над союзниками Англии—пруссаками (битва при Кунерсдорфе 1759; набег на Берлин 1760, неудачно. Дальнейшие захваты на Западе предпочитают делать поэтому в союзе со своей противницей семилетней войны, Пруссией (*Разделы Польши* в 1772 г., когда Россия получила Белоруссию, 1793 и 1795 г.г., когда ей достались сохранившиеся еще в руках поляков остатки Украины [Волынь и Подолия—вост. Галицию получила Австрия], большая часть Литвы [меньшую получила Пруссия] и давно желанная Курляндия). Самостоятельно Россия вела политику на юге, эпизодически уже в первой половине века (Прутский поход Петра 1711, взятие Очакова Минихом 1737), систематически с 1768 года. („Первая турецкая война", закончившаяся Кучук-Кайнарджийским миром, открывшим России выход в Средиземное море, т.-е. наиболее прямую и удобную дорогу на Запад, 1775, и „вторая турецкая война", 1787—1791, закончившаяся миром в Яссах). Без будущности осталось пока движение на юго-восток, открывшееся персидским походом Петра (1722—1723) и экспедицией Бековича-Черкасского в Хиву (1716). Основная цель его для того времени—захватить в русские руки начало торгового пути Каспий—Волга — Балтийское море, из	кроме горных, а в 1796 уже 1161. (Главнейшими датами развития русской крупной промышленности могут служить: 1632—первый железоделат. завод, 1634—первый стеклянный завод, 1650—первая суконная фабрика (мануфактура), 1712—указ Петра „о размножении заводов", 1714—первая шелковая мануфактура, 1717—первая игольная мануфактура, 1721—разрешение покупать деревни к фабрикам.) Создание буржуазной администрации в центре на местах приходится на 1698 (первый указ о ратуше)—1700 г.г.; в 1703 г. ратуша (собрание крупных купцов) получила право контроля над употреблением собранных ею денег. Но уже в 1707—1708, с возникновением губерний, на первый план выступило военное, т.-е. дворянское, начальство. Контроль остался за буржуазией дольше всего (1711, фискалы „из какого чина ни есть"), но фактически, по мере того, как с катастрофической быстротой росло государство торгового капитала, власть переходила к бюрократии (1711—Сенат, 1718—коллегии, 1722—генерал-прокурор). Главнейшие даты дворянской реакции: 1730—попытка навязать Анне дворянскую конституцию, 1762—манифест „о вольности дворянства" (освобождение от повинностей, особенно тяжелых в эпоху Северной войны), 1785—жалованная грамота дворянству: но это лишь позднее осуществление пожеланий, высказанных дворянством еще в 1767 г. („Комиссия для сочинения нового Уложения"). На деле, с промышленным оживлением второй половины века во главе дворянства становятся экономически-прогрессивные элементы („дворянская буржуазия"; основание Вольного Экономического Общества 1765), а политически	пытается взять дело в свои руки, но слишком поздно: Польша была уже не в силах бороться с коалицией России и *Пруссии*. Эта последняя вместе с *Австрией*, т.-е. пестрой кучей земель, теми или иными путями сосредоточившихся в руках Габсбургской династии (потомство брата Карла V, см. XVII в.; собств. Австрия, Венгрия, Богемия, Тироль, южно-славянские земли и проч.), и выдвигаются теперь на место ближайших соседей „Российской империи", сменяя Польшу и Швецию. В XVIII в. между Австрией и Пруссией уже начался тот спор за первенство в центр. Европе, который закончился только в следующем столетии (1866). Во время „войны за австрийское наследство" (1741—1748) Пруссия (Фридрих II, 1740—1786) сахватила Силезию—центр текстильной промышленности тех дней. Попытка Австрии отнять Силезию обратно, во время семилетней войны (см. 1-й столбец слева) где она была на стороне Франции, не имела успеха. К концу столетия, увеличившись еще обломками Польши, Пруссия становится на то место одной из великих восточно-европейских держав, которая в XVII в. занимала Швеция. Во внутрен-

Столетия и годы.	Главные события всемирной истории.	Территория, занятая русским племенем.
	1792—1795; первым учредительным собранием объявили себя государственные чины 1789 года). Только к лету 1793 года удалось изгнать из него крупно-буржуазные партии (жирондисты — соотв. нашим „кадетам“). Диктатура мелкой буржуазии держалась немного более года (2 июня 1793—27 июля 1794). Она довела до конца ликвидацию „старого режима“, уничтожив без выкупа феодальные привилегии и провозгласив демократическую республику. В то же время она подавила контр-революционное движение внутри страны при помощи *террора* и победоносно отбила нападения Австрии и Пруссии, вмешавшихся в пользу Людовика XVI, непобедимой осталась только Англия, продолжавшая добивать свою соперницу под предлогом борьбы с революцией. Измены и раздоры вождей мелкой буржуазии (Дантон, Робеспьер, Эбер, Шометт) создали благоприятную почву для буржуазной контр-революции (заговор „9 термидора“—27 июля 1794). После этого гниение и распад демократической революции продолжались еще 5 лет, пока переворот 18 брюмера (9 ноября 1799 не привел к установлению военной диктатуры в лице Наполеона Бонапарта (1769—1821). Запоздалая попытка пролетариата захватить власть и установить социалистическую республику (Бабеф 1760—1797) была последним отпором нараставшей буржуазной реакции. Начавшееся в XVII в. развитие научной философии в XVIII в. сосредоточивается, главным образом, во Франции, отливаясь в цельную систему материалистического „просвещения“, и облекшись в популярную форму *Энциклопедии* (1751—1772).	
XIX в. 1801—1830 г.г.	Первая треть века является продолжением и заключением последних десятилетий предыдущего столетия. Французская революция продолжается в другой форме. Лишенная, после разгрома мелкой буржуазии и пролетариата, своей демократической сущности, отлившись в форму наглой и циничной диктатуры крупного капитала, быстро росшего на почве военных подрядов, поставок и т. п., она нисколько не утратила своего антифеодального смысла, закрепив юридическую ликвидацию „старого порядка“	Девятнадцатый век уже не знает вольной колонизации, правительственная же принимает форму аннексии (захвата) чужих земель, не столько экономически нужных русскому племени, сколько политически и стратегически необходимых „Российской империи“. В самом начале века эта последняя переходит Кавказский хребет (присоединение Грузии 1801

Главные события внешней истории.	Главные события внутренней истории.	Ближайшие соседи русского племени.
Азии в Европу, фактически была достигнута—на Каспии не было другого флота, кроме русского. Захват же *колоний* входил еще только в *проекты*, но не в реальные ближайшие цели русского *меркантилизма* XVII—XVIII в.в. Остатками борьбы за северный конец того же пути, Балтийское море, были две войны со Швецией (1741—1743 и 1788—1790), лишний раз подчеркнувшие бесповоротный упадок шведского влияния к востоку от Балтики, и послужившие прологом к окончательной потере Швецией всех ее забалтийских владений (Финляндии в 1809). Последний год века отмечен участием России в коалиции против революционной Франции (1799) — первый акт формального русско-английского союза, намечавшегося в течение всего столетия, особенно на почве общих интересов русского и английского торгового капитала в Черноморье.	*пугачевщина* (восстание казаков, уральских горнорабочих и крестьян восточной России в 1773—1774 г.г., как ответ на усилившуюся капиталистическую эксплоатацию), вместо ограничения самодержавия, поставила на очередь *полицейскую диктатуру*, первым представителем которой явился фаворит Екатерины II (1762—1796), Потемкин (ум. в 1791). При продолжавшем ту же политику Павле, сыне Екатерины (1796—1801), гнет становится невыносим для самого дворянства. Основной мерой Павла было почти полное упразднение дворянского самоуправления, служившего единственной сдержкой бюрократии на местах (1775—положение о губерниях). Еще раньше полицейская диктатура вызывает отпор со стороны зарождающейся *интеллигенции* (Радищев, „Путешествие из Петербурга в Москву“ 1790). К числу общих мер, заканчивающих в XVIII в. образование централизованной бюрократической монархии, принадлежат: уничтожение внутренних таможен (1753) и конфискация правительством Екатерины II монастырских имений (1764); еще раньше, при Петре, было закончено образование *государственной церкви* учреждением Синода, фактически заведывавшегося чиновником—обер-прокурором (1721).	нем управлении Пруссия Фридриха II представляла попытку приспособить бюрократическую монархию к потребностям быстро растущего капитализма: Фридрих успешнее боролся с остатками феодализма, чем, напр., современная ему Франция. Еще решительнее по этому пути пошла его неудачная соперница Австрия, при Иосифе II (1780—1790), ограничивавшем крепостное право, боровшемся с влиянием духовенства и т. д. Австрии и на этом пути не повезло, реформы Иосифа II („просвещенный деспотизм“) не имели успеха, но Пруссии ее приспособляемость очень помогла в следующем XIX столетии.
Все тридцатилетие заполнено *русско-английским союзом*, завязавшимся еще в конце предыдущего, — разрыв его стоил жизни Павлу I (1801),—и начавшим ослабевать лишь к самому концу, по мере развития в России промышленного капитализма. В основе политического союза лежал союз английского промышленного и русского торгового капитала: последний вы-	Основным фактом тридцатилетия является возникновение в России *промышленного капитализма* (число фабрик суконноткацких 1804—155, 1825—324, бумаготкацких 1804—199, 1825—484, чугунно-литейных и железоделательных заводов 1804—26, 1825—170, первая мануфактурная выставка 1829), который получает сильный толчок от *континентальной блокады* (см.	Пруссия после разгрома ее Наполеоном (1806—1807) попадает в почти вассальную зависимость от Франции и косвенно втягивается в сферу действия „Гражданского кодекса“ (реформы Штейна и Гарденберга: освобождение крестьян и т. п.). После

Столетия и годы.	Главные события всемирной истории.	Территория, занятая русским племенем.
	в „Гражданском кодексе“ (иначе „Кодекс Наполеона“, 1804). Что военная диктатура в том же году была увенчана императорской короной, не изменило дела, так как солдатская империя ген. Бонапарта, ставшего Наполеоном I, отнюдь не была восстановлением старой монархии и управлялась бывшими членами конвента и генералами революции, пошедшими на службу к капиталу. *Франция начала XIX в. была первым чисто буржуазным государством Европы*, опередив в этом отношении Англию, где крупное землевладение с наследственными привилегиями продолжало играть командующую роль. Более буржуазные порядки можно было найти только в Америке—в Европе Франция была охвачена кольцом полу-феодальных держав, противоречие которых с французской революцией было безвыходное. Этим пользовалась, сама полуфеодальная в эти дни, Англия, организуя против Франции одну „коалицию“ за другой (война Англии и Франции лишь на очень короткое время была прервана Амьенским миром, 1802): Россию и Австрию 1805, Пруссию и Россию 1806—1807, одну Австрию 1809, одну Россию 1812, Россию, Пруссию, Австрию и Швецию 1813—1814. Громя эти коалиции (Аустерлиц ноябрь 1805, Иена октябрь 1806, Фридланд июнь 1807 и т. д.), армия Наполеона невольно разносила по всей Европе идеи „Гражданского кодекса“, их появление сопровождалось всюду, где почва была сколько-нибудь подготовлена, падением „старого порядка“ (полнее всего в западной Германии и в северной Италии, но косвенно и в Пруссии, и в Польше, см. посл. столбец справа). Англия имела успех сначала исключительно на море (Трафальгар 1805), на что Наполеон ответил *континентальной блокадой* (1806), запершей континент для английских товаров. Но непрерывавшаяся в сущности война и русская катастрофа (1812, см. справа) настолько истощили Францию, что в 1814 г. она вынуждена была сдаться, а после новой вспышки 1815 окончательно разгромлена (Ватерлоо 18 июня). После этого феодальная реакция завладела на короткое время и самой Францией (*Реставрация* старой монархии в лице Бурбонов, 1814—1830, „Редкостная палата“, 1815—1816 г.г., из черносотенных помещиков). Но экономическое развитие Франции брало свое: *июльская революция* 1830 окончатель-	Мингрелии 1803, Имеретии 1810, восточного Закавказья до Аракса и Каспия по гюлистанскому [1813; Баку] и туркманчайскому [1828; Эривань] договорам с Персией — после почти 20-летних войн). Немного позднее ликвидируются последние владения Швеции на восточном берегу Балтийского моря (присоединение Финляндии до р. Торнео, 1809) и Турции на север от Черного моря (Бессарабия 1812 и Анапа 1829). Еще позже захватывается, в лице „Царства Польского“, переделанного из созданного Наполеоном „Герцогства Варшавского“ (частичное восстановление Польши, 1806—1813), плацдарм, дающий русской армии командующее положение в центральной Европе (1815). Во все эти места не происходит никакого переселения русских народных масс, русское племя представлено там только чиновниками и солдатами.

Главные события внешней истории.	Главные события внутренней истории.	Ближайшие соседи русского племени.
качивал из России необходимое английской промышленности сырье (лес, пеньку, сало, несколько позже пшеницу); из Англии Россия получала все необходимые ее командующим классам фабрикаты. Союз прерывался лишь на 5 лет (1807—1812) из-за военных неудач русско-английской коалиции, принудивших Александра I (1801—1825) заключить *Тильзитский мир* (1807) и подчиниться условиям „континентальной блокады“ Наполеона (см. первый столбец слева). Уже в 1810 г. экономическая необходимость принудила русское правительство нарушить блокаду, так как Франция могла доставлять только предметы роскоши: массовый привоз товаров исключался отсутствием между Россией и Францией дешевого водного пути (море было заперто англичанами). Политически Александр I использовал тильзитский мир, захватив в этот пятилетний промежуток Финляндию и Бессарабию (см. столбец слева). Нависшая с 1810 г. война разразилась в 1812 (так называемая „Отечественная война“), закончившись лишь в 1814 взятием русскими Парижа. Вся война велась на английские субсидии. Война сделала Александра „царем царей“, „Агамемноном Европы“ и т. д., а фактически хозяином *центральной* Европы, ибо русская армия с берегов Вислы одинаково могла нанести удар и на Берлин и на Вену. Это положение вещей было закреплено „Венским Конгрессом“ и „Священным Союзом“ (1815), фактически объединением восточно-европейских держав под гегемонией России (Англия не присоединилась к „Священному Союзу“, Франция в это время потеряла международное значение). Политическая гегемония России была	1-й столбец слева) и приносит с собой новую *идеологию, буржуазную*, напоминавшую идеологию французской революции. Официальными кругами усваивались при этом идеи уже наполеоновской Франции, а передовой интеллигенцией французские идеи предшествующего периода. Из первых вышли проекты *Сперанского* (более умеренный 1803 г., более радикальные 1809—1810 г.г.), из второй—проекты *декабристов* (см. ниже). Общею их чертой было отрицательное отношение к крепостному праву и стремление освободить крестьян на условиях, обеспечивавших быстрый рост в России необходимого промышленному капиталу пролетариата. Обстановка, обусловившая первый взрыв буржуазно-промышленной идеологии в России (изоляция России от иностранной конкуренции благодаря континентальной блокаде и резкое вздорожание хлеба, под влиянием роста английского пролетариата и наполеоновских войн, что давало объективную возможность перехода к вольно-наемному труду в земледелии), была кратковременной: с 1819 г. вновь начинается ввоз английских товаров, а цены на хлеб начинают падать. Барщинный труд опять оказывается выгоднее батрацкого, а промышленность начинает испытывать острую нужду в сильной центральной власти для охраны интересов промышленного капитала от иностранной конкуренции („покровительственные“ таможенные тарифы, начиная с 1823 г. и войны Николая I, завоевавшие для русских товаров турецкие и персидские рынки). Такой поворот дела заранее осуждал на неудачу замыслы *тайных обществ* (1814 „Орден Русских Рыцарей“, 1816—1817 „Союз	падения Наполеона зависимость от Франции сменяется зависимостью от России (Фридрих-Вильгельм III, 1797—1840, „друг“ Александра I. Больше самостоятельности сохранила Австрия, хотя также разгромленная французами, и даже дважды (1805 и 1809) и воевавшая—как и Пруссия—вместе с Францией против России в 1812 г. Австрия совершенно не попала в сферу влияния „Гражданского кодекса“ и представляет собою, после 1815 г., тип чисто-реакционного государства торгового капитала, с полицейщиной, крепостным правом и т. д. (канцлер Меттерних 1773—1859). На ней держалась реакция в Германии (карлсбадские постановления 1919), а она сама при этом опиралась на Россию, но сохраняя гораздо бо́льшую независимость по отношению к последней, чем Пруссия. Более всех стран Восточной Европы подверглась французскому влиянию Польша, непосредственно зависевшая от Наполеона в период „герцогства варшавского“ и сохранившая особую конституцию при переходе под власть Александра I; систематические нарушения этой конституции вызвали восстание поляков в ноябре 1830.

Столетия и годы.	Главные события всемирной истории.	Территория, занятая русским племенем.
	но закрепила буржуазный режим (Луи-Филипп, 1830—1848). Общее экономическое развитие (не только Франции) выразилось между прочими, и в целом ряде научно-технических открытий, падающих на 1-ю треть XIX в. (1807—пароход Фультона, 1810—скоропечатная машина, 1827—гребной винт, 1830—локомотив Стефенсона; специально французские изобретения: усовершенствованный ткацкий станок Жаккара—1802, механическое льнопрядение Жирара—1810).	
XIX в. 1831—1866 г.г.	Промышленный капитализм, распространившись на всю Европу, завладевает ее Западом и центром: Франция и Германия становятся такими же индустриальными странами, какой в XVIII в. была одна только Англия. Франция, после *июльской* революции (1830) окончательно освободившаяся от остатков „старого порядка“, вместе с династией Бурбонов, при Орлеанской династии (Луи-Филипп 1830—1848) принимает форму цензовой парламентской монархии, все время подмываемой снизу непрекращающимся с 1830 г. движением пролетарской и пролетаризуемой массы. В 1848 г. движение достигает силы и размеров новой революции (*февральская революция*), но буржуазии, при помощи кулацкого крестьянства, удается разгромить центр рабочей революции („июньские дни“ 1848), Париж,—после чего снова устанавли-	*В Европе* в общем окончательно складывается к началу 2-й трети XIX стол. (частичное колебание—потеря Бессарабии в 1856 г., возвращенной в 1878). Завоевание *Кавказа* (оконч. 1864) спаивает старую „кавказскую линию“ с аннексированным в начале века Закавказьем, и начинает собою серию азиатских захватов. (Средняя Азия: Ак-Мечеть [Перовск] 1853, Ташкент 1865. Дальний Восток: берега Амура еще при Николае I, окончательно Амурский и Уссурийский край в 1858—1860). Разведки проникают еще дальше (1836 русская миссия в Афганистане, 1853--1854 русская

Главные события внешней истории.	Главные события внутренней истории.	Ближайшие соседи России.
лишь подготовкой к установлению экономической гегемонии русского торгового капитала над всем бассейном Черного моря, для чего нужно было утвердиться в *Константинополе*. Попытка использовать и для этого Тильзит (на так называемом „Эрфуртском свидании“ Александра и Наполеона в 1808 г.) не удалась, что обессмыслило *турецкую войну*, ведшуюся 6 лет (1806—1812) Дело было отложено до 1820-х годов, когда восстание греков против турецкого владычества дало новый повод для открытия „Восточного вопроса“. Войну за Константинополь пришлось вести уже Николаю I (1825—1855). Вмешательство в греческо-турецкие дела началось в союзе с Англией и Францией (Наваринская битва, октябрь 1827, уничтожение турецкого флота английской, французской и русской эскадрами), но самую войну (1828—1829) пришлось вести одной России, и для захвата Константинополя у ней нехватило сил. По Адрианопольскому миру (1829) Россия должна была удовольствоваться аннексиями в Азии.	Спасения“, 1818 „Союз Благоденствия“,—с 1821 начинается *заговор декабристов*, разразившийся восстанием 14 декабря 1825, на юге 31 декабря), скомпрометированные к тому же нерешительностью их тактики. В результате все свелось к *окончательному закреплению бюрократически - полицейского строя* (начало еще в 1802—учреждение министерств): создание *корпуса жандармов* и Третьяго Отделения императ. канцелярии (июнь—июль 1826). Воспоминаниями о противоположных тенденциях остались: закон о „вольных хлебопашцах“ (1803) и учреждение Государственного Совета (1810). 1828—Мануфактурный Совет.	
По мере приближения к 1848 г. разваливается „Священный союз“. Николай I, после известия об июльской революции, собиравшейся двинуть свою армию на Париж, по отношению к революции 1848 г. должен был занять уже чисто оборонительную позицию. В частности, Пруссия при Фридрихе-Вильгельме IV (1840—1857) совершенно выбивается из-под русской опеки. Россия пробует опереться на Австрию, почти развалившуюся благодаря революции 1848 г. (см. посл. столбец справа), но, оправившись при содействии Николая I, Австрийская империя неме-	Центральный пункт—ликвидация барщинного хозяйства, или, как тогда говорили, „освобождение крестьян“ (термин, явно неверный при сохранении политического самодержавия). Задержанная в начале периода продолжавшимся аграрным кризисом (см. предыдущ. таблицу), она получает экономическую почву с конца 40-х годов когда начинается повышение хлебных цен. Основным стимулом продолжали быть интересы обрабатывающей промышленности (см. там же), которая и ликвидировала у себя крепостной труд (закон 18 июня 1840 о поссессионных фабриках). По-	Польская революция ноября 1830 г., спасши Зап. Европу от вмешательства Николая, сама быстро была ликвидирована последним (взятие Варшавы 26 авг. 1831). Польша потеряла конституцию 1815, но „Царство Польское“ сохранилось, как особое целое („Органический статут“ 26 февр. 1832). Фактически таково все царствование Николая была военно-полицейская диктатура наместника Паске-

Столетия и годы.	Главные события всемирной истории.	Территория, занятая русским племенем.
	вается режим начала столетия („Вторая империя“ племянника Наполеона I, Луи-Наполеона III, с конца 1848 г. президента провозглашенной в феврале республики, после переворота 2 декабря 1851 утратившей парламентскую форму с 1852 превратившейся в монархию типа „Первой“ империи). Вторая империя идет по следам первой и в области внешней политики (участие Франции в „Крымской“ войне против России, 1854—1856, война с Австрией 1859, экспедиции в Китай 1860 и в Мексику 1862—1866; еще раньше, с 1830 г., Франция завоевывает Алжир), но чем дальше, тем больше натыкается на сопротивление других государств промышленного капитала, раньше всего складывающейся под гегемонией Пруссии, Германии („Таможенный Союз“ герм. государств, с 1831—1835). В борьбе промышленных буржуазий разных стран за рынки развивается *национализм*, который Наполеон III старается использовать (объединение Италии под властью экономически наиболее развитого Пьемонта, 1859—1861, при помощи французов). В Англии победа промышленной буржуазии выразилась в ликвидации политической монополии крупного землевладения (парламентская реформа 1832) и торжестве свободы торговли (отмена пошлин на хлеб 1846). Широкое рабочее движение (*чартизм*, от „народной хартии“ 1838 г.) и здесь потерпело неудачу, хотя и не кровавую, как во Франции. Рабочее движение создало популярность для *социалистической литературы*, которая сама по себе, до Маркса, еще не была прямым его отражением, а продолжала развивать идеи „Просвещения“ XVIII стол. (Оуэн в Англии, 1771—1858, С.-Симон, 1760—1825, и Фурье 1772—1837, во Франции). По мере обострения классовой борьбы зарождается чисто пролетарский *коммунизм* (Коммунистический манифест, 1847) и складывается международное рабочее движение (Первый Интернационал, 1864).	экспедиция в Японию и т. д.; уже с конца XVIII в русская компания эксплоатирует так называемые „российско-американские владения“—полуостров Аляску и Алеутские острова, в 1864 г. проданные Соед. Штатам.

Главные события внешней истории.	Главные события внутренней истории.	Ближайшие соседи России.
дленно „изменяет“ ему на почве *Восточного вопроса*. Этот последний стоит в центре всей русской внешней политики данного периода. Не добившись Константинополя Адрианопольским миром (см. предыдущ. таблицу), Николай пытается косвенно наложить руку на проливы (Хункиар—Искелесский договор, 1833 г.), но наталкивается на решительное противодействие Англии (лондонская конвенция о проливах 1841). Русско-английская война носится в воздухе уже с 1830-х гг. После неудачной попытки столковаться с англичанами и своих „побед“ в Венгрии (1849), Николай вновь решается напасть на Турцию (1853 г.), но встречает на своем пути не только Англию и Францию и даже Австрию. Начавшаяся с двумя первыми война приводит к потере Севастополя (27 авг. 1855 г.) и Черноморского флота, который Россия потеряла, и право вновь построить по Парижскому миру (1856—уже при Александре II, Николай умер 18 февр. 1855). Одновременно обнаружилось полное отпадение от России Пруссии и на сцене вновь появилась даже Швеция, о которой с 1809 г. забыли и думать. Полный разгром восточной политики рядом с полной утратой всех западных позиций заставили резко переменить направление: Константинополь временно оставляется в стороне, на Западе ищут не клиентов, а союзников. Сначала находят такового в лице Франции (русско-франц. союз во время франко-австрийской войны 1859), но с ней, как и после Тильзита, не удается наладить экономической связи. Таковая завязывается с *Пруссией* по мере развития прусской промышленности: Пруссия сменяет с 1860-х гг. Англию, как потре-	пытки ликвидации этого труда в земледелии терпели неудачи до 50-х годов (6 дек. 1826 первой Секретн. Комитет Николая, заним. крест. вопросом; 2 апр. 1842 указ об „обязанных крестьянах“, пытавшийся провести компромиссную точку зрения, создав полуфермера, полукрепостного, и оставшийся мертвой буквой). Рескриптом Александра II виленскому ген.-губернатору Назимову был поставлен вопрос об *освобождении крестьян без земли* (20 ноября 1857), т.-е. в направлении, наиболее выгодном для промышленного капитала. Одновременно началось образование *губернских комитетов* (1-й Нижегородский, дек. 1857). Но уже через год (резолюция „Главного комитета“ 18 октября и 4 декабря 1858) берет верх идея *освобождения с землей*, т.-е. с сохранением мелкого крест. хозяйства в неприкосновенности. Так как при этом крестьяне не получили всех прав „свободы сословий“ и была сохранена опека дворянства над ними (мировые посредники), то „освобождение“ стало весьма условным. Для проведения в жизнь этой новой линии были созданы, в сущности, параллельно с комитетами, *Редакционные Комиссии* (действ. в 1859—1860 гг.). Окончательно испортила реформу предпринятая, под давлением черноземных помещиков, *отрезка* части крестьянских наделов (местами до 40%). Обрезанное такими способами „освобождение“ (манифест был подписан Александром II 19-го февраля 1861) вызвало резкий отпор крестьян, „терпеливо ждавших воли“ в предшествующие годы (более 2000 волнений в 1861 — 1862 гг. и отказ крестьян подписать „уставные грамоты“ в 50% всех случаев). Это вызвало револю-	вича. Франко-русский союз после Крымской войны заставил пойти на уступки, неискренние и половинчатые („Без мечтаний!“ слова Александра II представителям польского дворянства и буржуазии при первой встрече в 1856 г.), только дразнившие польскую массу, в городах гораздо более политически развитую, чем русская. Манифестации этой массы (в феврале—марте 1861) были расстреляны. Революционное настроение нарастало и в янв. 1863 разразилось вооруженным восстанием. Но надежды поляков на помощь Западной Европы не оправдались, благодаря помощи, которую оказала России Пруссия („конвенция Альвенслебена“ 8 февраля 1863). Восстание было подавлено, члены революционного правительства („Ржонда народового“) постепенно арестованы и казнены, Польша превратилась в ряд русских губерний („Привислинское ген.-губернаторство“). Февральская революция 1848 г. не оставалась изолированной во Франции, как революция 1789 г.: теперь общественные условия Западной и Централ. Европы, благодаря развитию промышленного капитализма, были ближе друг к другу. 15 марта вспыхнула

Столетия и годы.	Главные события всемирной истории.	Территория, занятая русским племенем.

Главные события внешней истории.	Главные события внутренней истории.	Ближайшие соседи русского племени.
бительница русского хлеба и как поставщица фабрикатов. На этой почве русско-французский союз в 1863 г. (поводом было неловкое вмешательство Наполеона III в польские дела, см. посл. столбец справа) сменяются русско-прусским, направленным прямо против Австрии, но косвенно и против Франции. Русско-английский конфликт принимает тем временем более притупленный характер, перенесясь с Ближнего Востока в Среднюю Азию, где с 1864 г. начинается движение в Туркестан. Одновременно с этим заканчивается, начавшаяся еще в первой четверти века, война на Кавказе высшим моментом которой была борьба с военно-теократической державой Шамиля (1832—1859 мюридизм).	ционные надежды у левой интеллигенции (Чернышевский, Добролюбов, Шелгунов, Михайлов) и несколько напугало правительство, которое, чтобы привлечь на свою сторону буржуазию, решительнее пошло по пути буржуазных реформ (20 ноября 1864—судебные уставы, 1 янв. 1864—земское положение, 17 апр. 1863—отмена телесных наказаний, 6 апр. 1865—отмена [условная] предварит. цензуры). не брезгуя провокацией для ее устрашения (петербургск. пожары лета 1862) и жестоко расправляясь с революционерами (ссылка Чернышевского и Михайлова). Крестьянские волнения, вопреки ожиданиям, не слились в общий революционный пожар, интеллигентское движение осталось изолированным, найдя отклик только среди учащейся молодежи (первые студенческие волнения осенью 1861). Из ее рядов вышло первое революционное выступление царствования Александра II—покушение на него Каракозова (4 апр. 1866 г.).	революция в Вене 18—в Берлине. И там и тут монархия, в первом испуге, капитулировала, отказалась от абсолютизма и ввела конституцию, но ни там, ни тут власть не перешла в руки народной массы. Мало-помалу реакция собралась с силами, в октябре была бомбардирована и взята правительственными войсками Вена, а в ноябре Фридрих-Вильгельм IV разогнал народное собрание. Обще-германский парламент во Франкфурте оказался бессильной говорильней, восстания в Саксонии и в Бадене были подавлены прусскими войсками (1849). Объединению Германии под властью Пруссии помешала Россия, поддерживая готовую развалиться Авствию („Венгерская компания" Паскевича, 1849). Но национальное объединение, начавшееся *таможенным союзом* (1831—1835), под влиянием экономических причин неудержимо идет вперед и гегемония Пруссии окончательно утверждается после войн 1864 (с Данией за Шлезвиг и Голштинию) и 1866 (с Австрией; поражение австрийцев при Садовой 3 июля).

Столетия и годы.	Главные события всемирной истории.	Территория, занятая русским племенем.
XIX в. 1867—1896 г.г.	Франко-прусская война (июль 1870—янв. 1871) кладет конец существованию „Второй империи“ и дает толчек новой французской революции, четвертой по счету (Парижская Коммуна, март—май 1871) и первой, которая проходит под социалистическими лозунгами. Революция, хотя и неудачная (расстрел 30 тыс. чел.), делает невозможным простое восстановление старого порядка: Франция становится „республикой без республиканцев“, что закрепляет конституция 1875 г. В промежутке 1877—1879 республиканская партия (Гамбетта) завладела властью. Рабочее движение, придушенное разгромом Коммуны, вновь оживает уже с 1876 (первый рабочий конгресс; с 1877 выходит газета „Равенство“ Ж. Гэда—возрождение франц. социализма; 1879—1880 амнистия коммунарам) и к средине следующего десятилетия заставляет считаться с собою правительство (закон о свободе союзов 1884). С 1880 г. вновь возникают соц. партии (объединившиеся только к 1905), с 1893 они начинают играть видную роль в парламенте. Англия в течение этого периода заканчивает свое превращение в буржуазную демократию (избир. реформы Гладстона 1867 и 1884—1885 г.г.) Рабочее движение, начавшееся чартизмом (см. предыдущ. таблицу), притуплено, благодаря монополии на всемирном мануфактурном рынке, завоеванной английской промышленностью, и быстрому росту английских колоний (Австралия, Канада, Южная Африка): это позволяло предпринимателям поддерживать высокую заработную плату при низкой цене съестных припасов. В Англии развивается преимущественно не революционная, не социалистическая форма рабоч. движения—трэд-юнионизм. Более радикальное движение начинается с промышленного кризиса 80-х г.г. (митинги безработных 1886—1887, 1889—стачка рабочих в доках), 1892—первые рабочие социалисты в английском парламенте. Первый Интернационал распадается в 1872 г., начало Второго 1889 (первый международный конгресс соц. партий в Париже), 1883—ум. Маркс, 1895—ум. Энгельс.	Завоевание Ферганы (Коканд 1876), движение в Закаспийский край с 1880; 1884 занят—Мерв. Россия к востоку от Каспийского моря становится непосредственной соседкой Персии и Афганистана. В Закавказье по берлинскому трактату 1878 г. к русским владениям присоединяются Батум и Карская область. За исключением Туркестана, куда еще направляется очень слабая струя русской колонизации, остальное увеличивает собою количество земель не русского языка и культуры, входящих в состав „Российской империи“.

Главные события внешней истории.

Почти весь период проходит под знаком русско-германского союза и русско-английского конфликта; только в течение последнего десятилетия замирает второй, а первый сменяется союзом русско-французским. Наивысшего развития и прочности русско-германский союз достиг во время франко-прусской войны, когда правительство Александра II оказало Пруссии огромную услугу, помешав Австрии вмешаться в пользу Франции. Россия в вознаграждение немедленно же потребовала и добилась отмены наиболее стеснительных для нее статей Парижского трактата (1871). А в 1873, одновременно с возникновением почти открытого „союза трех императоров“ (Австрия, Германия, Россия), заключается секретная военная конвенция с Германией, гарантирующая вооруженную поддержку этой последней России, в случае „нападения“ какой-либо третьей державы. На самом деле Александр II имел намерение сам напасть на Турцию, возобновляя прерванную крымской войной политику своего отца. Это должно было его, как в свое время Николая, столкнуть лбами с Англией, не допускавшей мысли о том, чтобы какая-нибудь из „великих держав“ утвердилась в восточной части Средиземного моря, на путях в Индию. Опасение за последнюю подготовляло конфликт издалека: к русскому движению в Туркестан Англия относилась крайне подозрительно с самого начала. Когда, подготовив новую русско-турецкую войну движением балканских славян (герцеговинское восстание, лето 1875, сербско-турецкая война и болгарское восстание 1876) и секретными соглашениями с Австрией (рейхштадтская сделка июнь 1876, окон-

Главные события внутренней истории.

Хронология событий, подробно изложенных в тексте книги; *революционное движение*; 1868—1869 агитация Нечаева; 1870—первые большие петербургские стачки, напугавшие правительство; 1873—1875—„хождение в народ“; 6 дек. 1876—демонстрация у Казанского собора в Спб.; 1877—большие процессы пропагандистов; 24 янв. 1878—выстрел В. И. Засулич в петерб. градонач. Трепова; 1878—1879—„Земля и Воля“; 2 апреля 1879—Соловьев стреляет в Александра II; июнь—воронежский съезд—ликвидация „З. и В.“ „Народная Воля“; 19 ноября—взрыв царского поезда на Курской дороге; 5 февр. 1880—взрыв Зимнего дворца; 1 марта 1881 убит Александр II; 1883—группа Освобождения Труда; 1884—ликвидация посл. сост. Исп. Ком. Нар. Воли; 1885—морозовская стачка; 1887 — покушение на Александра III (1881 — 1864) Ульянова и др.; 1892 — первые с.-д. кружки; 1895—Союз борьбы за освобожд. рабочего класса; 1896 май—июнь—большие петербургские забастовки.

Правительственная реакция 24 апр. 1881—маниф. Александра III о незыблемости самодержавия; 14 августа—положение об охране; 1882—крестьянский банк (ставка на кулака); 1885—дворянский банк; 1883 — 1886 фабричные законы (попытка подкупить рабочих); 1886—закон о найме на сельско-хозяйств. работы (уголов. ответств. рабочего за уход); 1889—земские начальники (упраздн. мировых судей в деревне); ограничение суда присяжных (преступления по должности перед. судебн. палатой); 1890 — новое земское положение (сословн. ценз); 1892—новое городовое положение (города отданы домовладельцам).

Ближайшие соседи русского племени.

Франко - прусская война создала *германскую империю* под главенством Пруссии (18 янв. 1871). Фактический ее основатель, Бисмарк (1816—1896), демагогически использовал демократические течения, оставшиеся от революции 1848 г. (рейхстаг со всеобщ. избират. правом). Это, а также блестящие успехи внешней политики и быстрое развитие германской промышленности совершенно примирили массу буржуазии с прусской реакцией. Единственной оппозицией оставалась рабочая с.-д. партия (1869—съезд в Эйзенахе; 1875—слияние „эйзенахцев“ с „лассальянцами“ [Лассаль 1825—1864; основание всеобщ. герман. рабоч. союза]; Готская программа), протестовавшая против условий Франкфуртского мира с Францией (1871; насильственное присоединение к Германии Эльзаса и Лотарингии). Попытка Бисмарка бороться с ней при помощи исключительных законов (1878—1890) привела только к увеличению популярности с.-д. и колоссальному росту партии (на выборах 1890 г. $1^1/_2$ милл. голосов). Этому способствовало и ухудшение положения рабочего класса, благодаря растущей дороговизне: падение хлебных цен

Столетья и годы	Главные события всемирной истории.	Территория, занятая русским племенем.

Главные события внешней истории.	Главные события внутренней истории.	Ближайшие соседи русского племени.
чательная конвенция, март 1877) Александр II двинул армию на турок (12 апр. 1877). Англия стала помогать последним почти открыто. А когда Россия после ряда поражений (8 и 18 июля, 30—31 авг.—три „Плевны“) добилась сан-стефанского мира, почти ликвидировавшего Европейскую Турцию (19 февр. 1878), она оказалась на пороге войны не только с Англией, но и с Австрией, секретная конвенция с которой была нарушена этим миром. Россия должна была сдаться (18 мая 1878 „лондонские протоколы“, 1 июня Берлинский конгресс). На неудачу в Европе Россия ответила ударом в Азии: Скобелев взятием Геок-Тепе (12 янв. 1881) открыл поход на Герат, „ворота Индии“. Дальнейшее движение по этому пути повело к новой и последней вспышке конфликта, когда Россия и Англия снова очутились на пороге войны (1885). Но к этому времени был налицо уже русско-германский конфликт, внешним образом из-за Болгарии, по существу из-за экономических трений (хлебные пошлины). На этой почве возникает *франко-русский союз* (1890 г., военная конвенция 1893).		заставило Бисмарка, под давлением помещиков, ввести хлебные *пошлины* (1880, увел. 1885 и 1887). Все это, вместе взятое, побудило Б. войти в соглашение с Россией (торговый договор 1894), чем закончилась 1-я фаза русско-германского конфликта. Австрия, с 1867 г. превратившаяся в Австро-Венгрию — последняя была признана равноправной с немецкой половиной империи,— окончательно сходит на 2-е место и идет в хвосте за Германией (союз 1879 против России, превратившийся в 1887 с присоединением Италии в „Тройственный Союз“). 1888—основ. австр. с.-д. партии (Гайнфельдская программа).

ОГЛАВЛЕНИЕ.

Образование Московского государства.

Русский феодализм; помещик и крестьянин; отношение населения к земле крупные и мелкие феодалы; крестьянские повинности; „натуральное хозяйство“, торговля и положение купцов (стр. 30—31). Образование феодальной монархии; почему объединение произошло около Москвы? Пути сообщения; густота населения; татары (стр. 31—32). Православная церковь; союз митрополита с татарским ханом; союз церкви и московского князя (стр. 32—34). Экономическая почва об'единения; рост города Москвы: выделение ремесленников и торговцев, образование буржуазии (стр. 34—35).

Борьба Москвы с Новгородом.

Географическое положение Новгорода; Заволочье, меха и серебро, европейские связи Новгорода; связи с „низом“ (стр. 35—36). Состав. населения: городская демократия; крепостное крестьянство (стр. 36—38). Борьба Москвы и Новгорода из-за Заволочья; слабые стороны Новгорода, сильные — Москвы; исход борьбы — Москва становится всероссийским торговым центром (стр. 37—38).

Разложение московского феодализма; товарное хозяйство и крепостное право.

Образование рынка; заграничная торговля и деньги (стр. 38—40). Денежное хозяйство и положение крестьян; барщина; „ссуда“, крепостное хозяйство; монастыри и бояре; мелкие помещики (стр. 40—41), Классовая борьба в московском государстве; публицистика, Пересветов; союз мелкого помещика и торгового капитала (стр. 42—43). Казань и Астрахань; Ливонская война; кризис поместного землевладения и переворот 1564 г.; опричнина и ее классовый смысл (стр. 43—45). Хищническое хозяйство; бегство крестьян; неурожаи и голод (стр. 45). Беглые и колонизация южной окраины московского государства; состав населения там; казачество; его отношение к московскому правительству; рост революционного настроения. Названный Димитрий (стр. 45—48).

Крестьянская революция.

Восстание против Годунова; русская эмиграция и польские помещики; казачество; ложь и правда о Названном Димитрии (стр. 48—49). Годуновское войско и Н. Димитрий; стрельцы; мелкоместные дворяне (стр. 49). Победы Н. Димитрия; его законодательство; указы о кабальном холопстве и о беглых (стр. 50). Н. Димитрий и торговый капитал; заговор Шуйского; гибель Димитрия; Шуйский—купеческо боярский царь (стр. 51—52) Восстание южной Украины; Болотников и крестьянская революция; раскол восставших и временное торжество Шуйского (стр. 52—53). Вторая казацкая революция; Тушино; гордское движение (стр. 53—54). Классовое расслоение революции; буржуазные верхи Тушина и торговый капитал; двойная измена; низложение Шуйского и бегство „Тушинского Царя“; буржуазия обращается к за-границе (стр. 54). Союз поляков с русскими имущими классами; его банкротство (стр. 55—56). Городская буржуазия становится во главе борьбы с революцией и с поляками: Минин; наем помещиков подкуп: казацких верхов; с помощью казаков нижегородское ополчение берет Москву; кандидатура Романовых, как результат влияния нового союзника буржуазии (стр. 57—58). Классовый смысл романовской монархии: царская власть и торговый капитал; „гости“ (стр. 58—59). Полицейское государство; регулярная армия (стр. 59—61). Развитие крепостного права; гнет торгового капитала в городе; восстание второй половины XVII века; разинщина, „стрелецкие бунты“ (стр. 61—64). Борьба за Малороссию, экономические условия Украины: Запорожье. „Уния“, хлопская революция, Хмельницкий и московское государство (стр. 64—65).

Революционная буржуазия.

Что мы называем революционной буржуазией? Роль интеллигенции в буржуазном обществе, двойственность ее положения; ограниченность ее политического кругозора (стр. 111—113). Революционное наследство русской буржуазии; Пугачевщина; ее связь с развитием крепостного хозяйства (стр. 113—114). Выступление Пугачева; причины его успехов; П. и казначейства; П. и уральские горнорабочие; П. и крестьянство; программа пугачевщины (стр. 114—116). Причины ее неудачи (стр. 116). Волнения крестьян при Павле, Александре I, Николае, Александре II (стр. 116—118). Первые выступления буржуазной интеллигенции; масонство (стр. 118—119). Радищев; его отношение к крепостному праву, к царской власти; идеи Р., как отражение экономического развития (стр. 119—120). Сперанский (стр. 120). Декабристы: русское офицерство после 1812 г.; офицерство и интеллигенция (стр. 121). Декабристы и буржуазия (стр. 122). Программа декабристов, „Союз благоденствия“ (стр. 122). Республиканское течение: С. Муравьев; Пестель; проект аграрной реформы и вооруженного восстания (стр. 124). Смерть Александра I, кризис в царской семье; декабристы вынуждены выступить (стр. 125). Их тактика; тактика Николая; почему он остался победителем? Декабристы и народная масса (стр. 125—126). Бессилие буржуазной революции в России и его причины (стр. 126—127).

Народническая революция.

Отзвуки декабристского восстания при Николае; настроение интеллигенции; Третье отделение и жандармы (стр. 127—128). Дело петрашевцев (стр 128—129). 60-е годы; интеллигенция откалывается от буржуазии, новый состав интеллигенции; „разночинцы“ (стр. 129—130). Политическая программа мелкобуржуазной интеллигенции; „Великорусс“ (стр. 130—131). Польское восстание; Польша при Николае I, Севастопольское поражение; поляки и Наполеон III: провокаторская политика Александра II (стр. 131—133). Рекрутский набор и восстание 1863 г.; международная обстановка; Россия и Пруссия; Муравьев, разгром восстания (стр. 133—135). Реакция в Польше; царская демагогия (стр. 135). Буржуазия окончательно отпадает от революции (стр. 136). Мелкобуржуазный социализм; его идеология; земская община—ее историческое значение и связавшиеся с нею надежды (стр. 136—138). Герцен (стр. 138—139). Чернышевский (стр. 139—140). „Молодая Россия“, программа социалистической революции (стр. 140—141). Каракозовщина и новый взрыв царской демагогии (стр. 142). Лавров; „Исторические письма“, философия и история мелко-буржуазной интеллигенции; „народничество“ (стр. 143—144). Практика народничества; пропаганда; чайковцы; долгушинцы (стр. 144—145). „Бунтарство“, Бакунин и Парижская Коммуна (стр. 145—147). „Хождение в народ“; слабая сторона „бунтарства“, отсутствие экономических предпосылок для революции (стр. 148—149). Процессы и новое сближение интеллигенции с буржуазией (стр. 149—150). Причины поворота в настроении этой последней: недоконченность реформ; турецкая война (стр. 150—155). Перемена тактики „бунтарей“, террор; Желябов; „Исполнительный Комитет“, программа народовольцев. Александр II и революция, травля коронованного зверя; Желябов; как заговорщик; новая попытка царской демагогии; Лорис-Меликов; 1 марта 1881 (стр. 155—160).

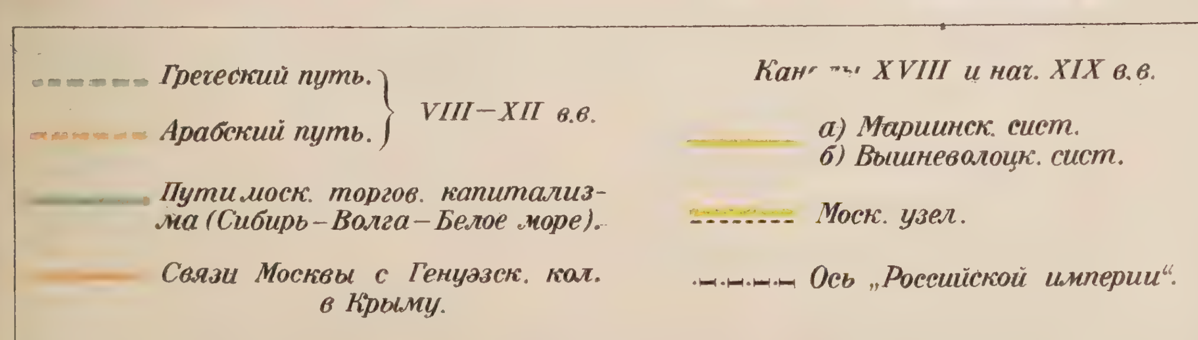
Рабочее движение.

Александр III (стр. 161—162). Значение эпохи „80-х годов“ (стр. 161—162). Экономическая обстановка: новый аграрный кризис, возрождение „правительственной системы“ (стр. 162). Влияние обстановки на *крестьянство*: „отрезки“, „отрубники“, пролетаризация крестьянства и неудачная борьба с нею правительства (стр. 163—164). Возрождение крепостного права; контрреформы Александра III и роль в них земства (стр. 164—166). Университет-

---

ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ и Кавказ.

Архангельск
Вологда
Пермь
Новгород
Б
Тверь
Ярославль
Н. Новгород
Казань
Москва
Смоленск
Рязань
Могилев
Чернигов
Киев
Астрахань
Кафа



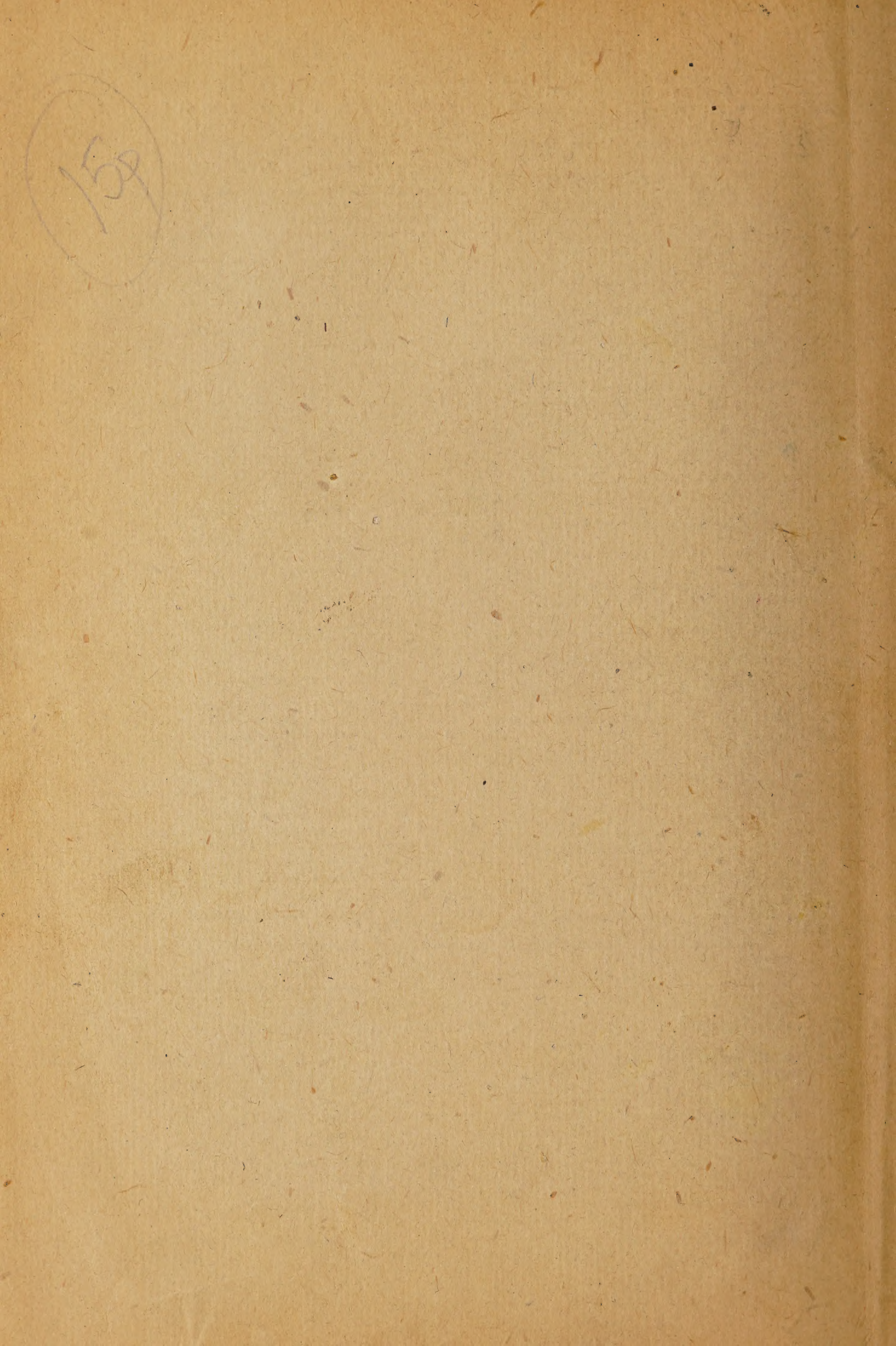
6-я тип. „Транспечати“, Москва



6-я тип. „Транспечати“, Москва.



6-я тип. „Транспечати", Москва


158